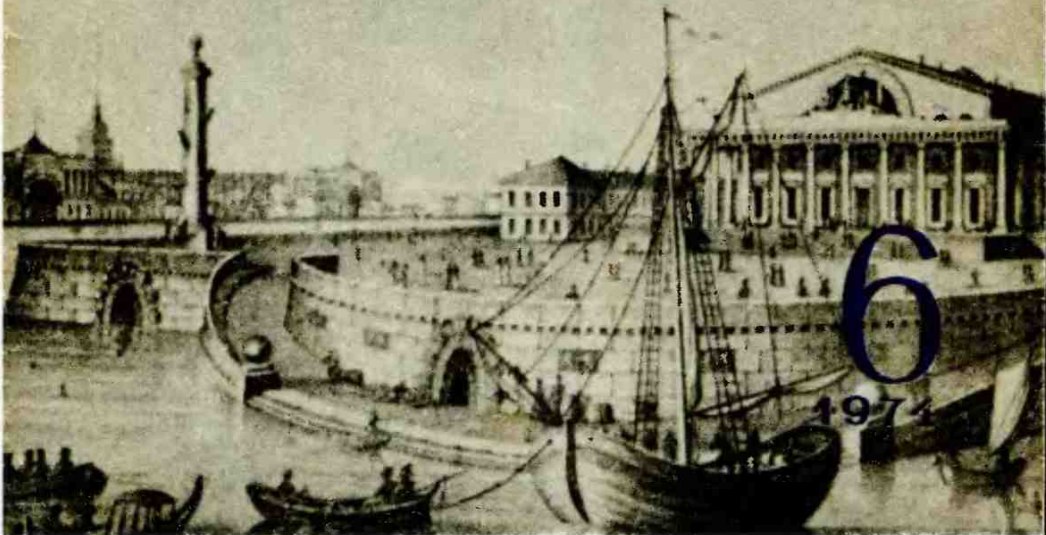


# ЮНОСТЬ





А. С. Пушкин.

Автолитография Виталия Горяева.



---

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК  
СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
СССР

# ЮНОСТЬ



**6** [229]  
ИЮНЬ  
**1974**

Журнал  
основан  
в  
1955  
году

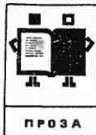
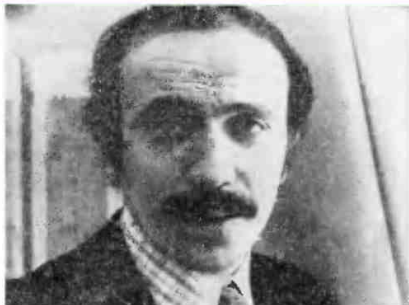
---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»  
МОСКВА



**Анатолий  
МАКАРОВ**

Автору 34 года. Он работает в «Неделе» (воскресном приложении к «Известиям»). Это первая его повесть.



ПОВЕСТЬ

# ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ

*И в той Москве, которой нет почти  
И от которой лишь осталось чувство,  
Про бедность и величие искусства  
Я узнавал, наверно, лет с пяти.*

Д. САМОИЛОВ.

**М**ой дядя был веселым человеком. Я понимаю, что сама по себе эта фраза ничего не значит, требуются конкретные примеры остроумия и способности не лезть за словом в карман, нужно предьявить как неоспоримое свидетельство какую-нибудь озорную историю или анекдот, по прошествии времени не утративший перца и соли и поныне вызывающий дружный хохот. Между тем я просто не в силах припомнить ни одной дядиной остроты, ни одного рассказанного им анекдота, да и озорные истории как-то не совмещаются в моей памяти с дядиным образом.

И все-таки он был веселым человеком. Очень веселым, потому что — вот это я уже помню прекрасно — в дядином присутствии самый обыденный разговор о болезнях, о соседях по квартире, о долгах оборачивался хохотом, возгласами: «Ой, не могу!» — и слезами, — именно в такой момент я открыл впервые, что плакать можно не только от горя. То, что от смеха, от избытка веселья на глазах выступают томлящие, избавительные слезы, я узнал благодаря дяде. У него была комическая маска (эти мои рассуждения покоятся, конечно, на теперешнем опыте), чрезвычайно в народе популярная и очень им любимая, — маска простака. Естественного простодушного человека, никак, ну, никаким боком не похожего на счастличика, любимчика, избранника судьбы. Теперь-то я сознаю, что отнюдь не все обстоятельства жизни подвергал он осмеянию, но те лишь, от которых, если им поддаться, можно заплакать совсем несчастливыми, невеселыми слезами. Так вот он им не поддавался, он поступал с ними так, как они того заслуживали, он высмеивал их бессмысленность и этим побеждал. И все, кто был в эту минуту рядом с дядей, тоже побеждали, потому что, когда люди смеются над своими невзгодами, это первый признак того, что они ощущают себя сильными и правыми.

То время моего детства, с которого я начинаю помнить себя и окружающую меня жизнь совершенно отчетливо, совпало с окончанием войны. В нашем дворе, как оказалось потом, погибло больше половины ушедших на фронт мужчин,

РИСУНКИ  
М. ЛИСГОРСКОГО.

но другие, которые не погибли, начали потихоньку возвращаться, а еще появились у нас те, кто уходил на войну не из нашего дома, жизнь во дворе да и в целом переулке сделалась праздничной и, как часто бывает на русских праздниках, немного чадной, угарной и очень неустойчивой по части мгновенного перехода от смеха к слезам, — как видите, я никак не могу расстаться с этой темой.

Застолья собирались часто, и о них всегда знала улица, потому что окна распалялись непременно нестесне и по двору разливалась музыка.

Часам к одиннадцати во дворе появлялся инвалид Савка; с нашей точки зрения, он был инвалидом не совсем обычным — руки и ноги находились при нем, а о том, что после сильной контузии можно быть инвалидом при руках и ногах, мы в те годы не подозревали. Савка, когда бывал пьян, становился задирой. Он непременно затевал скандалы, если же скандалы возникали без него — на почве ревности или каких-нибудь старых обид, — то наутро виновным все равно считали Савку. Нам, пацанам, нравились эта жизнь: танцы под хрипловатый патефон, щедрые фронтоники, дарившие нам деньги на мороженое, и особенно две роскошные трофейные машины танкового генерала Гудкова «хорьк» и «майбах», которые вот уже несколько месяцев стояли у нас во дворе.

Самой большой удачей у нас, мальчишек, считалось иметь среди родни кого-нибудь вернувшегося с войны, лучше всего, разумеется, отца, но можно и брата, в крайнем случае даже двоюродного. Удача в нашем понимании заключалась в том, что присутствие фронтоника давало счастличику массу поводов для личной похвалы, иногда безудержной, иногда расчленив немногословной, множество оснований для собственной гордости и обилие фактов для долгих и запутанных историй, рассказывать которые в нашем дворе полагалось с высшей степенью достоверности.

Мой отец был убит в сорок втором под Харьковом. Все значение этой потери для моей жизни я осознал гораздо позднее. Тогда же я просто полагал, что мне не везет, и во время вечерних дворовых сидений на крыльце восполнял отсутствие реального семейного героя избытком воображения.

И вдруг герой появился. Правда, на героя он вовсе не был похож — я даже разочаровался сначала: одет был дядя Митя в штатский глухой костюм, надо полагать, еще довоенный, орденов не носил, роста был небольшого, и лицо у него оказалось совершенно невоенное, не отмеченное отблеском сражений, не одухотворенное звуками победных маршей, обыкновенное такое лицо, какое бывало — опять сегодняшнее изображение — у русских мастеровых, с утиным прозаическим носом и немного одуловатыми щеками. В коридоре дядя оставил принесенный с собой чемодан весьма странной формы: он походил на небольшое переносное пианино и был такой же тяжелый. Я попробовал его поднять, не смог и засмутился, хорошо, что рядом в это мгновение никого не оказалось. Я пошел в комнату: там уже было полно гостей — и знакомых мне и незнакомых; комната, которую я считал очень большой — еще бы, тринадцать метров! — вдруг сделалась страшно тесной, и я устыдился такой тесноты, того, что не хватает стульев и из кухни притащили колченогие табуретки. Гости рассаживались с трудом, сталкиваясь, едва протискиваясь между столом и буфетом, шутили по этому поводу, и мне казалось, что смеются они над нами. По рюмкам уже разливали водку и вино, мне тоже, как было принято тогда, налили немного «красенького», я ничего этого слово не замечал, я все еще обижался, сам не знаю на кого. А дядя Митя поднял свой граненый фляжничек и сказал:

— Что-то, граждане, стали на тесноту жаловаться, не понимаю. По-моему, даже как-то наоборот, сближает. Раньше в трамвае едешь — скучаешь. А теперь не успеешь оглянуться — у тебя кто-нибудь на ногу стоит, сверху на тебя тоже кто-нибудь слегка облакачивается, лежит, в общем, а под конец выжнется, что и сам у кого-то на коленях сидишь, при такой близости долго ли перезнакомиться? Или вот сейчас... Я бы к такой прекрасной женщине, — тут он кивнул в сторону нашей соседки Анны Кирилловны, — например, в жизни не пошел бы по причине робости, а теперь, когда сидим тет-а-тет, то есть я хотел сказать визави — давно по-французски не говорил, — так вот я к тому, что теперь даже питаю надежды.

Все засмеялись и стали пить за тесноту, которая, оказывается, имеет некоторые положительные стороны, а я смотрел на дядню лицо и совершенно четко понимал, что улыбается он сейчас вовсе не потому, что удачно пошутил и обратил на себя внимание, а просто потому, что всем стало хорошо и весело.

Потом гости встали, сдвинули стол и стулья к окну, и посреди комнаты оказался дядя Митя со своим загадочным чемоданом в руках. Он поставил его на пол, отпер ключиком сухо щелкнувшие замки, откинул крышку странной изогнутой формы и, крякнув от натуги, вытащил на свет предмет, прекрасное которого я не видел ничего в жизни. Наша комната, несмотря на высоченные ее потолки, казалась слишком маленькой для такого роскошного творения, слишком темной, невзрачной, обиденной. Сияние наполнило нашу комнату, перламутровый переменяющийся блеск, тусклый благородный отсвет черного лака и праздничное полуденное свечение лака белого. Короче говоря, дядя Митя достал из футляра аккордеон. Показав его всему народу, он тихонько поставил инструмент на пол, сел на услужливо пододвинутый стул, расстелил на коленях бархатную тряпицу, извлеченную из того же футляра, нагнулся и снова с легким, будто бы юмористическим, а на самом деле несомненным кряканием поднял аккордеон, утвердил его на коленях, накинул на плечо широкий кожаный ремешок.

Я ждал, что дядя Митя сейчас заиграет, но он улыбнулся, вытащил из нагрудного кармана металлическую расческу и уже с совершенно сосредоточенным серьезным видом пригладил свои и без того аккуратно причесанные на косой пробор, не слишком густые волосы. (С тех пор я сотни раз видел, как дядя садится играть, и всякий раз прежде всего он доставлял свою алюминиевую расческу: по-видимому, это символическое причисление было для него началом артистического акта, в этот момент он как бы переступал порог, отделяющий его повседневную жизнь от его жизни в искусстве.) Дядя склонил голову, лицо его вновь сделалось простодушным и веселым, мехи раздвинулись, пальцы побежали по сияющим клавишам, и комната наша зазвенела...

Я не большой знаток музыки и люблю ее скорее какой-то стеснительной любовью, словно робкий друг детства, сознающий свое убожество, всеми признанную красоту, однако случаи по-настоящему наслаждаться музыкой у меня, разумеется, были. Так вот, тот вечер, когда я услышал, как дядя Митя играет на аккордеоне, относится к числу этих счастливых случаев. Я не уверен, была ли его игра виртуозной в каком-нибудь так особом техническом смысле слова, думаю, что нет, не была, зато ощущалась в ней совершенно необыкновенная искренность; я слушал и представлял себе, что это душа аккордеониста помимо слов наша кратчайший путь объяснения с вами, — в чем еще должен состоять талант музыканта, я не знаю. А игра дядя тогда, что чего хотела и требовала публики, — танго и фокстроты, довоенные,

написанные во время войны, а также и трофейные, услышанные с немецких или румынских пластинок. Наверное, по части хорошего вкуса не все здесь обстояло благополучно. Впрочем, чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что понятие это не однозначное; нельзя говорить о вкусе, о его качестве и уровне безотносительно к среде и, главное, к характеру человека, к его духовному существу. Дядя играл так, как чувствовал, — он не врал, не старался приукрасить свои переживания и не стеснялся их. А значит, и мне стесняться не приходится.

Нашему празднику становилось тесно. Он тоже, как и все именины и свадьбы нашего дома, происал на простор, на старый асфальт двора, который манил танцующих почище любого паркета. Лучшее время во дворе наступало в самом начале позднего вечера, когда в густых сумерках, почти в полной темноте менялись очертания предметов, исчезал один мир и на смену ему возникал совершенно другой, тот, в котором все было неясно, неопределенно, неверно, а потому полно загадочного и радостно волнующего смысла.

Дядя Митя сел на скамейку возле входа в котельную, вновь достал из кармана расческу и тщательно пригладил волосы, а потом совершенно неожиданно выдал какой-то еще не слышанных нами проигрыш: «Кавалеры, приглашайте дамы!» — проигрывает, от которого с самого дна вашей души поднимались давние, почти забытые, а может, и не тронутые еще чувства, — напрягся, поднял голову и зашел. Не так зашел, как пели обычно у нас во дворе да и на улице тоже, а так, как пели на пластинках артисты — я сразу это понял, — профессионально зашел:

— Здравствуй, здравствуй, друг мой дорогой, здравствуй, здравствуй, город над рекой...

...Вот я уже довольно долго живу на свете и езди по этому свету немало, особенно по сравнению с нашей родней, которую впервые сорвала с места только война, я бывал на балах различных фестивалей, на празднике в парижском пригородном лесу и даже на официальном приеме в одной небольшой, но очень симпатичной стране, однако нигде не ощущал я праздник с такой потрясающей непосредственной силой, как у нас во дворе, когда дядя Митя играл на аккордеоне и пел.

— Здравствуй, здравствуй, позабуди печаль, здравствуй, здравствуй, выходи встречать...

Из вторых, дальних ворот, выходящих не на улицу, а в переулок, во дворе появился Савка.

У него была особая походка — то ли контузией вызванная, то ли тем, что был обычно пьян, — он шел, склонившись вперед и выставляя ноги в сторону, будто бы все время готовился напасть на кого-то. Интуиция — противное свойство, когда она действует лишь в худую сторону; я сразу же, как только его заметил, понял, что мимо он не пройдет. Он и не прошел, хотя путь его к дому, к полуподвальной его комнате, выходящей окном в темный проулок, лежал совсем в стороне. Савка свернул по направлению к танцам и волчьей своей походкой приблизился к котельной. Я до сих пор хорошо помню его лицо и понимаю теперь, что было оно совсем не заурядное, вовсе не похожее на распространенный тип хулиганских испитых физиономий. Мужественное и брезгливое лицо было у Савки, как у американского киногероя, и казалось, знает он что-то чрезвычайно важное, знает — и вот-вот расскажет. Но Савка ничего не рассказывал, а произносил чаще всего обыкновенные ругательства.

Савка стоял среди танцующих и смотрел по сторонам взглядом, в котором было столько яростной ненависти, что становилось не только страшно,

но и странно, почему эту злость он принес сюда и готов излить на людей, ни в чем не повинных.

— Танцуй танцуй, — сказал Савка, — мне тек легко...

Дядя продолжал играть, а я почувствовал, как противный страх пополз у меня по животу. Это даже не был просто страх, но еще и отвращение, которое я с самого раннего детства испытывал к дракам: они часто случались в нашем переулке в те годы, и вся дворовая компания устремлялась на них смотреть, и я тоже старался не отставать, а потом у меня от всего виденного кружилась голова, а кровь и крики предледали меня по ночам.

— Шел бы домой, Савелый, — заговорила дворничиха тетя Шура, неизменная зрительница всех дворовых балов, романов и скандалов. — Ну, выпил, ну, хорошо, чего на улице-то кобениться зря, жена вон раз пять во двор выбегала, ждет, небось...

— Что мне жена, — скривился Савка, — если войну ждала, теперь перебежится. А я, может, танцевать хочу... Па-де-грас, падиатынер... Татьяна, помнишь дни золотые... Щас только мадаму себе подберу помоднее...

Дядя все еще играл, но танцы как-то сами собой прекратились, дамы поспешили сбиться в кучу и утанули за собой кавалеров. Савка стоял на площадке один и, качаясь во все стороны, продолжал делать какие-то двусмысленные неприличные движения. Аккордеон умолк. Дядя сдвинул мехи и сидел прямо, внимательно глядя на Савку. А я испуганно шарил глазами в толпе, я знал, как жестоко умеет драться Савка, и хотел найти хоть кого-нибудь, способного противостоять ему.

— Ну, ты, маэстро, — сказал Савка, — чего ж ты замолчал? Давай крuti, Гавриил, растяни-ка свою гармозу, а я сбацию.

Вилястой, карикатурной цыганочкой он прошелся по кругу. Дядя по-прежнему оставался неподвижен, даже а полутьме, при неверном свете дворового висящего фонаря стало заметно, что он поблдевал. Я все надеялся, что сейчас кто-нибудь во выдержит, выйдет в круг и одернет Савку, но никто не выходил.

— Играл, падал! — вдруг закричал Савка; с ним так случалось, пена выступала у него на губах, и трести его начинала та неведомая сила, которая вслилась в него в тот момент, когда разорвалась рядом с ним в развалинах дома немецкая фугаска. — Играл, сука, а то я щас всю твою фиггармонно раскурочу к ядрене матери!

Закричали женщины, и уже кто-то из мужчин бросился к Савке, чтобы унять его, схватить за руки, но не тут-то было: он размазывал длинными, тяжелыми своими руками, он хрипел и выпл, он готов был убить и, казалось, сам тоже умереть не боялся. Мне захотелось зареветь, убежать, спрятаться где-нибудь на чердаке или под лестницей, только бы не видеть этого унижения дорогих мне людей. Дядя встал, неожиданно легко снял с плеча инструмент и так же неожиданно небрежно брянул его на скамейку. Даже если совсем чужого человека при мне били, я потом месяцами не мог забыть его лица, чтобы убежать от самого себя куда-нибудь и во сне дергался. Дядя Митя подошел к Савке, он был ниже почти на голову, и я зажмурился, чтобы не видеть, как тяжелый Савкин кулак опрокинет его на асфальт.

— Не знаешь, куда ударить? — не своим, совсем не тем голосом, каким только что пел, хрипло спросил дядя Митя. — На вот, сюда бей. Верно бу-



дет. Меня сюда уже били. Из батальонного миномета, всего только двадцать осколков сидит.

Раздался странный хруст, и я открыл глаза. Дядя стоял перед Савкой, и рубашка на груди его была распахнута. Это он сам рванул рубашку так, что с треском полетели пуговицы и галстук лопнул с немного надрытым, тоскливым звуком. Лицо у дяди Мити стало совсем не текое, как дома во время выпивки и закуски. Я никогда не был на войне и потому не видел, как выглядят люди, решившиеся на все до конца, до самой смерти, — теперь я думаю, что у дяди было тогда как раз такое лицо.

Савка вдруг обмяк и опустил бессильно свои огромные руки. Потом повернулся и побрел в свой полуподвал, выходящий окном в закоулочек. Глядя ему в спину, я впервые почувствовал тогда, что он и впрямь инвалид.

А дядя стоял в растерзанной на груди рубашке, и не было на лице его никакого торжества и никакой победы. Он попытался застегнуть воротничок, но пуговицы были оборваны, и тогда он, пожевывая, запахнул поглубже откинутые борта пиджака.

Я узнал в тот вечер, что его взвод накрыла немецкая мина и осколками изрешетили дядю, но много месяцев пролежал в госпитале, его несколько раз оперировали и вытаскивали все, что смогли вытасщить, а что не смогли — оставили. Впрочем, некоторые осколки постепенно выходят наружу сами, с болью и неудобствами: человеческая плоть не уживается с ними и выталкивает их наружу.

А еще я понял в тот вечер, что смелость нерасчетлива и справедливость тоже. Если человек заступается за что-нибудь или за кого-нибудь только потому, что уверен в себе и ничем не рискует, — это не смелость, это обыкновенная бухгалтерия. Но бывают минуты, когда о последствиях думать некогда, точнее говоря, они, конечно, ясны, но раздумывать о них все равно не приходится, потому что надо вмешаться — теперь, немедленно, иначе все равно будет хуже, сам себя изведешь терзаниями и самоедством.

**П**альнейшее повествование о дяде будет касаться порою событий, свидетелем которых я не был да и не мог быть. Однако я позволю себе сохранить тон непосредственного участия для того, чтобы не нарушить единство моего рассказа, к тому же я так много думал о перипетиях дюдиной жизни, что иногда мне кажется, будто все они прошли на моих глазах, даже те давние, доверенные, когда меня и на свете-то не было, а дядя был маленьким пионером в юнгштурмовке не по росту и в сатиновом галстуке, зашкелнутом оловянным значком-закжимом.

Отец дяди, брат моей бабушки служил до революции кучером у текстильных миллионеров Тарасовых.

Их дом и поныне стоит в переулке в районе Кропоткинской — раньше это называлось Пречистенская часть, — в доме помещается теперь какое-то африканское посольство. Когда проходила мимо его прихотливой, словно из лилевых стеблей свитой решетки, во дворе видны старые липы и невысокие постройки, стильные, как и весь дом, украшенные весьма натуральными лошадиными головами. Теперь в этих постройках помещаются посольские «мерседесы», а некогда стояли там орловские рысаки, и отец дяди запрыгал их по утрам в колеску английской работы и выезжал на солнечную Пречистенку. На козлах он сидел в английском высоком цилиндре, в коротком сюртуке с шелковыми отворотами, в сияющих сапогах, усы его бы-

ли закручены в кольца, и в руке поскрипывал кожаный кнут. Семью свою отец дяди держал в деревне и приезжал к ней только на пасху или на яблочный спас, в суконном городском костюме, при часах с крупной, самоварного золота цепочкой. Есть за общий стол не садился, требовал, чтоб ему накрывали отдельно, затыкал за воротничок целое полотенце, с чувством выпивал водку из рублевой граненой рюмки и степенно вытирал усы.

После революции, когда подчеркивать свою принадлежность к высшему миру, хотя бы и на уровне конюшни, стало невыгодно, отец дяди перевез семью в Москву. Здесь, в подвале декадентского особняка, послужившего за три года после революции и анархистским клубом, и коммуналу художников лучисто-будущников, и райисполкомом, появился на свет дядя. Был нэл, в булочных на углу Пречистенки продавали горячие белые булки, барышни ходили в круглых маленьких шляпках и пальто, называемых «саки», что по-французски значит «мешок». По переулку на дутых шинах проезжали иногда лихачи, лошади у них выглядели почти как прежде, да и седоков они величали «ваше степенство». Отец дяди по-прежнему садился за стол в гордом одиночестве, за ворот сорочки без воротничка зашивал кухонное полотенце, вытирался им, когда пил чай подолгу, усы его развились, и щеки обрюзгли. Он служил теперь возчиком в частной фирме Белова, ходил зимой и летом в армяке и, выпив в трактире водки, осуждал новые порядки.

Маленького Митю посылали иногда за отцом. Надо было добраться до Садового кольца, пересечь Смоленский рынок со всеми его соблазнами и опасностями и по Проточному переулку спуститься почти до самой Москва-реки. Извозная контора Белова помещалась во дворе в первом, каменном, этаже двухэтажного дома. А во втором этаже звякал блюдами трактор «Лиссабон». Сам Митрофан Иванович Белов в русской рубашке обычно сидел у окна и пил чай. Он был старообрядец и водки не признавал. Душу отводил песней: под окном трактора, среди подвод и беловских битогах, стояли два уличных музыканта и по заказу Митрофана Ивановича исполняли «Не гуляй с кистенем» или «Ах, зачем ты меня целовала». Один из музыкантов играл на скрипке, второй на тульской гармонике и пел, закидывая при этом голову и закрывая глаза, так что можно было подумать, будто он слепой. Голос у него был пронзительный и резкий, но если поприжмуть и притерпеться, то начинал даже нравиться. Дяде он казался прекрасным, Митя забывал про строгое внушение обязательно дозваться отца и, замерев, слушал, как голос этот то взвизывает в поднебесье, а то растворяется в звуках гармошки и скрипки. Дяде хотелось, чтобы это не прекращалось никогда. Он не замечал ни помойки, ни пенной лужи конской мочи, он парил в эти минуты над всем этим миром, и над Москвой с ее куполами, с суматохой Смоленского рынка, с теми неизведанными даялами, которые открывались за рекой и за Дорогомиловом. Потом певец умолкал, и наступала очередь скрипки. Ее мелодия казалась какой-то нездешней, незнакомой, она была вроде бы плясовой, веселой, и от нее вдруг хотелось плакать. Когда музыка кончалась, сверху, из пухлой руки Митрофана Ивановича, мечтательно глядевшего куда-то вдаль, падал серебряный рубль. Он звенел о булыжник, подпрыгивая, скрипач, с трудом нагнувшись, старался его поймать, а гармонист принимался мелко-мелко кланяться, приговаривая при этом: «Чего еще прикажете, Митрофан Иванович, чего душе угодно?»



«Тут же»,— чаще всего скупю, как и рубль, по-нял Митрофан Иванович. Во вкрусах он был постоянно.

Митя вспоминал об отце, поднимался по грязной тракторной лестнице во второй этаж и несмело входил в залу. Он не то чтобы боялся, а просто не любил пьяных. В тракторе стоял чад—дым кухонный и папиросный мешался с чайным паром, бегали служащие с чайниками, шпиглящими сковородками и графинчиками на облупленных подносах. Отец, как всегда, сидел в углу в компании людей, очень на него похожих. Они не были извозчиками и армяков не носили и все-таки очень подходили к отцу, может быть, потому, что мокрые их усы когда-то, несомненно, были нарисованы и завиты, а обрюзгшие щеки подтянуты и ослепительно выбриты.

Перед отцом стояла рюмка недопитой водки, в руке он держал тяжелую вилку с наткнутым на нее соевым рыжином, отец потрясал вилкой, как учитель в школе указкой, и говорил:

— Ну ладно, моторы, я согласен, наркомы пуцая ездят на моторах! Пуцая трубит,—он попытается изобразить губами фанфарный гудок «лин-кольна»,—я не протестую, я всегда —а!—Отец демонстративно, как на собрании, проголосовал вилкой.—Я — а! Но мне-то что прикажете делать? Дрова возить, утиль-сырье собирать? У меня в конюшине рыски стояли по пять тысяч за штуку, Барин Константин Константинович их в Париж на выставку вывозил, там толпы за ими ходили, за один показ можно было состояние нажить. Сиди себе в кафе, хлещи с мазелями шампанское, а на твоих конях дивятся да тебе франки платют. Вот так! А теперь у нас в конюшнях что? Что, я вас спрашиваю? А-а, не знаете. У нас ночнее там прачечная коммунальная. Бабы свою коммунию организовали — пеленки да простыни стирают!—Гриб упал с вилки и шлепнулся в водочную лужицу на грязной клеенке.

Мите сделалось смешно, он почему-то в который уже раз почувствовал острую, как зуд, охоту изобразить во дворе перед своей публичкой всю здешнюю компанию—и Митрофана Ивановича, подпершего бороду пухлым кулаком, и отца, размахивающего вилкой, и его друзей, мелких букмекеров с ипподрома, донашивающих допотопные котелки и целлулоидные порывышевые воротнички. У него давно уже открылась такая способность—не зная, как можно было бы предположить; он не пародировал, не высмеивал, он просто изображал чужую походку, чужие жесты и, что поразительнее всего, чужое выражение лица. Когда дядя показывал, как учитель физики ставит опыты, можно было помереть от смеха. Потому что совершенно непонятно становилось, каким образом круглое простодушное дядино лицо делается похожим на вдохновенную орлиную физиономию физика, который, кстати, переживал во время опытов так, будто в эти мгновения совершал открытия, достойные Лавазье, Гей-Люссака и Майкла Фарадея. В детстве всегда необходимо чем-нибудь отличиться—это я знаю по себе,—дядя не был силячом и на футбольном поле особенно не блистал, поскольку уставал быстро, но товарищи его любили, потому что с ним было весело. Люди вообще любят весельих, особенно тех, чье веселье не цель, а средство, и если оно не за чужой счет. А дядя, хоть и не упускал случая «изобразить», никогда не находил тут повода для злорадства, он и не помыслил о нем вовсе, он просто перевоплощался и получал при этом несказанное удовольствие, вроде того, которое охватывает человека в

тот момент, когда он складно говорит на чужом языке.

— Ага,—заметил дядю его отец,—полюбуйтесь, господа-товарищи! Наследник явился! Раньше бы он кто был, а! Митька-подпасок или вот тут бы в тракторе шестерил—поддай стакан, принеси лимон, убирайся вон! А теперь—юный пионер! Комиссар почти что, «Взвесьте костюми», и все такое прочее... Газеты читает, будто барин, царствие ему за границы небесное. Кто Керзон, кто польские панцы, кто Лига наций—все тебе объяснят...

— А как он мне свою веру в бога-господа нашего объяснит?—спросил приятель дядиною отца, человек с большим приноживающимся носом и намешливыми глазами, про него ходили слухи, что раньше он служил в охранном отделении.—То есть по мне, так дело это совсем похвальное. Но нешто юным пионером—они ведь, как я понимаю, все равно как коммунисты кадетского возраста,—так вот разве им верить-то позволено? Это ведь все равно, как бы сказать, ересь. А за ересь и у коммунистов по головке не поглядят.

— А я и не верю вовсе,—сказал Митя.—Что я, старуха, что ли, чтобы молиться-то, лбом об пол стучать!

— Не верите,—тихо засмеялся бывший филер,—а в церковь зачем ходите? Третьего дня выхожу из храма после службы—я ведь что, я человек старого века, мне не зазорно молитву восслав,—значит, выхожу это я из храма и кого же, позвольте, встречаю? Вот этого молодого человека, то есть, извините, конечно, юного пионера.

Митя смутился, потому что это была правда. Он действительно был позавчера в церкви, и в воскресенье был, и в то воскресенье, и в по за то. Он не верил в бога и даже боялся его, нарисованного на стенах, боялся темного вытянутого лица и пронзительных всевидящих глаз, каких никогда не бывает у людей. Но в церкви еще был хор, и рассказать о нем всеми известными ему словами дядя не мог, таких слов и не знал вовсе, какими можно было бы описать, что с ним самим происходит, что с ним делается, когда дьяком, словно бы отрешаясь от всего на свете, заводит глубокий и чистым басом: «Веру-ую!» Хор подхватывал эти слова и то устремлялся вверх, под самый купол и даже выше, а то спускался к самой земле, и тогда голоса звучали уже не в ушах, а как будто ударили прямо в сердце. И дядя Мите казалось, будто он раздвигается, будто какая-то его часть вместе с высокими голосами устремляется под купол, а другая вместе с голосами низкими вырастает в землю, словно дерево. И еще казалось, что в эти минуты ему ничего не страшно, даже умереть.

— Я ведь галстук снимал, когда туда входил,—готовясь зареветь, сказал Митя.—Я его в портфель прятал.

**Ч**erez несколько лет, когда началось строительство метро, церковь Вознесения, куда потихоньку заходил дядя Митя, закрыли и устроили там склад горного оборудования. Тишина пречистенских переулков нарушилась гудением здоровенных тяжельх грузовиков марки «бюсинг», над копрами метрошахт по ночам сияли ярко лампы. Закрыли и снесли Смоленский рынок, и достоявшая фирма Митрофана Ивановича Белова прекратила свое недолгое существование: и битогии и возчики служили теперь в пятнадцатом транспортном тресте коммунало. А дядя Митя был теперь уже коммунало. Ходил в оранжевой футболке с черной

вставкой на груди и с черной же шнуровкой, в диагональных брюках и скороходских спортивных тапочках на резиновом ходу. Музыку он любил по-прежнему, и теперь для того, чтобы насладиться ею, вовсе не обязательно было снимать с груди киёмовский значок и прятать его в карман. В красном уголке, в подвале огромного дома бывшей гостиницы «Бристоль», а ныне обшежития Наркомата тяжелой промышленности, стоял замечательный рояль, реквизированный некогда в одном из окрестных собориков. Играли на нем нечасто — революционные песни во время больших праздников, бодрый аккомпанемент для пирамид по случаю МЮДа — Международного юношеского дня, да еще иногда танцы: шимми, чарлстон и входящий в моду фокстрот. Чаще всего рояль стоял без дела, закрытый чехлом, шитым из старой портьеры.

Дядя Митя питал к роялю чувства, похожие на первое юношеское томление, в этом состоянии прикосновение к руке желанной женщины кажется собитием почти недостижимым и счастьем, превышающим все человеческие надежды. Так и дядя даже вообразил себе не мог, что своими когтями, в сединах и царапинах мальчишескими пальцами сможет когда-либо коснуться клавиш. Но однажды днем он зашел в библиотеку красного уголка и увидел, что комната, где стоит рояль, не заперта. Быть может, она вообще никогда не запиралась на особый замок, но дядя это представилось чудом, тающим в себе особый смысл, предзнаменованием, указанием судьбы. Он подошел к роялю, робко, не доверяя самому себе, отдернул пыльный бархатный чехол и поднял клавиши. Тускло сверкнули золотые немецкие буквы. «Blüthner» — разобрал дядя. Он не знал тогда, что это одна из самых знаменитых на свете фортепианных фирм, но в самих звуках ее названия услышал отголоски какого-то иного мира, полного сияния огромных лостр, прекрасных женщин и каких-то особых, еще не испытанных им чувств. Дядя Митя тронул клавиши. Он и не подозревал тогда, что у него, рожденного в подвале обшежития, в котором буянили анархисты в ту страшную ледяную зиму, когда по городу ползли слухи о попрыгунчиках и с наступлением темноты никто носа на улицу не высывал, у него, перестрадавшего рахитом, вшего пустую тюрю с черным хлебом и луком, выросшего во дворе среди песка да на булыжной мостовой, — именно у него окажется абсолютный музыкальный слух. Он просто тронул клавиши. И сразу понял, что это как раз то, чего ему хочется больше всего в жизни.

Дядя приходил в красный уголок каждый день. Он не учился играть на рояле, так же, как не учился, например, дышать, как птица не учится летать. Он просто играл, как будто делал это всю жизнь. Играл все, что знал: и песни, которыми жила эпоха, и романсы, которыми отводила душу не сразу спешившая за эпохой улица, и мелодии танцев, служащие между двумя этими понятиями компромиссом. Но чаще он просто отдавался чудесному чувству полной свободы и раскованности, которое словно бы само, без всякого участия воли водило его пальцы по клавиатуре. Дядя не знал, наверное, что такое музицирование называется импровизацией, самому ему оно представлялось полетом, долгим и счастливым, как во сне, преодолением земного тяготения, о котором рассказывал когда-то учитель физики.

Это дядино счастье кончилось, как и всякое счастье, совершенно неожиданно. Комиссия Наркомпроса, занимавшаяся учетом и распределением культурных ценностей, узнала как-то образом о том,

какой замечательный инструмент прозябает в небрежении в захудалом красном уголке. Рояль забрали, что было, откровенно говоря, совершенно справедливо с исторической точки зрения, однако в частной дядиной судьбе может рассматриваться как заметная неудача. Так случилось, что за инструментом приехали как раз в тот момент, когда дядя Митя совершал один из самых своих вдовночных полетов. Вместе с грузчиками в комнату вошел хорошо одетый толстый человек в пенсне, похожий на популярного в те годы артиста Горюнова. Его сопровождал упрямом в традиционной для людей этой профессии полувоенной одежде. По-видимому, толстый человек был каким-то весьма важным музыкальным лицом, потому что упрямом всячески перед ним сутелился, повторяя все время «сохранность идеальная», и, увидев за роялем дядю, в сердцах даже ткнул его в бок ларусиновым большим портфелем, как бы сокрушаясь по поводу того, что и такой реликвии прикасаются грубые руки непосвященных. Между прочим, этот самый упрямом, как рассказывал потом дядя, сам много раз намеревался выменять рояль на кровельное железо. Толстый человек безразлично сбросил с инструмента чехол, обжег рояль вокруг, как будто бы даже приноживаясь к нему, несколько раз потер крышку рукомодорого пиджака, сел на стул, подышал на золотые немецкие буквы знаменитой фирмы и только потом уже положил свои короткопалые кисти на клавиши.

Дядя Митя сразу понял, что это артист. Не шишка, не начальник, не ответственный работник, не лицо, важное во всех отношениях, но именно артист. Через несколько лет дядя узнал, что в красном уголке этот человек в пенсне играл эту Шопена. А тогда он только слышал музыку, которая запомнилась ему о весне в арбатских переулках, о капели, стучащей на солнцепеке по темнеющему льду, о сосульках, с грохотом и стеклянным звоном влетающих из жерл водосточных труб, и о ветре, навевающем неосознанные, неясные обещания счастья.

— Поразительно, — сказал артист. — Поразительно, что инструмент не потерял звучания... за все эти годы. — Он с укоризной посмотрел на дядю, словно все это время тот играл на рояле, в карты, бухал по клавишам пьяными кулаками, извлекая из драгоценных струн какую-нибудь разухабистую польку.

Дядя не обиделся, он понял только, что его музыкальным вечерам пришел конец. Он даже не предполагал, что рояль станет для него таким дорогим и необходимым. И, преодолевая смущение и боязнь, что ему откажут, он попросил разрешения в последний раз сесть к роялю.

— Конечно, конечно, ради бога, — затормозил музыкант, похожий на артиста Горюнова, словно извиняясь за свой прежний подозрительный взгляд.

Дядя Митя набрался духу и заиграл ту же пьесу, какую только что исполнил артист. Он вовсе не намеревался демонстрировать чудеса своей памяти, никто ведь не знал к тому же, что ему эта музыка десять минут назад была неизвестна, он просто хотел проверить, появится ли оно вновь, это ощущение весны, это предчувствие совершенно иной, полной событий и встреч жизни.

— Вам бы учиться надо, — сказал музыкант, внимательно и вроде бы грустно глядя на дядю; из-за маленького, но толстого, почти кубических стеклышек пенсне этот взгляд казался физическим ошутимым, как хрустальная рюмка, например. — Вам давно уже надо было учиться, — добавил он и сжал то ли многозначительно, то ли огорчительно губы.

Я понимаю, что в силу наивной, но по-человечески понятной традиции, в корне которой таится вера в справедливость счастливых метаморфоз, в то, что гадкие утята превращаются в прекрасных лебедей, а иванушки-дурачки в иванов-царевичей, надо бы написать о том, что с момента этой достопамятной встречи жизнь дяди Мити потекла по-иному... Не потекла. Все в ней осталось по-прежнему: из дяди Мити не вышел ни вундеркинд, ни образцово-показательный студент консерватории, пришедший в фортепианный класс прямо из ФЗУ. Дядя Митя мог бы записаться в самодеятельный оркестр при каком-нибудь профсоюзном клубе, но его удерживала память о том, что, по-видимому, навсегда ушло из его жизни, с тех вечерах, когда он сидел за роялем, когда музыка отрывала его от земли и он чувствовал, что может все, чего бы ни захотел, но самое чудесное в том и состояло, что ничего он не хотел, потому что все у него в этот момент было — свобода и легкое бестревожное сердце, словом, как раз то, что поэт соизмерял со счастьем.

**Н**а двадцать третье июня 1941 года у дяди был назначен спектакль. В этот спектакль Московского театра оперетты «Свадьба в Малиновке» он, как говорят артисты, «вводился» на роль Яши-артиллериста. Руководил этим вводом сам Григорий Маркович Ярон, который очень любил дядю и запретил его еще на втором курсе ГИТИСа. По окончании института дядя Митя поступил в театр оперетты и тем примирил его страсти своей жизни — любовь к музыке и к лицедейству. А вернее сказать, нашел точку приложения главной потребности своей души — веселить людей.

Я уже говорил, что у дяди это стремление было абсолютно бескорыстным, мнимыми словами, он вовсе не рассчитывал добиться с помощью своего дара каких-либо особых благ — славы остроумца, чье-либо расположение или всеобщих симпатий, какие сопровождаются зримыми знаками восхищения и восторга. Одна корысть, впрочем, несомненно чувствовалась, если только можно назвать эту слабость корыстью, — в конце концов что же это за творчество, в котором нет никакого личного интереса, — дядя нравилось ощущать, как по его воле, однако без какого бы то ни было принуждения или навязывания менялось на глазах настроение зала. Вот он выходит на сцену, никому не известный студент театрального института, в белой рубашечке алаш, если лето, а если зима, то в акkuratном двубортном костюме, перелицованном из отцовского. — кто заметит? Быть может, до него выступала певица и имела грандиозный успех, ему это не страшно, будь это хоть сама Русланова. Быть может, перед ним выступала балетная пара, или популярный по пластинкам джаз-гол, или чечеточники, зармированные неграми, — дядя Митя не придавал этому особого значения.

Он знал, что сейчас он подойдет к рампе и, не стесняясь, посмотрит прямо в зал. В первые ряды. И даже прямо в глаза кому-нибудь из первых рядов, какому-нибудь солидному гражданину или вот этой милой девушке с косо подрезанной прядью волос. В обыденной, простой жизни у него никогда не хватило на это смелости, а теперь — пожалуйста, теперь ему даже в голову не приходит сознание будничной своей нерешительности, он решился на все и готов ко всему, потому что он артист и на сцене он свободен. Так вот, он выбирает себе в зале зрителя, смотрит ему прямо в глаза, будто собирается сообщить нечто чрезвычайно важное, только их двоих касяющееся, и молчит. Долго молчит — пять

секунд, десять, двадцать, — в обыденной жизни это время равно многим минутам. Молчит, как будто забыл сам способ произносить слова и мучительно вспоминает про себя, каким образом следует поворачивать язык. А глаза его в эти мгновения выражают все, что должны произнести губы, и одновременно еще что-то, неуловимо, но точно намекающее: так, так, вы думаете, я недотепа, неудачник, растяпа, ради Бога, мне не обидно, мне не жалко, я по-дожду секундочку... И тут в зале возникает смех, сначала разрозненный и вроде бы случайный, а потом дружный, переходящий в неудержимый, счастливых и залихватистый хохот. А дядя Митя стоит, прислушиваясь к оттенкам смеха, потому что как для живописца не существует простого черного цвета, а есть десятки его полутонов, так и для человека, привыкшего веселить людей, смех всякий раз звучит поразному. Так вот, дядя Митя слушает, как изнемогает от хохота зал, и чувствует себя в этот момент на грани блаженства оттого, что дана ему такая легкая и счастливая власть над людьми.

Двадцать второго дядя Митя встал с постели в первом часу дня. Он выпил молока с черным хлебом и пошел на улицу. Стоял жаркий воскресный день, обычно в такое время засыпанные тополиным пухом переулки бывают провинциально пусты. Теперь они были странно полны народу. Непонятная тревога кольнула сердце. Однако у дома своей бывшей одноклассницы Лели Глан дядя вроде бы успокоился. Он очень любил этот дом — настоящий ампириный особняк с двумя наивно грозными львами при входе. И окна большой комнаты, которую занимала Лелина семья, тоже любил, особенно теперь, летом. Высокие рамы растрворены, и прекрасная старомодная занавеска из белого тюля то и дело выдвигается сквозняком наружу. Эти окна были на уровне дядиною подбородка, и за это он их тоже любил: можно было подойти поближе и заглянуть в большую комнату, пахнущую книгами, цветами и лекарствами — Лелин отец был визитером в аптеке на Кропоткинской. Комната была заставлена старинной мебелью, уже очень потерятой и от этого особенно уютной, как ни странно. А кафельная белая печь в углу с начищенной медной отдушиной даже летом влекла к себе дядю: в детстве он часто мерз и когда приходил к Леле, то всегда как бы невзначай прислонялся спиной к теплому кафелью. У многих из нас случалась в жизни такая комната или квартира, заходить куда было необыкновенно радостно, потому что там открывался нам мир, совершенно отличный от нашего собственного ежедневного бытия, мир, в котором царили какие-то высшие интересы, связанные с чтением, с музыкой, с жизнью прошлых веков и далеких стран, и где даже будничные заботы о хлебе насущном и какие-нибудь вечерние чаи с сухарями превращались в романтические обряды при свете зеленой лампы. Мы бывали счастливы в этих комнатах и квартирах и хотели лишь одного: чтобы нам как можно дольше разрешили здесь остаться, в этом кругу, где возможны переживания и чувства, известные нам только по книгам.

Дядя хотел пригласить Лелю на свой спектакль. Леля любила Скрябина и Дебюсси, но, вся в мать, была человеком широким и находила, что в хорошей оперетке тоже есть свое «брио». Дядя французскому не учился, но понимал, что речь идет об особом сценическом блеске и элитантности. Он приставал на цыпочки и, сознавая в который уж раз свою нескромность, заглянул в окно. Леля и ее мама, бывшая светская красавица из разорившейся польской фамилии, стояли у стола, покрытого ковровой старой скатертью, — по-видимому, они собира-

лись пить чай, но так и не присели, а словно застыли, подняв и повернув странным образом головы. Дядя почти подпрыгнул и понял, что взгляды их устремлены к черной картонной тарелке радио, висящей у дверной притолоки.

— Цветок душистых прерий,— пропел дядя начало арии совсем не из своего репертуара.

Леля вздрогнула, обернулась и посмотрела на дядю. И он сразу понял, что этот взгляд он уже не забудет никогда в жизни, сколько бы ему ни выпало еще обременять эту землю.

— Оперетта,— сказала Леля,— каскад и канкан, а в Минске фашисты уже людей убивают.

Весь вечер в день спектакля дядя повторял про себя эти Лелины слова. А когда не повторял, они звучали у него в ушах, произнесенные Лелиным голосом. Он не имел в тот вечер успеха, откровенно говоря, и радовался этому. Если бы он имел успех, если бы его вызывали на «бис» и забрасывали цветами, получил бы, что Леля не права. А он был уверен, что она права совершенно. И только спустя полгода впервые усомнился в этом. Но тогда, вечером, после спектакля, дядя Митя почтительно попрощался со всеми, впервые не на сцене, а в жизни поцеловав руку примадонне. Он уже знал, что утром направится на Метростроевскую в военкомат.

**К**огда дождливым летним вечером эшелон покидал Москву, дядя и все его товарищи были в полной уверенности, что поедут их поближе к фронту, на запад. Ну и что ж, что отпроявлялись с Павелюцкого, у войны свои расписания и маршруты. Красноармейских песен они еще как следует не знали, а потому пели «Утро красит нежным светом» и «Если завтра война». Между тем вели их на восток. Уже началась потихоньку эвакуация крупных заводов на восток страны, и солдаты необходимые сделались не только для боя, но и для строки. Их привезли на Средний Урал, где была сплошная, не сравнимая ни с чем тайга, какую они, парни с Зацепы и Пироговки, даже в кино не видели. Наверное, это самый прекрасный и благородный лес в мире, но горожанину он кажется таким не более недели. Дядя Митя утомлялся на лесоповале, потому что сроду не был выносливым и чересчур сильным, но еще больше, чем усталость, давила его столь ценная поэзия глуш. Он тосковал по Москве, по своим переулкам, по трамвайной давке, по сиянию театральных залов, к которому уже успел привыкнуть. Зима пришла рано вместе со страшными слухами о Москве, из теплой одежды у них были только ватники, да и то не у каждого, и дядя Митя замерзал. Никогда в жизни, ни раньше, ни потом, он не мерз до такой степени: коленели уже не руки и ноги, а все внутри, казалось даже, что в груди на сердце, а тяжкий ледяной комом, причиняющий тупую тягучую боль.

В конце декабря батальон, в котором служил дядя, перебрасывали на новое место. Транспорта не хватало, они шли пешком по узкой лесной дороге, все-се не соблюдая строя, растянувшись почти на версту. От мороза было трудно дышать, явнейшее и совершенно ледяное солнце слепило глаза. От солнца ли, от холода ли дядино лицо заливали слезы, он не успевал и миг стирать окаменевшей варежкой, они застывали, и мир сквозь них делался причудливо нереальным. В один миг дядя ощутил странную, подступающую к сердцу пустоту, сознание покинуло его ровно на секунду — так в театре по ходу спектакля на мгновение «вырубается», а потом с еще большей силой вспыхивает свет. Это состояние по-

вторилось несколько раз, и дядя Митя, чтобы удержаться на ногах, остановился и припал грудью к мерзлотовому стволу сосны. Он не знал, сколько времени простоял вот так, он только почувствовал, что губы его сделались солеными, и увидел, как на снегу перед ним, на ослепительно белом и легком морозном снегу возникло вдруг и расплылось акварельное пятно. Потом их стало много, этих алых пятен, он заморожено смотрел на их нежные оттенки, пока не догадался, что это его кровь.

Дядя набрал окоченевшими пальцами горсть сыпучего снега и положил его себе на переносицу. Он принялся дотопить колотушку неверными шагами, запрокинув голову, словно слепец. Время от времени он опускался на корточки за горстью свежего снега, а окровавленный бросал, потому по всей лесной дороге за колотушкой тянулся алый акварельный след.

К вечеру они дотопались до маленького, уютного впадины в сугробах городка. И только тут, в теплой вони бывшего лабаза, превращенного в казарму, вспомнили, что через несколько часов Новый год. Свободных опустили на вечер в железнодорожный клуб. Он был набит битком, в проходах и вошла сцены сидели прямо на полу. Пахло махоркой, потом, грязным бельем. От неожиданного тепла слипались глаза, многие засыпали. Девушки из местной самодеятельности с наивным пафосом читали стихи Гусева и Лебедева-Кумача. Эвакуированный артист, по виду тапер из московского или ленинградского кинотеатра, на расстроенном пианино играл Брамса и Дунаевского. Дядя Митя еще никогда не видел, чтобы зал, переполненный, как трамвай «Аннушка», был так безучастен и равнодушен ко всему, что происходит на сцене. Он мог ждать чего угодно: гогота, реплик, простодушной похабщины,— но это равнодушие пугало. Оно говорило о страшной усталости и неизбывной тоске, которую не в силах даже на минуту рассеять этот концерт — хоть и дурацкий, но все же напоминающий о нормальной мирной жизни. Дядя Митя не принимал никаких решений, его решение само родилось в нем и подкатило к сердцу, как дурнота несколько часов тому назад. Он встал и, не осознавая окончательно своего поступка, стал пробираться к сцене. Было невозможно не наступить на чью-либо ногу или хотя бы полу шинели, всякий раз дядя морщился при этом, как от боли, и все время извинялся — направо и налево. Никто не понимал, чего он хочет и куда стремится, и потому дядю негромко материли и один раз даже съездили по спине. Он не обиделся. Он давно понял, что в его профессии обижаться можно только на самого себя. Публика никогда не виновата.

Дядя Митя вскарабкался на сцену. Ведущая — девушка в форменном платье телеграфистки с гимназическим отложным воротником — при виде карабкающегося на сцену бойца, испугалась и растерянно заморгала некрасивыми маленькими глазами. Дядя успокоил ее уверенным и ласковым прикосновением руки. Потом он повернулся лицом к залу и застыл как ни в чем не бывало, почти по стойке смирно, только вот ноги в обмотках и корявых бутсах были поставлены немного криво, только руки, короткие из-за длинных рукавов шинели, были немного расплывены, только на лице застыло едва заметное (лишь потому что застыло) выражение неуверенности и недоумения. Да, это был прием — испытанный много раз, однако не мертвый, не превратившийся в схему или штамп, в нем отразился тот смущенный испуг обывателя перед техникой, перед всем грохотом и напором новой жизни, то ошеломление, которое дядя столько раз наблюдал на московских рынках, в переулках и во дворах.

Прошло двадцать секунд, тридцать, сорок... Робкий смехок, даже не совместимый с обликом здешней публики, прозвучал в зале. Потом он сделался громче и смелее, потом послышался первый раскат хохота. И точно в тот момент, когда он стих, в ту самую мгновенную паузу между первым и вторым взрывом смеха дядя произнес первую фразу.

— Вот, говорят, в Америке бани хорошие. Не знаю. Не думаю.

Он был уже спокоен. Почти спокоен. Потому что полного спокойствия — это он тоже давно понял — на сцене быть не может. Он произносил зощенковские знаменитые фразы с такой естественной простотой, словно бы они только что приходили ему на ум, и от этого, оттого, что дистанция между автором и артистом была минимальная, почти каждое слово вызывало хохот. Это очень радовало дядю: он видел, как осмысленными и радостными становились лица, еще минуты две назад погруженные в тосликое равнодушное оценивание; он видел, как теплеют и искрятся глаза, за мгновение до этого тусклые и безразличные. И дядя сам уже не помнил о своей заплетающей ноге усталости, и про отключение сознания он уже забыл, и даже собственная кровь на морозном снегу виделась сейчас как воспоминание давних, может быть, детских лет — он был теперь здоров, бодр и счастлив. Он чувствовал в себе неистощимые силы и готов был петь, танцевать, сыграть «Сильву» в концертном исполнении для всех персонажей сразу, включая примадонн и красоток кабака.

Зал не напоминал больше унылый эвакуант, он ничем существенным, если не обращать внимания на военную форму зрителей, не отличался от беспечного московского «Эрмитажа» — такой же стоял хохот, и аплодисменты гремели так же, и дядя даже казался, что аромат цветущих лип доносится с улицы. Он и сам, как всегда бывает в моменты полного успеха, казался себе всемогущим, красивым, изысканно необыкновенно — тьгова уж актерская природа. А, впрочем, может, так оно и было, может, дядя и вправду был в те минуты красив и ловок, ведь всемогущ он действительно был — кто еще смог бы в одну минуту вернуть людям вкус к жизни? К тому же красота не такое уж внешнее свойство, как принято думать, — человек очень часто и в чужих глазах выглядит именно так, как в своих собственных; впрочем, в случае с дядей все было как раз наоборот. Ведь красноармейцы, увеселившиеся на дощатом грязном полу стационарного клуба, видели перед собой не малорослого бойца в слишком большой шинели и ботинках, тоже слишком больших. Нет, они видели легкого в движениях молодого артиста, который, откинув полу шинели, внезапно садился и, аккомпанируя себе самому на пианино, пел приятным тенором какую-то незнакомую, жутко красивую песню, в которой были такие слова: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?» — и каждому из тех, кто пристроился на лавке или на полу, действительно хотелось хотя бы в мыслях спросить кое-кого, кто остался дома в той почти сказочной теперей жизни, этими вот непривычно красивыми и душевными словами: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?» А парень на сцене, едва отшумели аплодисменты, вновь пробежал быстрыми своими пальцами по клавишам невзрачного пианино и, посмотрев в зал внимательно и сердечно, пропел: «Как мндогу девушек хороших, как много ласковых имен...» Почему-то от простых этих слов, и от музыки этой, и от голоса певца приходили на память майские вчерашние, тополиный пух на асфальте, пар над рекой, лодки, скользящие на воде под свежей листвою низко склоненных над рекой ив и берез. Печу-то ни-

кому вовсе не казалось удивительным, откуда это у парня из саперного батальона открылись такие таланты. Все будто забыли, что дядя Митя один из них, и вспомнили об этом только в ту минуту, когда тихо заиграл он вдруг знакомую мелодию «Гоп со смычком» и, подмигнув всем присутствующим, запел здешние, в батальоне сочиненные куплеты про Гиллера и Риббентропа. Не ахти, конечно, какие складные, но ничего, зато крепкие. Впрочем, самые как раз забористые места дядя пропустил. Но так выразительно пропустил, что все было понятно, хотя и придаться в то же время не к чему.

Дядю не хотели отпускать. Просили песен. И танцев тоже и художественного чтения. Жаловаться не приходилось, он сам пробудил в людях эту душевную жажду, и утолить ее, кроме него, было никому. Один пожилой уже боец из второго рзда чуть ли не умолял, ерзая от нетерпения, как мальчик: «Друг, будь человеком, а? Выдай эту самую, ну как ее, про пирожные... про баб, которые аристократки...»

Дядя выдал «Аристократку». Требовали песен — и он, забрасывая голову, словно записной тенор из русского хора, выводил: «Пожалей, душа-зазубушка...» — и был при этом счастлив, как в детстве, когда посреди двора по какому-то непонятному наитию вдруг устраивал представления для своих оборванных приятелей-беспризорников и для нянэк из богатых измланских семей.

Дядя Митя читал Есенина: «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!» Он знал, что в зале сейчас плачут. Ему самому хотелось плакать блаженными слезами, от которых в груди тает ледяной комок тоски и бесприютности. Чтобы удержаться, он опять подбежал к пианино и сам себе проиграл несложный, за душу берущий заход «цыганочки». Классической московской «цыганочки», школу которой проходили в подворотнях и подъездах, смертной «цыганочке», озапявшей собой и свадьбы, и первомайские вечера в переулках, и томление первой любви, и боль разлук. Дядя Митя неожиданно подумал, что артистом он стал сегодня. Только сегодня он впервые не просто смешил и не просто ублажал, он взял на себя ту ответственность, без которой не бывает искусства. Ответственность за все, что только творится в мире. И в человеческой душе.

На него смотрели сотни глаз — воспаленных, покрасневших, слезящихся, и было в них такое немое обожание, такая простодушная радость, что лучше было умереть на этой паршивой скрипучей сцене, задохнуться во время пляски, ощутить, как обрывается в груди какая-то главная струна и слова застревают в горле, только бы не обмануть этого бесконечного доверия.

Наступал Новый год, и нельзя было поручиться, что для многих в этом зале он не окажется последним. Даже наоборот, очевидно было, что ничего веселого от грядущего календаря ждать не приходится. Легкие надежды давно развеялись, и одно только воспоминание о них раздражало. Слишком уж безоблачными были довоенные праздники с их плакатами и песнями о неопеделенности и неопределенности. Они, может, и не врвали, эти плакаты, только вот, глядя на них, решительно невозможно было уразуметь, в чем же она заключена, эта самая неодолимость. Лишь сейчас дядя сделалось понятно, в чем. Она в том, например, что нельзя отказаться от своих песен. Ни за какие блага и ни под каким страхом. И слова, которые тебя смешили и отводили тебе душу, невозможно забыть. А ради тех слов, от которых сжималось сердце и морозный озноб про-

бегал по спине, вообще ничего на свете не жалко. Потому что, если их не будет, не будет и родины и вообще ничего не будет.

Потому что без этих слов и жить-то не надо.

**В**осенняя биография дяди мне мало известна. Чинов заметных он не выслужил, медалей и орденов получил немного — не более того набора, который есть у любого фронтовика. И даже не фронтовика, а безупречного труженика тыла. Но дело, я думаю, вовсе не в том, что у дяди Мити не хватало героизма и отваги, это все дурацкие, поспевные рассуждения, будто бы и отвага на войне — что-то вроде находчивости в КВН: хватало — заработаешь очко, не хватало — привет родителям. Просто даже в футболе не всем дано забивать голы, а между тем самый удачливый бомбардир не может обойтись без добросовестных и трудолюбивых партнеров. Вот и дядя был не войне трудолюбивым и безотказным рабочим, не бегал ни от какого дела и ни на что не жаловался. Может быть, этого и маловато для героизма, однако ни один настоящий герой никогда и ни в чем не упрекнул бы дядю. Я в этом уверен.

В конце войны дядин полк шел в Австрию. Здесь стояла нерусская мягкая зима, зима — отдых, зима — курортный сезон. Даже снег выпал адекватный и умеренный, ровно столько, сколько нужно для лыжников, и для веселого рождественского пейзажа, и для того, чтобы почувствовать себя особенно уютно под черепичною крышей надежного каменного дома, пахнущего кофе и хорошим табаком. Дядя и два его товарища стояли несколько дней постом в доме человека, которого звали Иоганном Штраусом, — ни больше ни меньше. Он был оставшимся налоговым инспектором.

Неверно, никогда еще дядя Митя не жил в таком непоколебимом, налаженном уюте. Над высокой и широкой кроваткой висели гобелены с изображением оленей и охотников. У оленей были ветвистые, словно кроны деревьев, рога и водянистые глаза. А охотники щеголяли высокими узкими сапогами и победными, закрученными вверх усами. Большая кухня светилась теплым желтым кафелем, на полотenca были написаны затейливой вязью заповеди размеренной и счастливой жизни. Из медных начищенных кранов никогда не капала вода. Дядя любил сидеть на кухне возле теплой и обширной плиты — жизнь начинала казаться призрачной, выпадала из времени и пространства. На полках стояли фарфоровые банки для различных припасов, тяжелые ступки, пивные высокие кружки. Как луна в тумане, тускло светился большой таз для варенья. Мир был прочен и устойчив. Пылал очаг. Клокотал в кофейнике эрзац-кофе.

Однажды вечером сверху донеслась музыка и вывела дядю из блаженного, призрачного состояния. В ней слышался ветер, тот самый, который, ворвавшись в окно, приносит запахи леса и земли, который вызывает в душе ответное движение, порыв, осязаемый физически.

По деревянной, крытой ковром лестнице дядя Митя поднялся во второй этаж. Дверь в кабинет хозяйки была открыта. Он сидел в кресле — лысый, сухопарый и некрасивый, что бросалось в глаза. Хотя, казалось бы, какое это может иметь значение в таком возрасте... На высоком субтильном столике перед ним стоял патефон, каких в Москве дядя никогда не видел, — почти что плоский, в закрытом виде напоминающий, вероятно, обточенный морем камень. Это музыка заставляла думать о море, а видел его он лишь однажды в течение нескольких дней в

Криму. Они поехали в Гурзуф с приятелем, собирались пожить там с месяц, а денег хватило едва-едва на две недели. Почти все это время держалась штормовая погода, курортники ныли и жаловались, а дядя был счастлив. Он стоял на каменном узком пирсе, волны взрывались, как бомбы, они грохотали и шипели, они разбивались о камни на миллионы ослепительных брызг, и внутри у дяди тоже что-то разлеталось вдребезги, и силой этого внутреннего разрыва его подбрасывало от восторга, как мальчишку. Сейчас дядя стоял у дверного косяка и вновь видел гурзуфский берег, и пену, стекающую с шипением по шуршащей гальке, и то, как посреди темного хмурого моря почти у горизонта возникает светлая лазурная полоса. Он думал, что такая полоса должна возникнуть и в его жизни.

— Вы любите Бетховен? — Дядя даже вздрогнул, он никогда раньше не слышал, чтобы хозяин говорил по-русски.

— Люблю, — ответил он, не переставая удивляться неожиданному этому разговору.

Пластинка кончилась. — Вы удивлены, что я говорю по-русски? — спросил отставной инспектор. — Я был в России плен. Еще тогда, еще та война. Я был в Киев, Днепр. И еще Одесса.

— Вам не понравилось в России? — спросил дядя. — Раз вы так до сих пор словом с нами не перемолвились.

— Нет, мне понравилось в Россия. Я имел много глюков в Россия, как это сказать... счастья... Но это была другая Россия. А вот вы, молодой человек, любите Бетховен. И слушаете Шестую симфонию, которую дирижирует Герберт фон Караян. Любимый маэстро фюрера.

— Музыка беззащитна, — сказал дядя Митя. — Разве она виновата, что нравится не только мне — я до войны крови видеть не мог, — но и убийцам? При чем тут фюрер... Караян — великий дирижер! Меня вот солдаты спрашивают: если у них так все красиво — у вас то есть, — если домам сотни лет и каждый дом можно в музее выставить, зачем они к нам пришли? Почему же их красота эта вся, эти горы, соборы до неба не удержали? А вы говорите — музыка... Вот вас зовут Иоганн Штраус — так по крайней мере на дощечке написано при входе. Я, когда ее впервые прочел, даже задрожал весь. Я думал, что с такой фамилией надо быть музыкантом, играть если не в зальцбургском оркестре, то по крайней мере где-нибудь в кабаке — это тоже нужно. А вы всю жизнь собирали налоги, крутили арифмометр, подшивали копии... И в этом нет вашей вины. А чем же музыка виновата?..

— Да, да... Хозяин качал головой и был похож на какую-то экзотическую некрасивую птицу, которую дядя видел однажды в зоопарке. — Иайя... Он снял свои тонкие очки в золотой оправе и по-старушечьи протер их полую калату. — Теперь я узнаю Россию. Все та же категоричность суждений. Крайность... Непримиримость... Я не выбирал себе Митю. Штраусов здесь столько же, сколько у вас Понюховых. Нельзя же всем сочинять вальсы. Кому-то нужно и счета вести. Тем более, что они бывают справедливей музыки. Вы это тоже узнаете когда-нибудь.

Дядя Митя попросил прощения за беспокойство и сошел вниз. На кухне возле плиты сидел его приятель, ефрейтор Аркаша Карасев, и рассказывал хозяйке Марте про свою личную жизнь. Марта ни слова не понимала по-русски, но слушала внимательно, щуряла голубые глаза и кивала головой.

— Я не скрываю, — говорил Аркаша, — у меня этого добра хватает, баб то есть. Но она видела? Я ей



говорю: ты меня хоть с одной видела? В кино или в клубе? А-а, говорю, это тебе мамаша твоя преподобная напала, она про меня все знает. Домашний следователь....

Эта семейная история произошла года за три до войны, но Аркаша, приняв больше положенной боевой нормы, любил ее вспоминать и всегда искал слушателя. Марта слушала идеально. А дядя стоял у окна и впервые за все это время думал о том, сможет ли он после всего, что было, вернуться в театр. После лесоповала, крови на снегу, и своей и чужой, после сожженных деревьев и ночевок в грязи, после пота, застилающего глаза, и бесильной боли в животе — вот так вот, как ни в чем не бывало выпорхнуть на сцену, выдать каскад, с чувством пропеть куплеты? Достанет ли у него эти чувства — трогательных, но легких, как лузги, пlyingщие во время дождя по речной поверхности? Не зачерствело ли его сердце от зрелища бесконечного горя, не легла ли на него та каменная тяжесть, которую не сбросить уже никаким везением и никакой улыбкой судьбы? И ведь не один же он такой; что, если этот тяжкий груз лежит теперь на многих сердцах и не нужна людям музыка, беззаботно склонная нравиться всем на свете — и правым и виноватым, и жертвам и палачам?

Через две недели дядю Митю изрешетила и контузила немецкая мина. Это случилось на улице Ринг в городе Вене, той самой Вене, где жили некогда любимые дядей композиторы и где с блеском и шумом разворачивались события тех замечательных оперетт, в которых он мечтал играть, появляясь на сцене во фраке, с тросточкой в руках и с бутоньеркой в петлице. Поразительно: еще не потеряв сознания, еще не понимая, умирает ли он или еще будет жить, дядя в первое мгновение догадался, что ни петь, ни танцевать он больше не сможет. Потому он лежал без сознания на аккуратной венской мостовой, где катились когда-то на дутовых шинах пролетки опереточных графов и в ритме штраусовских вальсов скользили легкие ноги здешних цветочниц. А потом его нашел Аркаша Карасев и собрался было уже схоронить в ближайшем сквере, но вдруг понял, что дядя жив. И шел потом Аркаша с дядей на руках, и чувствовал на ледяных дядиной крови, и плакал, и матерился, и звал санитаров.

А спустя месяц Аркадий разыскал дядю Митю в госпитале. Он пришел не один — еще с двумя ребятами, по дороге они успели слегка прилечь, и потому Аркадий вновь пытался рассказать дяде и медсестрам о странностях своей семейной жизни. Все смеялись, дяде тоже хотелось смеяться, а еще больше, как никогда в жизни, ему хотелось петь. Но звук не получалось, он только шевелил губами, словно рыба, а от напряжения в груди и горле начиналась такая боль, что на глазах выступали слезы. И дядя мотал головой и хотел, чтобы все поверили, будто это от смеха — так развеселил всех Аркаша, что просто сил нет.

— Мне тесть говорит: у вас вся семья такая. То есть все мужики. Твоего, говорит, отца, когда он пернем был, соседи дреколем уходить собирались за его кобелевый нрав. А я ей говорю: сын за отца не ответчик. Поняли, куда гнут? А поэтому, говорю, все ваши подозрения лишены почвы, и прошу, говорю, меня от них избавить. Во какой лексикон слов, не хуже, чем на собрании во время чистки.

Аркадий среди смеха и визга раньше медсестер понял, что дяде плохо. Он будто бы незачай повернулся к самым смешливым, словно бы затем, чтобы напечатать им еще какую-нибудь шутку, од-

нако хохот не взвился с нзвой силой, а мгновение спустя затих.

— Митя, — сказал Аркадий, — мы ведь к тебе из пустыни руками. Мы к тебе с подарком от всего, можно сказать, батальона. От всех ребят. И от тех, считай, кого уже нет. Потому что ты знаешь, как к тебе относиться. Чоб ты, значит, никого из нас не забыл.

Аркадий поднялся и, подмигнув сестрам — вот, а вы меня еще подозревали, как бы чего неположено не пронес, — направился к двери. Через минуту он появился в палате, торжественный и монументальный, словно маршал или кафедральный орган, которых дядя уже успел увидеть в здешних городах. Монументальность была и в лице, но происходила она от сияющего, вспыхивающего на солнце разноцветными перламутровыми блестящими аккордона. Такого огромного, что даже плечистому Аркадию он был нелегок.

— Первый парень на деревне, — громко от смущения произнес Аркадий, которого уже начинала тяготить роль деда-мороза и благоговорителя. — Марка «хоннер»; немцы говорят, отличная вещь. Звучание, как в этом... как в соборе святого Стефана. — Он старался точностью языка преодолеть несвойственное ему смущение. — Я тут одного шофарюгу раскулачил. Смотрю, он инструмент тащит. Нет, говорю, это не твоего ума, гад, дело. Это тебе не браслетки и не щепочки поперек живота. У нас, говорю, найдется, кому машину доверить. Для общей пользы и славы гвардейского оружия.

— Напрасно в это дело жулика агорчил, — шепотом сказал дядя Митя. — Я таких аккордеонов в жизни не видел. И как на них играть, не представляю себе.

Аркадий даже расстроился и от сматения чувств растянул со стонущим звуком роскошные мехи.

— Митя! Да ты бога побойся! Тебе эта немзкая бандура не под силу? Да ты так не ней сыграешь, что никаким немцам в жизни не сыграй! Ты так сыграешь, что мы плакать и смеяться будем. Вот на что ни разу в жизни не плакал — и то заплачу. От радости! — Он подкреплял свои слова замахами рук, и отпущенный на волю аккордеон самопроизвольно вздыхал и вжал. — Ты так сыграешь, Митя, что те ребята, кого уже нет, услышат. И порадуются вместе с нами, потому что мы победили, Митя, понимаешь? Мерзлы, не жраши сидели, ашей давили, а победили! Я не генерал, но это я тебе точно говорю: победили!

Дядя Митя и впрямь быстро освоил аккордеон. Вопрос был не в сложности инструмента, а в невхватке сил: после операции дядя сильно устал, и врачи, по правде говоря, не очень одобряли его Экзерсисы. Но он умолял их не беспокоиться. Он сидел в госпитальном скверике, подбирал, как всегда на слух, довоенные фокстроты и песни, вошедшие в моду во время войны — как странно это сочетание: война и мода, — и понемногу, самому себе не доверяя, чувствовал, как возвращается к нему жизнь.

Через два месяца после Победы дядю вистую комиссовали и отпустили домой.

Дядя Митя было мало вещей. Тощий мешок, больше похожий на котомуку стреника, чем на классический солдатский сидор. Зато у дяди был аккордеон — его главное богатство, его военный трофей и утешение. Таскать его, однако, после госпиталя едва хватало сил. Однажды, когда от жары и усталости й голове поплыли круги, в голову



пришла даже еретическая мысль: а не выменять ли к чертовой матери эту немецкую музыку где-нибудь на станции на что-либо более удобное — на отрез хорошего сукна, на две пары ботинок или просто на окорок? Митя гнал от себя эту ехидную, слабодушную идею и, чтобы окончательно ее победить, вытаскивал аккордеон из футляра. Он играл, сидя у открытого окна, в вагон вырвался теплый ветер, пахло полем, лесной сыростью, паровозным дымом. Мельчайшая угольная пыль цекотала ноздри и заставляла глаза слезиться. Это и было тот самый пресловутый дым отчества, чья горечь оказалась нужнее и дороже любой сладости. Теперь аккордеон не тяготил больше дядю, у него нашлись десятки добровольных оруженосцев, готовых с душою охранять инструмент и таскать его по шумным, пьяным, веселым и голодным перронам — от поезда к поезду, от вагона к вагону, — это было настоящее русское путешествие, многодневное, с обилием стоянок и пересадок. С хмелем, загулом, с неожиданными признаниями и откровенностями, с клятвами в дружбе до гроба. Радость возвращения и будущих встреч осеняла этот медленный поезд. Но к радости уже примешивалась грусть от сознания, что по этим дням, которым приходит конец, они всю свою жизнь будут тосковать. Не по страхам, конечно, не по взгляду осколков, а по святому и воленому мужскому братству, по своей молодости, по солдатской дружбе, сравнить которую невозможно ни с чем на свете. Да и заменить которую нечем.

В Москве дядю тоже вызвалися проводить до дому, поднести инструмент, но он отказался. Он чувствовал, что возвращаться надо одному — по пустынной ранним утром улице Горького, по переулкам, похожим в этот час на декорацию к спектаклю из московской жизни где-нибудь во МХАТе или в Малом. С домашним полузабытым журчанием лилась из дворничих шлагов вода. Дядя Митя шел по мостовой и смотрел на родной московский асфальт, пересеченный за эти годы, словно человеческая рука, линиями жизни и судьбы, смотрел на дома, как будто бы постаревшие и поседевшие за эти бесконечные четыре года, и, сам над собой смеясь, ожидал, что сейчас что-нибудь произойдет. Что-нибудь необыкновенное, чрезвычайно редостное, какое-нибудь счастливое стечение обстоятельств, знаменующее собою его возвращение. Так бывает в детстве, когда в день рождения выбегаешь на улицу в нетерпеливом предвкушении счастливых событий — часы идут, однако, ничего, ну решительно ничего необыкновенного и удивительного не происходит, и в конце концов делается даже обидно — непонятно на кого, безлично и неконкретно, обидно, и все тут. Именно в этот момент ему впервые пришла в голову мысль, что вот и вся жизнь может пройти таким манером — в постоянном и напрасном ожидании замечательных событий, в наивной надежде, что все настоящее — лишь прелюдия, а главное впереди и вот-вот начнется.

С Гоголевского бульвара дядя Митя свернул в свой переулок. Он почувствовал, что задыхается, с трудом снял с плеча аккордеон, прислонился к стене. Он подумал, что это, быть может, очень эффектно, после четырех лет войны взять до и загнуться на пороге родного дома, но очень несправедливо. Больше всего он боялся, что его увидит кто-нибудь из соседей, узнает и начнет сочувствовать, примется помогать. Наконец дядя отдышался, поднял пудовый «хоннер» и, стараясь ступать твердо, зашагал к дому.

Дворничиха тетя Феня, как всегда, с внешним ожесточением подметала каменные плиты у ворот. Порядка от такой ярости не прибавлялось, даже на-

оборот, но зрительный эффект должен был потрясти нерадивых и нечистоплотных жильцов.

— Здрэсьте, тетя Феня, — произнес дядя Митя, хотя прекрасно помнил, что она его недолюбливала. Без всяких причин, а может быть, по одной лишь причине, что не был он никогда понятным ее ему хулиганом и пьяницей, а вечно ходил с книгами да еще играл в красном уголке на рояле.

Дворничиха посмотрела на него внимательно, но безучастно; по глазам было видно, что она его не узнала.

Дядя вошел во двор, ступая по каменным потрескавшимся плитам, окруженным высокой и свежей травой. Лето в этом году стояло жаркое и богато короткими проливными дождями. От ступенек крыльца и покосившихся перил тянулся еле заметный пар. Весь этот особняк являлся, в сущности, одной огромной коммунальной квартирой, а потому входная дверь с деканатскими лилиями на матовом стекле никогда не запиралась. Каждому жильцу запирались полагалось собственную комнату. И почтовые ящики, пронзительно голубые и зеленые, висели прямо на комнатных дверях — некоторые были, между прочим, сделаны из красного дерева. А кухня имела одна общая на весь дом, как войдешь — налево.

И когда дядя Митя вошел, он по оставшейся с детства привычке первым делом заглянул в кухню. В глубине, возле окна, выходящего в хилый палисадник, стояла его мать. Она накачивала примус и время от времени останавливалась, чтобы передохнуть. У нее были тонкие руки с большими синими перелетениями вен. В детстве он очень боялся, что эти вены не выдержат однажды и лопнут. Ситцевый старенький платок сбился на сторону, и видна была прядь волос — седоватая и редкая, луком солнца просвеченная насквозь. Дядя Митя прислонился к притолоке и не мог вымолвить ни слова. Похоже было, что один из невынутых осколков поднялся из каких-то тайных глубин его груди и встал поперек гортани. Дядя облизывал сухие воспаленные губы.

Мать разогляла примус и поставила на огонь кастрюльку, дядя узнал ее, купленную лет десять назад в рабочем кооперативе. На ногах у матери были парусиновые башмаки, похожие на мальчишью.

Дядя впервые подумал, что возвращаться сюда, как в спектакле, — с закрученными усами и с орденами, нестерпимо сияющими на груди.

Из плохо прикрытого крана в поржавевшую раковину капала вода. Пахло керосином и стиркой.

Мать сняла кастрюлю с примуса и принялась мыть посуду — граненые стаканы из грубого зеленоватого стекла и толстые потрескавшиеся блюдца. Она аккуратно вытирала их суровым полотенцем и что-то напевала при этом — какую-то совершенно неизвестную ему песню. А мать никогда не пела, даже не напевала на людях раньше — это дядя знал наверняка. Она потихоньку пела теперь еле слышимым дрожжим голосом, и в такт этой странной песне текли, вероятно, привычные ее мысли.

— Мама, а мам, — проглотил комок, хрипло позвал дядя. — Здрэствуй, вот я и пришел.

**Д**ядя ошибался, когда полагал, что после войны люди не смогут веселиться. Наоборот — и я уже писал об этом, — жизнь сделалась милой и угарной, даже я это помню. Даже меня, тогда маленького мальчишка, эта недолговечная сладкая жизнь задела слегка вихрем своего карнавала. В первый раз это случилось зимой. Однажды вечером в наш утопающий в сугробах двор въехала большая машина. Мы забрелись на ступеньки крыльца, куз

всегда забирались в таких случаях, и с приятным ощущением безопасности рассматривали автомобиль. Его большие фары светились ярко, как прожекторы. В длинных желтых лучах медленно, словно в театре, вилась и искрился снег. И сама машина, большая, как карета в Историческом музее, сверкала на морозе темным глубоким лаком. Открылись почти одновременно двери, и из кабины вышли трое мужчин.

Они очень подходили к своему экипажу — в троллейбусе и трамвае таких людей не встретишь, — высокие, плечистые, в пальто с большими серебряными воротниками.

— А ну, пацаны, — приказал один из них густым приятным голосом, — подите-ка сюда.

Еще не сойдя со ступенек, мы почувствовали, догадываясь, что они выпивши. Именно выпивши, а не пьяные — уж кто-кто, а мы-то пьяных видели, и еще было понятно, что пили эти люди не водку, а какое-нибудь неведомое в нашем дворе вино — такое же дорогое и таинственное, как их машина. Человек с приятным низким голосом, большими руками в кожаных перчатках сгреб нас всех в кучу. И хотя сделал он это довольно бесцеремонно, чувствовалась в его движении некая покрывающая мужская ласка.

— Быстро, ребята, — произнес он голосом, от которого трепетали невольно наши сердца, — кто первый скажет, где здесь живет Тамара? Знаете Тамару?

Мы знали Тамару. Она была совершенно не похожа на женщин нашего двора, ни на кого из наших матерей и сестер. Она была красавица. Мы чувствовали это, хотя и не понимали до конца, в чем состоит смысл этого человеческого свойства. Она ходила в ярких коротких платьях, подол которых бился вокруг ее круглых колен, а на плечах вздрагивали и золотисто переливались завитки ее волос. Такая прическа называлась «Дина Дурбин». Мы почему-то мгновенно осмелели и наперобой, ругая друг друга и чуть ли не передрались — что было бы уж совсем позорной утратой достоинства, — принались объяснять незнакомцам, как им следует пройти в конец двора, там свернуть в ворота, ведущие в задний двор, и под аркой этих ворот войти в парадное, а там уж подняться на третий этаж. Вероятно, мы слишком старались, потому что мужчины все это время досмеивались. Но, впрочем, слушали нас внимательно, даже такие, в сущности, посторонние реплики, вроде «ты, дуракт!», «иди ты нахистов», «сукой буду», «ща как дам!» и тому подобно. В конце концов они разобрались, куда им идти, и остались довольны. А тот, чей вид и голос произвели на нас особое впечатление, вдруг спросил: «Ну что, мужики, закурим?» И, откинув полу роскошного пальто так, что заметен стал пушистый мех выстуженного подклада, достал из брючного кармана пачку папирос: «Налетайте, не стесняйтесь!»

Мы еще никогда в жизни не курили, но отказались, а тем более постеснялись и впрямь постеснялись. А потому потянулись к пачке. Это были не папиросы, а сигареты. Второй незнакомец циркнул зажигалкой, я наклонил голову, чтобы прикурить, стараясь делать все спокойно и бесстрастно, — сигарета между тем так и прыгала в моих растопыренных пальцах. Тонкий душистый дым шекотал мне горло и глаза, слезы покатались по щекам, но я боялся захлебнуться и изво всех сил тарачил зрачки и, может быть, поэтому на всю жизнь запомнил сигаретную пачку. На ней был изображен верблюд, одиноко стоящий среди ярко-желтой солнечной пустыни.

Второй случай моего соприкосновения с угаром недовольной роскошной жизни был неизмеримо

серьезнее. Я чуть не погиб тогда, впрочем, во многом по собственной вине. Стоял изумительный апрельский день, один из тех, когда наконец с материнского согласия можно совершенно законно богат без пальто, — именно такие дни на всю жизнь оставляют в памяти острее ощущение весны, наступление которой с каждым годом, увы, перживается все менее и менее остро. Мы играли во дворе в войну. Уже темнело слегка, и для наших игр это было самое вдохновенное время. Я сжимал в руках деревянную винтовку, которую дядя собственноручно смастерил когда-то еще для студийного спектакля, — то была замечательная винтовка, и я чувствовал несбыкованный подъем сил. Это ощущение кружило мне голову и побуждало к свершению героических поступков. И вот, уже не помню, из каких сюжетных соображений, я стремглав пробежал двор, изво всех сил промчался под гулкой аркой нашей длинной подворотни и пулей выскочил из нее на улицу. По соседству с нашим двором на перекрестке находился ресторан «Нева». Он существует и теперь, кажется, под другим названием, и напоминает мне обыкновенную приличную столовую. А в те годы это было, судя по всему, модное и, как приято газорить, зланное заведение, открытое чуть ли не круглосуточно, до пяти утра: в нем было много женщин, курящих длинные папиросы, и по ночам случались грандиозные драки, из-за которых всю нашу улицу будили милиционерские свистки. Всякий раз, проходя мимо, мы с замиранием сердца видели за зеркальными окнами пришественные столы, уставленные бутылками, вазами с фруктами и пельменицами, где бросались в глаза длинные папиросные мундштуки с кроваво-красными следами помады. Под низкими сводами гремел джаз, а у дверей ресторана всегда крутилась толпа, которая вела со швейцаром какие-то сложные и запутанные переговоры. Так вот я, словно камень из рогатки, вылетел на улицу и побежал по мостовой, пересекая проезжую часть наискосок, упиваясь свободой и полной бития, которые всегда возникают в мгновения такого восторженного, раскованного бега. И вдруг я увидел машину, увидел и с поразительной отчетливостью понял, что убежать мне от нее не удастся. И еще поразительнее, что в какую-то долю секунды, стараясь всетаки ускользнуть от стремительно надвигающегося сияющего радиатора, я успел разглядеть и автомобиль и пассажира. И не только разглядеть, но даже как бы почувствовать их настроение и понять цель их поездки. Это была шикарная открытая трофейная машина, принадлежавшая раньше какому-нибудь немецкому генералу, в ней ехали целой компанией летчики — всецелые, симпатичные, у одного из них белокурый чуб по-казачьи выбивался из-под фуражки; направлялись они наверхья в «Неву».

Меня спасла моя тогдашняя щедедушность. Будь я хоть немного постарше и потяжелее, меня закрутило бы и бросило под колеса и хрустнуло бы мои тонкие мальчишеские косточки — как это бывает, я видел на улице много лет спустя и до сих пор не могу вспомнить этого бед создателя. Тогда же ударом низкого и широкого, чрезвычайно элегантного по тогдашним автомобильным представлениям крыла, меня просто-напросто отшвырнуло в сторону.

Я кубарем пролетел по мостовой, обдирая об асфальт кожу, словно обжигаясь, и вот я уже лежу головой возле самого бортика тротуара, ко мне с обеих сторон бегут люди, и мне вовсе не больно, нет, мне стыдно перед летчиками — за свой дурацкий бег по мостовой, за нелепые свои кувырки на асфальте, за деревянные обломки моей бутзфортской винтовки, разлетевшиеся по всей улице.

Впрочем, все мои заключения не могут, конечно, срастить с дядиними.

И в госпитале, и в поезде по дороге в Москву, и в те самые минуты раннего утра, когда дядя Митя пешком шел от Белорусского домой, он еще надеялся. Он еще верил, что сможет вернуться в театр. И вот теперь понял, что не сможет. Какие уж там каскады, он не в состоянии оказался избежать даже на второй этаж к приятелю, мучительное колото началось в груди, в глазах зеленело от боли, он ловил открытым ртом воздух и пытался проглотить ком, который, как прокатывая осколок, застревал поперек горла. С голосом вроде было получше. Иногда дядя Митя без труда брал верх и вообще чувствовал себя в состоянии пропеть целый вечер, но и тут не было уверенности, что посреди арии он вдруг не поперхнется, не закашляется от удущья, до пота, до того, что наливаются все жилы и глаза чуть ли не выкатываются из орбит. Однако не в этом всем было дело. Есть такое цирковое выражение «потерять кураж», иными словами, уверенность в себе, внутреннюю готовность, некоторую даже отчаянную наглость, без которой вообще невозможно выходить на публику. Дядя Митя как раз потерял этот самый кураж», эту замечательную, немного бесшабашную смелость, это возбуждающее желание действовать, перевоплощаться, иметь успех. Вечерами он подходил иногда к театру. Он рассматривал глянец фотокарточки опереточных графов и принцев, свободных парижских художников и веселых вдов, из фойе доносился запах духов, к служебному входу в сад «Аквариуму» несли корзины цветов. Своих соучеников он тоже иногда встречал, они носили мягкие шляпы и яркие каше, завидев их, дядя переходил обычно на другую сторону улицы. Он не стеснялся своего поношенного пальто и московшеской кепки, он просто не хотел сочувствий и соболезнований и ни к чему не обязывающих приглашений: — ты не пропадай, брат, ты, если что нужно, не стесняйся.

Однажды такой встречи все же не удалось избежать. Дядя Митя зашел в аптеку за очками для матери и неожиданно носом к носу столкнулся с Костей Елкиным.

— Представляешь,— жалобным голосом, словно оправдываясь, затарорил Костя,— в третьей аптеке фталазол ищю. Сегодня спектакль ответственный, а у меня с желудком черт знает что происходит, съел какой-то дрянн в «Авроре». — Потом он словно очнулся: — Митка, откуда, брат? Ты же там был, на фронте! Победитель! Три державы покорил! А где же ордена? Медали? Иконостас где? Стесняешься, не носишь. Ну и зря, старик! Я вот не стесняюсь. — Костя распахнул макинтош и, смущенно радуясь, продемонстрировал небольшую медаль, приколотую на широком лацкане солидного костюма, даже слишком солидного для кистинного девичьего хорошего лица. — Представляешь — лауреат! Вот уж не думал, не гадал. И вдруг — пожалуйста, композитору, постановщику, Таньке Заславской и мне!

Дядя Митя слушал и очень живо воображал закусилую суету, предшествующую награждению,— слухи, надежды, сплетни, томление: будет — не будет, сообщения по секрету — «ктолько вам, слышите, и чтоб умерло», совершенно точные сведения о том, кому «оттуда» спектакль понравился.

— Ну, а ты-то как? — спросил Костя, распустив немного свои пухлые девичьи губы. — С театром завязал? Или что-то другое подыскал?

— Подыскал,— согласился дядя. — Совсем в другом роде. Но тоже ничего.

— Ну и слава богу,— заторорился Костя. — А то мы часто про тебя вспоминали. Думали даже, что

погиб. Ну, давай, не пропадай! И, если разбогатеешь, не забывайся! А я, ты знаешь, вчера ночью в «Авроре» на банкете какой-то дрянн съел...

Спустя полгода после этой встречи в аптека дядя ждал своей очереди у дверей приемной комиссии финансового института. Все было скучно здесь, особенно по сравнению с ГИТИСом — там по узким старинным коридорам ходили ослепительные юные красавицы, помимо портретов всех вождей на стенах висели эскизы к спектаклям и дружеские шаржи на великих артистов — здешних преподавателей, откуда-то издали, сверху, а может быть, наоборот, снизу, доносились арии, безумные вопли трагических монологов или просто легкомысленные и безмятежные фокстротные пробежки. Здесь же скука синих крашенных стен еще более усугублялась какими-то диаграммами, графиками, объяснениями, в которых не было ни одного человеческого слова в его нормальном значении, а были только базличные слова в канцелярски образом употреблении.

Профессор, председатель приемной комиссии, кого-то напоминал дяде. Не чертами лица, а скорее выражением — пичьим и австроженным. Он долго изучал дядины документы, аттестат, гитисовский диплом, фотокарточки.

Потом пристально и откровенно, без всякой дипломатии, смотрел на дядю и вновь возвращался к документам, перечитывая внимательно медицинские справки. Наконец он отложил в сторону дядины бумаги, снял очки и протер их какими-то неловким, застенчивым движением. Дядя Митя вдруг очень легко, как это бывает после экзаменов, когда все ответы приходят на память сами собой, вспомнил, кого напоминает профессор. Австрийского налогового инспектора, в доме которого они с Аркашей Карасевым стояли постом.

— Скажите мне откровенно,— сухо произнес профессор,— зачем вы идете в наш институт?

Дядя пожал плечами, а потом вдруг рассердился и ответил с удивительной для самого себя дерзостью:

— Ведь если я скажу, что мечтал об этом с юности, пронес эту мечту через все фронты, вы мне все равно не поверите?

— Разумеется, не поверю,— покачал головой профессор.

— Тогда я скажу,— твердо продолжал дядя,— что моя мать, вдова кучера, всю жизнь мечтала, чтобы у нас в семье хоть кто-нибудь получил высшее образование. Стал инженером, как она это называет. Ну, а на инженерные факультеты меня с моим ренгеном на порог не пустят. Теперь мои доводы убедительны?

— Вполне,— произнес профессор не совсем уверенно, словно не dokonчив какую-то тревожащую его мысль.

— Мне нужна спокойная, незаметная работа,— говорил дядя,— чтобы каждый день был размерен и одинаков, чтобы не было неожиданностей и некуда было спешить. Я хочу быть ordinарным человеком, которого невозможно запомнить. Я не могу торопиться, я задыхаюсь, у меня такое ощущение, будто железо застревает у меня в горле...

— Ничего себе, лестное мнение о банковском деле.— Профессор вновь надел очки и, казалась, вместе с ними обрел обычную свою уверенность.— Но почему все-таки к нам? Ведь вы же, насколько я понимаю, артист. К тому же артист оперетки. Согласитесь, от бухгалтерского учета это несколько в стороне...

Дядя опять вспомнил австрийского финансиста и навсегда улыбнулся:

— Не всем же ухаживать за красотками кабаре. Кто-то должен вести счета. Они, говорят, не обманывают.

Профессор вновь прозвонил дядю бесцеремонным пристальным взглядом — дядя поднял потом, что таким и должен быть взгляд финансиста, желающего удостовериться в надежности клиента, а заодно и утвердиться в правильности своего незначительного, но столь ответственного движения руки — прострой подписи.

Дядя Митя благодарил, встал и направился к двери. Он потянул ее за массивную неудобную ручку, и только теперь эта дверь показала ему не скучной, а дерзково-официальной. И когда она с мягким, но разрушительным стуком закрылась за ним, он подумал, что она закрылась за всем его прошлым — за спектаклями, за концертами, за репетициями, за ночными прогулками после премьеры, за песенками Вертинского и зошкенковской аристократки, за Лелей Глан, которая исчезла, растаяла, пропала навсегда, не оставив никакого следа.

**Т**ак уж случилось, что я редко гулял на свадьбах. Время идет, и теперь уже не приходится надеяться, что, мол, еще погуляю. К сожалению, пировать все чаще приходится на тризнах. Так вот все свадьбы, на которых я бывал, оставляли в моей душе ощущение неуютя. И какой-то незачинной бестактности, которую все дружно пытаются не заметить и столь же дружно заглядеть, а она тем не менее мозолит всем глаза. Я уж не знаю, что тому виной — быть может, моя собственная минительность или объективные обстоятельства, например, собрание малознакомых и вовсе даже не совместимых друг с другом людей, почти неперемное чувство у одной из родительских сторон, что все не так вышло, как мечталось, что случилось мезальянс, — как бы там ни было, я не сохранил о свадьбах счастливых воспоминаний. А у дяди Мити все было иначе. Так сложилось, что в течение долгого времени он все человеческую комедию имел возможность рассматривать сквозь туманное стекло садебных гуляний. И начался это эпопея на первом курсе финансового института. Он затерялся среди студентов, стал совершенно незаметен, никто не знал его прошлого — ни актерского, ни фронтового — и не хотел узнать. Он тихо, где-нибудь сбоку прислушивался на лекциях, во время семинаров открывал рот лишь тогда, когда его спрашивали, в самодеятельности не участвовал, на собраниях отмалчивался. Одно собрание было очень типичным для того времени. На повестке дня стоял вопрос о моральном облике студента. Студент подражался при этом совершенно конкретной, он встречался с первокурсницей Леной Голиковой, а потом переключил свое сердечное внимание на одну дипломанцицу, но вот тут-то и обнаружилось последствие их с Леной романа. Сама Лена на собрание не пришла, она и не хотела его вовсе, это ее активные подруги потребовали общественного неприемлемого обсуждения чужих интимных дел. Они смело выходили на трибуну, щеки у них пылали, но вовсе не оттого, что говорить им приходилось о вещах достаточно деликатных, а от гнева. Деликатность вообще была им чужда и, вероятно, представлялась салонным лицемерием, вроде шарканья ножкой и целования ручек. Они требовали для белобрысого губастого доджунга многих мер наказания, среди которых исклечение из вуза можно было посчитать вполне либеральной. Дяде Мите был противен этот следовательский пафос, это вздымаемые груди, эта уверенность, что нет на свете ничего такого, о чем нельзя

было бы громко и отчетливо рассказать общему собранию. Но потом он вспомнил Лену Голикову, всегда словно запуганную чем-то, аккуратно ведущую все конспекты, плачущую в кино при малейшем осложнении в судьбе героев, он вспомнил красивые, вечно мерзнущие ее руки — и тоже почувствовал неприязнь к обвиняемому. А тот страдал больше потому, что перетряхивают при всеобщем собрании его собственное дело, а вовсе не оттого, что считал такое перетряхивание недостойным делом. В конце концов он публично покаялся, уверял, что его неправильно поняли и что с Леной он давно собирался «построить крепкую советскую семью». Дядя стало еще противнее, и он ушел, не дожидаясь удовлетворенных резолюций и того умиротворения, которое, как тихий ангел, слетело на воинственных дев.

Через неделю на перененке к дяде подошла Лена Голикова и, смущаясь, пригласила его на свадьбу — у Колиных родителей на Малой Полянке. Дядя, пользуясь превосходством в возрасте, с неожиданной для самого себя практичностью осведомился, где они собираются жить.

— У них же, — ответила Лена, — у Колиных родителей. Я ведь сама в общекитин. Разве ты не знаешь? Дядя Митя не знал. Он вообще никогда не был с Леной в таких уж близких, дружеских отношениях и понял: она его приглашает, чтобы с ее стороны на свадьбе присутствовали не только неприимные подруги.

В назначенный день дядя Митя с утра направился в цветочный магазин на Кропоткинской. Его помнил там еще с гитисковских времен, когда он ухаживал за Лелей Глан и даже зимой из случайных своих заработков покупал ей хризантемы и розы. Теперь денег хватало лишь на очень небольшой букет — из четырех или пяти астр, однако на улице посреди сыкатной, промозглой зимы они выглядели трогательно и даже изысканно.

В большой коммунальной квартире на Малой Полянке пахло мытыми полами и вишнегретом. Дядю Митю встретила неприветливая женщина с заплаканным лицом — он сразу же догадался, что перед ним мать жениха. Она и потом много раз принималась плакать — и дяде понятно было, что не слезами радости, а оттого у всех собравшихся было какое-то пришибленное состояние духа. Жених и невеста стояли возле комода в большой комнате, куда от соседей уже наволокли разнокалиберных стульев. На Коле был бостонский двубортный костюм, немного широковатый и пахнувший нафталином, а Лена была, как и полагается, в белом платье, неуклюжем и неважно сшитом. К тому же вдруг совершенно явным сделалось то, о чем в другие дни со стороны можно было лишь догадываться — беременность Лены. Четвертый, если не пятый месяц. Дядя Митя, не осознавая этого, подошел к молодым четкой и прямой сценической походкой, держа спину и слегка запрокинув голову. Он протянул Лене цветы, а потом легко склонился и поцеловал ее красную шершавую руку. Лена вся вспыхнула и чуть не отдернула руку, как от внезапного ожога. Однокурсники зашумели, то ли насмешливо, то ли одобрительно, а женихова родня, державшаяся в стороне, зашумела. Это были очень похожие друг на друга люди, совершенно разные, но похожие — скупостью жестов, настороженно боязливо взглядом или улыбочкой уронить свое достоинство, и даже губы у них у всех были одинаково поджаты.

Накрыли стол небогато, но и не бедно, хотя мать жениха все время охала и просила извинить ее за скудость угощения.

— Где ж взять, мы ведь с отцом единственные ребятаки, разошлось не готовишь.

Родственники вздохами и сочувственными причитаниями поддерживали ее, а Лена всякий раз мучительно, почти до слез краснела и готова была умереть. Выпили по первой, по второй, постыдными, немелкими голосами кричали «горько!» Молодым приходилось вставать и неуклюже целоваться. Дядя Мите вдруг стало казаться, что жениховы родственники нарочно нажимают на эту свадебную традицию, чтобы посмеяться над Леной. Уже порядочно выпили, и, хотя было обещано еще горячее — с теми же оговорками и ужимками, — гостей потянуло размяться.

— Уж извините, — голосом оскорбленной добродетели запричитала хозяйка, — мы люди старомодные, музыки у нас нету. Да и средств не было баловства-то разводить, работали вот, спину гнули всю жизнь, сына растили, думали, в люди выйдет... — она опять чуть не заплакала, но ее успокоили. — Пластики-то да граммофон — так, что ли, эта ваша музыка называется, — пришла в себя мать жениха, — невестушка обещала принести. Ей видней, что теперь танцуют, а что нет. Я-то ведь, прости господи, смолоду не разбиралась...

Трудно было представить тихую, внешне нагруженную учебниками Лену большой специалисткой по модным танцам, но, по-видимому, на нее и впрямь рассчитывали. Потому что она заматалась, засуетилась, то в холод, то в жар ее бросало, она, сбиваясь, стала объяснять, что подруга, у которой замечательный немецкий патефон, даже не патефон, а радиолу — ой отец привез из Германии — и пластинки, какие только угодно, и джаз, и романсы, и Лещенко, так вот подруга эта подвела, не пришла, хотя ее очень звали и даже вчера вечером звонили, спрашивали, не нужна ли помощь все это донести, а она сказала, что не нужна, что она со своим молодым человеком придет: «Ведь правда же, Коль, ведь правда же?»

Дядя Митя поднялся незаметно в этой суматохе и тихо выскользнул в коридор. Он с трудом нашол свое пальто в куче других, сваленных прямо на сундук, и вышел из квартиры.

Как в детстве в школе, он почти кубарем скатился вниз по лестнице и, странное дело, не ощутил при этом ни боли, ни одышки. Он бежал по переулкам по направлению к Садовому кольцу и непростанно этому удивлялся. На Калужской площади дядя Митя на ходу вскопил в прицепной вагон «букашки». Он доехал до Зубовской и там снова почти бегом добрался до дома.

— Что с тобой? — перепугалась мать, увидев его бледное лицо и слыпящие от пота волосы.

Но дядя ее успокоил, влез на качающийся стул и с напряжением снял со шкафа аккордеон, без движения пролежавший почти год. Возле Померанцева переулка дядя нанял такси — черную «эмку» с шапечками по всему борту. Когда приехали на Малую Полянку, он в растерянности и нарастающем страхе обшарил все карманы и счастливо сам себе улыбнулся, когда набрался даже чаевые. Правда, мелочью и почти медью, но бог с ним. С останками и передышками по крутой здеиной лестнице дядя добрался до квартиры, где шла свадьба.

Дверь была не заперта, по-видимому, гости уже выбегали на улицу покурить и проветриться, выясните отношения... Прихода дяди никто не заметил, как, вероятно, никто не заметил и его ухода. Он был рад этому, сбросил в общую кучу пальто и шапку

и присел на сундук отдышаться. Из-за высоких двусторчатых дверей большой комнаты доносились гудение голосов — ни смеха, ни музыки не было слышно — только голоса, ровные, одностонные. Праздник, несомненно, зашел в тулик.

Дядя Митя вытятил из футляра свой прославленный «хоннер» и, закинув за плечо ремень, взял инструмент, что называется, наизготовку. Аккордеон не был сейчас ему тяжел, как дитя не бывает в тягость материнским рукам. Напротив, ощутившая, полная потаенных звуков весомость аккордеона, бодрела и внушала уверенность. Так внушает уверенность лютая тяжесть рукоятки пистолета — оружие не мсжет быть легковесным, это дядя знал по опыту. Он автоматически, вовсе не задумываясь над этим жестом, достал из кармана брюк алюминиевую редкую расческу и провел ею по волосам. Все — занавес раскрылся, и дядя Митя сделал шаг из-за кулис. Он толкнул ногою дверь и одновременно, растянув мехи, пробжал пальцами по басам. Так было надо. Сначала только аккорды, только стаккато, только ритм, который должен выбить людей из душевной апатии, из безмятежной и сытой внутренней дремоты. А теперь, когда вытянулись безвольно расслабленные спины, когда в глазах, затуманенных хмельем и обильной закуской, появились живые блики, когда подошвы, помимо воли хозяев, сами принялись отстукивать такт, теперь необходимо срочно выдать проигрыш с затяжкой, с лирическим отступлением, от которого заходит сердце, и сладкая тоска теснит грудь; и хочется сделать что-нибудь необычное, удалое: выпить залпом, рвануть на груди рубаху, забить о всех мелочных расчетах своей будничной жизни — пропади все пропадом!

— До-сви-данья, — пел дядя, — путь мы проделали все! До-сви-данья, делать нам нечего здесь!

Это была «Розамунда», трофейная «Розамунда», которую немцеве солдаты любили пилить на своих дурацких губных гармошках и которую наши ребята взяли с бою, вырвали у растерявшегося противника, словно пистолет из кобуры, мгновенно переложили на свой лад, добавив в эти немного механические, как в музыкальном ящике, немецкие ритмы свою особую московскую, питерскую, одесскую живую душу.

— В дорогу, в дорогу, осталось нам немного, мы едем к нашим женам, любимым, знакомым...

Дядя Митя слышал, что голос его звучит легко и чисто. У него ничего не болело, и даже мысль о боли была ему теперь смешна, он был абсолютно здоров, как до войны, когда стоял на сцене клуба «Качучук» и сознавал, что от одного его слова или движения зал надорвется от хохота.

— Мы будем галстук с тобой носить. Без увольнительной в кино ходить. Мы будем петь, и танцевать, и никому не козырять!

Ах, как пел эту песню тот томительный, медленный и хмельной поезд, которым он возвращался домой! Как беззаботны они тогда были и как верили навным и безусловным обещаниям песни! Обещаниям счастья.

Опять дядя поймал себя на чувстве, которое было, очевидно, явным признаком артистизма его натуры. Всегда во время успеха, в тот момент, когда он овладевал аудиторией, ее духом, и настроением, и поведением, люди, внимающие ему, начинали ему необыкновенно нравиться. Это и впрямь говорило о щедром и нерасчетливом добродушии, осознавать которое в себе чрезвычайно приятно. Тем более, что рождается оно в результате творчества. Даже мать жениха, с ее ноющими, кландцинскими интонациями, не была ему теперь так уж противна. Даже жених Коля неожиданно оказался вполне сим-

патичным парнем с круглым губастым лицом, молотящим из стороны в сторону в такт музыке. Лена сделала почти красавицей, и беременность вдруг пошла ей, придала ее угловатому девчоночьему телу прелестную женскую плавность. А самое главное, с лица ее исчезло выражение боязливой неуверенности и зависимости; дядя знал уже, что лучше от них средства — это счастье, удача, хотя бы мгновения радости.

Стало весело-бестолково, суматошно, как и должно быть на свадьбе. Незнакомые люди перезнакомились, родственники признали друзей, а друзья родственников, партии жениха и невесты постепенно растеряли взаимную подозрительность. Свадьба шумела, кружилась, катилась, как по рельсам, не нуждаясь больше ни в чьих дополнительных усилиях. Дядя Митя понимал, что его миссия окончена, и радовался этому, отходя на диване от тяжести аккордеона. К нему подсел один из жениховых родственников, мордатый здоровенный мущик с портсигаром в руках. Портсигар казался маленьким сейфом, его литая крышка была украшена всевозможными цацками в виде подков, бутылок шампанского и женских головок. На самом видном месте красивыми буквами было выгравировано: «Кури свои, сволочь!» Тем не менее родственник гостеприимно раскрыв портсигар, словно ворота крепости, и протянул его дяде.

— Ты, это... — спросил он дядю, закусив папиросу латыми железными зубами, — ты, говорят, вместе с Колькой учишься?

— Учусь, — подтвердил дядя.

— Зачем? — родственник всплеснул большими, как лопаты, руками. — Колька-то дурак. Ему и делов-то, что чужие деньги считать. А ты? У тебя ж в твоей бандуре — капитал! А ты в институте последние штаны протираешь. Иди ко мне на завод, оформлю тебя токарем седьмого разряда. Не бойся, в цех у меня шар не шагнешь. Будешь на смотрах выступать, на слетах разных, ну и начальство, когда надо, ублажить... Начальство этого не забудет. Ну, как, соглашен? Давай, думай!

— Подаваю, — заверил дядя Митя доброжелателя и понял, что пришла самая пора незаметно и потихоньку смыться.

Домой он шел пешком, потому что денег у него вовсе не осталось. Аккордеон вновь резал ему плечо и давил на грудь, он вновь задыхался, и кашлял, и чувствовал себя совершенно опустошенным. Впрочем, это было типично актерское чувство, неизбежное после успеха, естественно из него вытекающее. Мысли были преласковыми, трезвыми и грустными. Дядя Митя думал о своем несостоявшемся таланте, про который он хотел забыть да вот не вышло, про учебу в институте, которая хоть и удавалась ему, но была скучна, и еще про свою отчаянную удручающую бедность.

**И** все же в тот вечер в дядиной жизни произошел поворот. В этом расхожем литературном термине есть, разумеется, большая неточность: повороты судьбы редко совершаются с автоматической безусловностью. Просто после свадьбы Лены раскрылась тайна дядино дарования, и его, стыдя и увещывая, затащили в институтский клуб. Вначале он являлся там как бы обычным участником художественной самодеятельности, но вскоре директор Леонид Михайлович, в недавнем прошлом администратор крупнейших московских театров, странною волей обстоятельств оказавшийся в этом клубе, позвал дядю в свой крохотный, метров пяти, и все же настоящий театральный кабинет:

— Дмитрий Петрович, будем говорить как профессионал с профессионалом. Я даю вам полставки. Далеко охотно и полторы, но профком не утвердит, поскольку вы на дневном отделении. Впрочем, я еще поговорю об этом в ЦК... — он сделал паузу и добавил: — ...нашего профсоюзом. Не спорьте, я знаю, что вас интересует, — вы будете аккомпанировать. Танцевальному коллективу. Вы понимаете, это официально, по штатному расписанию. А вообще как профессионал профессионалу — я очень рассчитываю на ваш вкус...

И дядя Митя захотел оправдать доверие Леонида Михайловича, у которого в крошечном кабинетике висел портрет красивого и немножко фатоватого Станиславского с дружеским и сердечным посвящением — самому Леониду Михайловичу, про которого говорили, что он был женат на красавице, народной артистке республики Клавдии Коткевич, а она, когда обстоятельства Леонида Михайловича переменились, бросила его ради какого-то знаменитого защитника. То есть адвоката.

Леонид Михайлович всегда знал, на каком профсоюзном вечере, клубном балу или просто концерте в агиткульттребуется творческая сила, и иногда приглашал с собой дядю. На языке эстрадных артистов и музыкантов такие выступления назывались «халтурой», однако по отношению к дяде этот термин звучит вовсе не справедливо. Какая же это халтура, если дядя выкладывался до изнеможения, до того, что руками пошевельить не мог и домой возвращался в полубоморочном состоянии.

Нынешние молодые люди, которые приезжают к особнякам дворцов бракосочетания на «Ижугулях» и «Москвичках», или же на специальных «Волгах» со скрещенными обручальными кольцами на борту, или, на худой конец, в такси, к радиатору которого голубыми или розовыми лентами привязана дурацкая кукла, молодые люди, которые за месяц до свадьбы покупают в салоне для новобрачных итальянские кофточки и французские сапоги, обтягивающие ноги невесты, словно кожаные эластичные чулки, молодые люди, собирающие гостей в стеклянных ресторанах и всяких там молодежных кафе, где на специальном танцевальном кругу сияет лаком подсвеченный пол, — эти молодые люди вряд ли могут вообразить себе свадьбы тех лет. Особенно на московских окраинах, через которые пролегли теперь проспекты и бульвары, где выстроены экспериментальные кварталы и микрорайоны, где стоят небоскребы, отражающие в своих стеклянных необозримых стенах и сводах и заката. А в те дни тут стояли деревянные мешанские домики, зимой чуть ли не по самую крышу заваленные чистым негородским снегом, и еще стояли двухэтажные дома, похожие на дачи с мезонинами и мансардами, с резными окнами и куполами, а чаще всего тянулись здесь бараки — иногда оштукатуренные, а чаще нет, — нехитрые строения, поставленные в жесткие годы первой пятилетки в качестве временных жилищ, да так незаметно перешедшие в постоянные, набитые жильцами до отказа, как старушкины коробки луговцами, пропахшие кошками, детскими горшками, кухонным чадом и другими ароматами густого человеческого быта. Праздники в бараках были многолюдные, потому что при самом большом желании здесь невозможно было уединиться и скрыть от людского глаза какую-либо подробность своей частной жизни. Здесь все было на виду — и рождение, и смерть, и романы, начинавшиеся где-нибудь возле водоразборной колонки, и скандалы, которые клубком выкатывались во двор до самой лестницы на улицу и продолжались во дворе до самого прихода милиции, не очень-то привыкшей спешить в таких случаях, и первое любовное том-

лению на танцевальном пятачке, где днем между двух телеграфных столбов натягивают сетки и играют в волейбол, и, уж разумеется, свадьбы. Свадьбы бывали в бараках колоссальным событием, вызывающим долги и сложные пересуды, любимым зрелищем, с которым в глазах местного народа не могли сравниться никакие спектакли в клубе и телевизоре в красных уголках.

Вот на таких свадьбах и играл нередко дядя Митя. Он сидел за составленными в один ряд обеденными, кухонными, конторскими, бог знает, какими еще столами, покрытыми где скатертью, где клеенкой, где просто бумагой. Горы ватерной картошки в чугунах и огромных кастрюлях громоздились на этих буквах «Т» и «П» и прочими буквами русского алфавита поставленных столов, вечное блюдо предместных праздников — крутой винегрет в тазах и мисках, соленые огурцы, про которые совершенно точно известно, что они классическая закуска, селедка, разделанная без особых ухищрений, и колбаса, чаще всего «котдельная», нарезанная крупными, тяжелыми кусками. Дяде Мите как почетному гостю подносили «стопаря» — граненый стограммовый лафитник водки, которая была здесь деликатесом, поскольку основное вино было местное, домашнее — самогон хлебный либо бурьяковый, за которым посылали гонцов в деревню к родственникам, или же сахарный, собственноручного изготовления. Неплохо шла и брага, рецепты которой в различных версиях и списках существовали на каждой улице — ее производство требовало массы времени и было связано с некоторым риском для жизни, поскольку время от времени по городу шли слухи, что, мол, на такой-то улице в доме номер такой-то на пятом этаже взорвалась забродившая брага. Число жертв варьировалось в зависимости от воображения и темперамента рассказчика.

Работы на этих свадьбах дяде Мите хватало. Он играл все: и марш Менделеева — по собственной инициативе и по просьбе свадебной общности, — и танцы, и песни, которых требует, казенно выражаясь, сам протокол таких мероприятий, как бракосочетание. Вкусы у гостей встречались самые разные, поскольку гуляли на свадьбах люди самых разных поколений и, бывало, молодежь жаждала «Челиту», а старшее поколение в это же время «Сухою бы я корочкой питалась». Не это было сложно. Сложности начинались в тот момент, когда вдруг совершенно неожиданно, без видимых причин, а быть может, напротив, в результате каких-то давних и глубоких противоречий, праздничная идиллия разом нарушалась. Кто-то еще блаженно распевал в углу «Когда б имел златые горы...», кто-то еще просто-душно вскрикивал «горько!», а скандал уже назревал, уже постепенно воцарялась та пугающая предгрозовая тишина, которая не только в природе, но и в человеческих отношениях каждую секунду может быть нарушена грохотом, криками, звоном разбиваемой посуды. И вот тут уже дяде Мите приходилось туго, тут он вынужден был в одно мгновение мобилизовать все свои таланты — и актерские, и музыкальные, — и просто человеческие — для того, чтобы ими всеми разом, как плотным одеялом, заглушить летучий огонь разгоравшегося скандала. Иногда дяде это удавалось. А иногда не удавалось, и он бывал тогда очень расстроен — и не только оттого, что жалел невесту, которой испортили праздник. Он считал себя виноватым, он казнил себя за черствость и бездарность, потому что был уверен: талант всегда побеждает злобу и ненависть. Просто обязан побеждать. А если не может, то, значит, разговоры о таланте сильно преувеличены.

Дядю любили на этих свадьбах. Он был безотказный музыкант, а это само по себе много сто-

ит. Он был безотказным музыкантом, но не был тапером, и люди это сразу же чувствовали. Он играл так не потому, что оправдывал свою отнюдь и причитающуюся ему рюмку водки, он творил, сидя на табуретке или венском стуле в низкой комнате, полной пляных голосов и табачного дыма. Он творил, а творчество всегда бескорыстно, даже если за него платят и получают деньги. Он так и привык считать это участие в чужих свадьбах своими солидными выступлениями. И даже говорил, собираясь куда-нибудь в Черемушки или Новоалексеевский бывший студгородок: «У меня сегодня концерт». И готовился к этим вечерам и впрямь, как к концертам.

Вот за что платили ему уважением и любовью. И слава его росла, смешная и наивная, но прочная, не требующая ни афиш, ни объявлений по радио, не зависящая от мнений критиков и главарепертокма, передаваемая из рук в руки на дворовых скамейках, за партий в домино — в тот момент, когда решается роковой вопрос: «дуплиться» или не «дуплиться», — на трамвайной остановке, во время обеденного перерыва, когда до гудка остается еще пять минут, самых приятных, предзаключенных на то, чтобы выкурить по одной и поговорить по душам. Какой артист равнодушен к славе? Дядя Митя не был в этом смысле исключением. Но только он смеялся всегда над своею известностью и говорил, что ему пора присвоить звание «дворовый артист республики». Он рассказывал и про то, как получил однажды гонорар литровой банкой патики, и про то, как на одной свадьбе так загуляли, что потеряли невесту.

— Гости орут «горько!», а жениху и поцеловаться не с кем. В загсе, спрашивают, была? Вроде была. Когда подношениями молодых одарили, была? То же вроде тут где-то вертелась. А целоваться не с кем! Как говорится, конфуз! Теща говорит: не извольте беспокоиться, она, должно быть, куда ни то вышла, чтобы поправить свой женский туалет. А гости кричат: «Не для того она замуж вышла, чтобы туалеты поправлять!» А некоторые особенно бдительные из жениховой родни говорят: «В таком случае просим подарки назад — отрез полуштерстяной, оделось с пододеяльником и ножки шестнадцать штук!» Искали, искали невесту — не нашли. Безусловно, неудобно. Но с другой стороны, студень на столе — за свинными ножками на Даниловский рынок ездили, там свояк ветеринаром служит, перач разлит — не пропадать же добро. Ну и гуляли. Два дня. А невеста потом нашлась. Но не совсем. В том смысле, что она за другого вышла. Был у нее такой Альберт. Она его из армии ждала. А тут два месяца писем нет, она и решила, что он ее позабил. И дала согласие одному резервному претенденту первой очереди. Вдруг Альберт возвратился, да еще с благодарностями от командования. Невеста, и правда, на лицу высочила туалет поправить, а Альберт тут как тут. Со всеми значками. Тут уж не чулок пришлось поправлять, а, как говорится, ошибку молодости. Через два месяца у него тоже свадьба была. Но я на ней не играл, — заканчивал дядя Митя, как бы подчеркивая, что течение жизни все равно не поддается полному освоению и ни в одном деле никогда невозможно познать все до конца. И вдруг улыбка появлялась на абсолютно серьезном до этой минуты дядином лице: — На той неудачной свадьбе старуха одна была замечательная. Тетя Паша, то ли крестная чья-то, то ли кума, в общем, невестины родственники думали, что она с жениховой стороны, а жениховы — что с невестинкой. Она песне очень хорошей научила. Старой песне. Сейчас ее не поют. И я про нее слышал много, и читал тоже, а выучил только теперь.

Дядя взял аккордеон и склонил голову к мехам, словно бы мелодия, которой предстояло родиться, уже слышалась там, в золотых и потаенных потемках.

Но вот она появилась на свет и зазвучала высоко, затрепетала, словно белая женская косынка на ветру, задрожала, зазвенела, как тоненький детский плач.

«У-мер, бедняга, в больнице военной, долго, родимый, страдал...»

Я был еще мал тогда и, что такое смерть, понимал весьма умозрительно. Конечно, я знал, что все погибшие на фронте уже никогда не вернуться. Но это было спокойное, отвлеченное знание, как будто речь шла, например, о смене времен года. А в тот момент безнадежная и одновременно блаженная тоска с необыкновенной силой охватила все мое существо.

Я еще не осознал, но уже ощутил великую силу печали, которая томит душу и в то же самое время открывает ей способность смотреть на мир особым внутренним взором. Я пишу об этом нынешними моими словами, которых я и не знал тогда вовсе, но я абсолютно уверен, что все началось в те самые мгновения, когда дядя Митя тихо и высоко пел о смерти одинокого русского солдата. Тогда поселилась во мне та непреходящая грусть, та постоянная боль, то вечное ощущение неблагополучия и иглы под ложечкой, без которых я бы никогда не разглядел и доли красоты, которой одарила меня не слишком щедрая и все-таки щедрая жизнь.

— Скажите, Митя,— спросил как-то дядю Леонид Михайлович,— вы верите в гомеопатию?

— Даже и не знаю, что вам ответить.— Этомужо сказал дядя,— я никогда не думал об этом. Вы с таким же успехом могли спросить меня, как я отношусь к ипподрому или к облигациям золотого займа.

— Я лично не верю в эти методы,— Леонид Михайлович был по-прежнему серьезен.— Но допускаю, что это субъективная особенность моего организма. На меня действуют только лошадиные дозы — кстаи об ипподромах. Но к чему я веду?.. Есть у меня среди московских гомеопатов знакомый... Фигура, можете мне поверить. Вся Москва у него лечится, и Лемешев, и Уланова, и... Леонид Михайлович многозначительно и таинственно указал поднятым пальцем в потолок.— Между прочим, за это ему оставили пол-обсбнка, весь второй этаж. Коллекция живописи, хрустала, вы себе представить не можете. Вообще личность, монстр; во время войны отвалил полмиллиона на самолет — назывите, говорит, как хотите, мне моей славы хватает... Что это я никак к сути не перейду! Вот в чем дело, Митя, мой приятель сына женил. Между нами говоря, шалопай и подонок, хотя хороший парень. Невеста, говорят, красавица, но сирота. Свадьба будет — можете себе представить какая: один день в «Гранд-отеле» для молодежи, другой день у самого для родных и вообще для старшего поколения.

— Я как-то не пойму, зачем мне это знать,— по-двигался дядя,— я ведь, как вам известно, специализируюсь больше по баракам...

— Искусство,— высокопарно и торжественно про-изнес Леонид Михайлович,— пора вам это знать, молодой человек, пренебрегает материальными усл-ностями. Оно одинаково и в хижинах и в двор-цах!

— Ну, разве что... — не очень уверенно согласил-ся дядя.

— Музыки,— продолжал Леонид Михайлович,— в этом доме, конечно, хватает. Всякие «телефунки», «шукерты»-шукерты, я знаю. Вся джазовая клас-сика, цыгане, Вертинский, Козин... Но у старика есть бзик, я же вам говорил, это монстр, Егор Булыч-ев и другие. Он сам из соросовских мастеров. И обо-жает гармошку. То есть, простите, гармонь. Он меня просит: «Леонид Михайлович, достаньте мне гармониста, только не этих ваших эстрадных лири-стов, которые играют на баянах Берлиоза, а насто-ящего гармониста, чтобы душа взлетела». А? Это ж прямо к вам отсылает.

— Вообще-то у меня сессия,— с сомнением на-чал дядя Митя.— Бухучет, истмат, политэконо-мия...

— Ну, если ты такой богатый студент,— обиделся Леонид Михайлович,— белоподкладочник, золотая молодежь, сын генерала...

— ...Извозчика,— поправил дядя,— причем в по-следнее время ломозаго. Давайте адрес, мой беско-рыстный импресарио.

...В прихожей гомеопатской квартиры висела боль-шая хрустальная люстра. А на стенах красовались ветвистые лакированные олени рога и огромное зеркало в резной декадентской раме. Дядя Митя никогда не наблюдал такого богатства не в музей-ной, а, так сказать, в жилой вполне обстановке. И все же, пока он приставал на дубовую, забитую шубами гостей вешалку свое пальтишко и снимал галоси, ему вдруг совершенно ясно стало, что рос-кошь эта не природная, не естественная, что ощу-тить в ней перебор, хоть и незначительный, но не-сомненный. Почувствовал от этой мысли немного злорадное облегчение, дядя направился за дора-ботницей в глубь квартиры. Через большую ком-нату, которую уже вполне можно было считать залом, тянулся стол, сияющий скатертью, хрусталем и се-ребром. Он доходил до застекленных распахнутых дверей, ведущих в соседнюю комнату, и терялся в ее перспективе. Хозяин встретил дядю в кабинете. Он был в домашнем бархатном пиджаке с поме-щичьими брандебуррами, под которым виднелись крахмальная рубашка и шелковый галстук с затей-ливой булавкой. Большая лакированная лысина, как-ие бывают у процветающих, довольных жизнью людей, шла его хитрому мужицкому лицу, зато зо-лотые тонкие очки выглядели на нем ни к селу ни к городу. И опять дядя почувствовал маленькое снисходительное удовлетворение.

— Играете? — спросил гомеопат, протягивая дяде большую, белую и мягкую, как у женщины, руку.

— Играю,— скромно подтвердил дядя.

— Студент? — прозвучал столь же лаконичный воп-рос.

— Студент.  
— Консерватории или Гнесинского?  
— Финансового,— признался дядя.

— Оно и вернее,— сказал хозяин и подмигнул дя-де из-под профессорских очков крестьянским хит-рым глазом.

Потом он достал из книжного шкафа бутылку коньяка, судя по загогулинам на этикетке, очень до-рогого, и две пузатые, словно подсвеченные изнутри рюмки. Пока он открывал бутылку, чуть брезгливо протирал салфеткой рюмки и смотрел их на свет, дядя Митя не мог отвести глаз от его манипулирую-щих белых рук — рук фармацевта, чародея, алхи-мика.

— Что смотришь? — угадав дядины мысли, спро-сил гомеопат.— Думаешь, раз гомеопат, то по ка-пелькам цедить буду? Нет, брат-студент, по полной



российской норме. А то я знаю вас, гармонистов, вы ведь без пюльтуры и мехи свои не растянете.

Хозяин вновь посмотрел на дядю заговорщицким хитрованским взором «своего мундика», и дядя опять не без удовольствия ответил ему корректным, вежливым взглядом.

Шум, раздавшийся в прихожей, смех, преувеличенные звуки поцелуев — все свидетельствовало о том, что обаялись, наконец, молодцы. Некоторые из гостей, вероятно, близкие родственники, ринулись в переднюю. Поцелуй и смех вспыхнули с новой силой. Но вот на пороге появился высокий молодой мужчина в небрежно растегнутом смокинге, и дядя отметил про себя с некоторым уже профессиональным опытом, что это, несомненно, жених. Он был слегка, вполне обаятельно пьян и неопределенными, пластичными жестами длинных рук иронически объяснял, что невеста прибыла, что она, естественно, задерживается где-то там, поправляет прическу, пудрится, в сотый раз глядится в зеркало или подтягивает чулок на прекрасной длинной ноге. Друзья окружили счастлива. Он целовался с мужчинами, изычно переламывался надвое, припадая к дамским ручкам, он хохотал, обаявая замечательные губы, он разводил покорно руками, вот, мол, и меня не миновала чаша сия, он легко напряжился и, обхватив за плечи двух ближайших своих старших приятелей, нащипывал им нечто такое, отчего они принимались хохотать, лучисто сияя золотистыми коронками. А жених утомленно инисходительно улыбался — у него было лицо развитого и хитрого мальчика, как-то не подходящее к его сильной мужской фигуре.

В это время в комнату вошла Леля Глан. Дядя Митя узнал ее сразу же в ту секунду, как увидел, словно и не прошло семи лет, словно 22 июня 1941 года была вчера, словно пять минут назад она уже была здесь. Дядя почувствовал, что у него горят щеки и, в соответствии с детской поговоркой, слабеют колени. Он глубоко вздохнул, стараясь овладеть собою перед тем, как подойти к Леле легкой и безотнотительной походкой свободного человека, артиста, знающего себе цену, солдата, научившегося не придавать слишком большого значения собственной жизни. Он даже сделал несколько шагов и только тут, задним умом, словно спросонья, будто бы соль анекдота, рассказанного некоторое время назад, понял, что Леля и есть невеста. Он остановился, застигнутый врасплох этой очевидной мыслью, и медленно, словно комический персонаж в немом фильме, не поворачиваясь, пошел назад. Он даже испугался, не узнала ли его Леля, хотя как она могла его узнать, окруженная гостями, естественно и очаровательно светская, вся в мать, улыбающаяся, как всегда, более всего глазами, источающими свет и сияние.

Подходить к ней было уже вовсе неудобно: тоже мне гость в лицевом костюме, гармониств, приглашенный на свадьбу, чтобы потешить самодура тестя с его кератами на белых пальцах и сентиментальными воспоминаниями о сормовских гулянках! Дядя, стесняясь, налил себе рюмку водки и залпом выпил ее, не закусывая.

Ах, как хорошо была Леля! Она всегда была хороша — и девчонкой в солнечном арбатском переулке, одетая в голубую футболку с синей вставкой и синей шуровкой на груди, в тугих теннисных тапочках на легких загорелых ногах. Она шла вдоль усадебной ограды под старыми липами с таким уверенным в себе и даже дерзким видом, который появляется у девушек, когда они начинают осознавать свою прелесть и свою неожиданную власть над окружающими. А на свой последний зимний бал, куда дядя Митя приходил уже гитсовским студентом, Ле-

ля под видом Татьяны Лариной надела материнское длинное платье и впервые подобрала наверх отросшие после комсомольской короткой стрижки волосы. Эффект произошел поразительный, ВВС — Василий Васильевич Суздальев, математик, окончивший два факультета Петербургского университета, еще до революции объезжавший Францию и Италию, называвший учеников по гимназической привычке «народами», увидев Лелю, всплеснул руками: «Нет, вы подумайте, Психей, иначе не скажешь, Психей!» — имелась в виду актриса Легова-Судейкина, прогремевшая в юности Василия Васильевича в пьесе «Психа».

Вернувшись домой из госпитала, дядя Митя в тот же день пошел к Леле. В ее комнате жила большая семья какого-то снабженца, которая всякое упоминание о прежних здешних хозяевах воспринимала как подозрительный намек.

— Они закуривались, — с места завился снабженец — и потеряли право на жилплощадь! А я эту комнату получил по законному ордеру. Да! По закону! — Он так напирал на эту законность, что дядя сразу же понято стало: снабженец вселился сюда нахрапом. Соседи подтвердили эту догадку. Они рассказали, что Лелины родители не хотели закуриваться, ну просто ни за что, Лелина мать вместе с Лелей дежурила на крыше — «представляет, такая была барыня — и хоть бы что!» Но у отца от бомбежек усилились гипертонические приступы, несколько раз он падал на улице, боялся инсульта, и в конце концов подался на уговоры. Их закуривали в Сталинград, это считалось очень удачным — глубокий тыл и Волга, купанье, астраханские арбузы... С тех пор о них ни слуха, ни духа.

Дядя Митя не мог успокоиться. Он разыскивал бывших Лелиных подруг, ездил к черту на кулички, стучался в чужие двери, входил в чужие кухни — никто ничего не знал о Леле. Последние ее письма действительно были из Сталинграда. И тогда он потерял надежду. Только проходя мимо Лелиного дома, он всякий раз вспоминал толговую занавеску, выдаваемую из высокого окна юнским сквозняком, и с тоскливой ненавистью смотрел на колбасу, свисающую в авоське из форточки нынешнего окна снабженца.

А Леля вот она, совсем рядом. Всего лишь на другом конце стола, такая уверенная в себе, умеющая, как прежде, одним лишь взглядом поселить в душе ощущение нечаянной радости — как будто не было ни бомбежек, ни медленных, задыхающихся от зноя поездок, ни беженцев, ночами стоящих в долгах, подавленных очередях. Она была прелесть. И по-прежнему и по-новому. Что бы сказал теперь Василий Васильевич, с его петербургским эстетизмом и склонностью к ослепительным параллелям?..

Дядя Митя вновь налил себе рюмку водки, но, собираясь ее опрокинуть, натолкнулся на возмущенный взгляд соседей. Оказалось, что пока он размышлял о жизни, за столом уже начался некий свадебный церемониал. Жених поднялся во весь свой великопленный рост, в правой руке он держал бокал шампанского, в котором, как в родниковой воде, с неиссякаемой энергией подымались на поверхность лопающиеся пузырьки, а левой свободной рукой совершал плавные движения, с помощью которых каждая фраза как бы отсылалась слушателям:

— Мне здесь товарищи говорят, что я нарушаю традицию. Не полагаются, чтобы жених, жених — это я... для тех, что еще не разобрались, — так вот, чтобы жених был тамадой у себя на свадьбе. Я думаю, что это предрассудки, товарищи. Я думаю, что эти традиции пора пересмотреть. Это на собственных похоронах действительно трудно выступать. Потому что

нескромно. А на свадьбе скромность ни к чему. Когда много скромности, тогда и жениться не надо.

Гости с пониманием, дружно захохотали. Дядя Митя взглянул на Лелю — быстро, словно боясь, что его обнаружат. Она тоже смеялась.

— Я не стремился к брачному узам. Видит бог и другие свидетели из присутствующих. Домашний очаг, супружеская верность, продолжение нашего славного рода — мне все это было скучно. Понимаете, от одной этой мысли у меня скулы сводило зевотой. Семейная жизнь казалась мне почему-то одной сплошной поездкой в метро. Вы представляете себе, что это такое? Одни и те же, смазанные, серые, лишенные выражения лица, которые все время торчат перед тобою, мотаются и трясутся, от них некуда деться. И маршрут строго определен — никаких отклонений. Парк культуры или Сокольники.

Гости опять засмеялись. Оратор выждал паузу и, подняв бокал, приступил, наконец, к своему главному тезису.

— Я ни от чего не отказываюсь. Я не беру слов слова назад. Я просто допускаю другую возможность. Вот она перед вами. Я думаю, все со мной согласится, что такую возможность невозможно упустить. Я пью, друзья мои, за эту возможность. Полюбуйтесь на нее. И, не дожидаясь, пока вы соберетесь, я сам себе крикну «горько!»

Он выпил шампанское и шикарным гусарским жестом швырнул бокал через плечо. Раздался мелодический звон хрусталя, разбившегося на воценом дубовом паркете, а жених в это время обнял Лелю и поцеловал ее вое не символическим, а самым настоящим поцелуем, таким, из-за которых на кинокартин, взятые в качестве трофея, детей до шестнадцати лет не допускают.

«Татьяна, помнишь дни золотые?...» — почему-то вспомнилось дяде душечинское танго, чрезвычайное ценное на окраинных свадьбах. Он впервые внимательным, почти оценочным взглядом оглядел стол — салаты необыкновенной красоты из свежих овощей, темно мерцающую икру, семгу нежно-интинного цвета, батарею марочных коньяков. Затем дядя перевел свой непривычно расчетливый взгляд на огромную люстру, на стены, увешанные, словно витрина антикарного магазина, потемневшими картинками в золоченых толстых рамах. Он впервые совершенно трезво подумал о том, что для Лели это вполне подходящая партия. «Дорогой бриллиант дорогой и оправы требует», — как говорил в любимой его пьесе «Бесприданница» Мокий Парменыч Хнуров. Действительно, что бы получилось, если бы Леля вышла за него, неудавшегося комика и будущего финансиста из районного банка? Смешно. Он выпил рюмку водки и закусил нежно хрустнувшим корнисионом. Смешно.

...А тогда было не смешно, в тот вечер, накануне отъезда из Москвы. Его отпустили в увольнение, и он пришел домой. У своих ворот встретил Лелю. Она посмотрела на него совершенно незнакомыми темными глазами, и у него упало сердце.

— Я жду тебя каждый вечер, — опять-таки незнакомым, совсем не насмешливым голосом сказала Леля, — я была уверена, что ты придешь.

Он молчал. Он не знал, что говорить.

— Дома никого нет: папа дежурит в аптеке, а мама уехала к своей сестре, собирать ее в эвакуацию.

Темнело, переулочек был пуст. Они, не сговариваясь, пошли в сторону ее дома. Он вдруг совершенно спокойно и конкретно подумал о том, о чем раньше не смел помыслить даже в самых дерзких мечтах. Он не касался Лели и тем не менее ощущал ее совершенно по-новому, совсем не так, как раньше.

Стены домов отдавали накопленное за день тепло. И в этот момент рядом, словно из недр московских подвалов, из глубин канализационных люков, из русл московских речек, загнанных в трубу, низко застонала сирена.

— Граждане, воздушная тревога! — металлическим голосом заговорил репродуктор на перекрестке.

Ему ответили эхом репродукторы на Арбате и на Кропоткинской, сирена уже не стонала, а выла, и казалось, что это воеют дома глотками своих дымоходов и вентиляционных отдушин.

Они оказались в подворотне огромного шестизатяжного дома, мимо них в бомбоубежище пробежали люди, напуганные сиреной, кричали дети, свистели дворники, в руках у некоторых женщин металась неизвестно зачем узлы с домашним скарбом. И вся эта толпа, простоволосая, застигнутая тревогой посреди домашних дел, в талочках на босу ногу, испуганная, вызвала пронзительную до боли в сердце жалость. В длинном пролете подворотни гулко отдавались быстрые шаги и крики бойцов ПВО. Потом все внезапно стихло. Леля и Митя, прижавшись к стене, стояли у самых железных ворот. На противоположной стене подворотни мелом было написано «Кто болеет за «Спартак», тот придурок и дурак», и была нарисована рожа, оплицетворяющая, вероятно, этого нерасчетливого болельщика.

— Мы правильно сделали, что не пошли в убежище, — почему-то шепотом произнес дядя, — тревога учебная.

— Конечно, учебная, — отозвалась Леля. — К Москве их все равно не пропустят.

И, будто бы специально, опровергая ее слова, раздался грохот, такой, какого они никогда в жизни не слышали — уходящий, несоместимый ни с какими городскими шумами. Леля прижалась к дяде Мите, и он услышал, как толчками стучит кровь в его висках не только от пережитого страха, но еще от сладостной тяжести ее тела. Он поймал себя на преступной мысли, что был бы рад, если бы еще раз раздался пугающий взрыв, потому что появилась бы оправданная возможность повернуть ее и прижать к себе груди грудью.

— Ты боишься? — прерывающимся шепотом спросил он.

Леля подняла глаза и медленно сказала:

— Теперь уже наши наверняка не вернуться до ночи. Пойдем к нам, другого времени у нас не будет.

Они взялись за руки, как дети, и изо всех сил, словно при сдаче ГТО, понеслись по переулочкам. Частый-частый хлопающий звук доносился с Садового кольца. Дядя только после догадался, что это зенитки. Ухнул еще один взрыв, и они пропустились бегом так быстро, словно чувствовали за собою страшную мистическую погоню.

В парадном было тихо и тепло. Сердце еще трепыхалось, но страх уже прошел. Квартира, куда они вошли, совершенно опустела. На непогашенном примусе выкипал забытый чайник. Вспомнились разные фантастические истории о кораблях, в одну секунду загадочным путем покинутых экипажем. Не заживая света, Леля открыла дверь своей комнаты. В темноте сквозняк шевелил занавесками. Дядя почувствовал знакомый запах — старых книг, хороших духов, нафталина, лекарств. Митя с Лелей стояли в полутьме и расширенными глазами смотрели друг на друга.

— Хочешь спать? — вдруг решительно спросила Леля.

Дядя Митя кивнул головой, хотя ни разу в жизни не пил ничего подобного; Леля достала из недр бу-

фета большой аптекарский сосуд с притертой пробкой и маленькую, вероятно, лабораторную стопочку.

— Разбавить?

— Не надо,— хриплым, не своим голосом сказал дядя.

Он лихо, без предварительной подготовки, опрокинул рюмку, поперхнулся, у него перехватило дыхание, слезы всех внутренних выталкивали жидкость обратно, все лицевые нервы оказались парализованы. Дядя резко отвернулся, чтобы Леля не заметила его позора, и уткнулся в книжный шкаф, вытирая нелепые слезы. Он отдышался и высморкался, сквозь темное вечернее стекло он различил сочинения Достоевского в марксовом дореволюционном издании. Собираясь повернуться, он вдруг услышал шорох и, не смея верить собственным ушам и самому себе, понял, что он означает. Дядя Мите вдруг сделалось жарко и душно. Кругом пошла голова, пересохло во рту и ватными, непонятными стали трясущаяся в поджилках ноги. Наступила полная тишина, и шорох за дядиной спиной звучал почти так же громко, как выстрелы за окном несколько минут назад. Он усталился в мерцающие за стеклом книжные корешки, будто в этом потоке невероятных, несбыточных событий хотел уцепиться за соломинку привычного, будничного бытия. Отблески прожекторов зыбко отражались в стекле шкафа словно в глубокой колодезной воде.

— Ну, что же ты,— сказала Леля неслышанно грудным и одновременно тихим голосом.

Он медленно, чувствуя, как бьется о ребра, почти грохочет его сердце, повернулся на голос.

Леля стسала у дивана, совершенно обнаженная и распущала волосы...

...Гости недружно, но громко кричали (горько!). Жених вновь целовал Лелю так, будто бы хотел развезти чьи-либо сомнения в неограниченной и совершенной полноте их отношений. У дяди Мити по крайней мере таких сомнений не возникало.

Уже включили радиолу. Уже крутились, отражая огни люстры, большой диск американской пластинки, странно совпадающей в воображении с лицом музыканта, тоже черным, тоже блестящим, тоже круглым от напряжения, от натуги, без которой труба никогда не завоет на такую головокружительную высоту.

«О Сан-Луи! О город мой...»

Он хорошо играет, этот негр, думал дядя, он правильно играет. Дядя позволял себе так думать, потому что сам был артистом и не считал себя заносчивым судить любых звезд любой величины, со своей собственной колокольни. Потому что колокольня все-таки была, даже если колокола с нее срезали. Он хорошо играет, думал дядя, но ему везет, что он играет сейчас на пластинке. Если бы он видел сейчас эти сытые танцы, ему совсем бы не захотелось выворачивать душу. Это неправда, что его музыка — музыка толстых. Он не виноват, что толстые успевают прибрать к рукам все хорошее, не только музыку...

— Ну-с, молодой человек, вы как? Еще в творческом состоянии?

Дядя Митя поднял голову и увидел, что над ним стоит хозяйка квартиры — вальяжный, раскрасневшийся от выпитого, в мужских его глазах за цейсовскими стеклами появилась задорная пьяная небрежность.

— Ну, разумеется,— подымаясь, превеличленно изобразил дядя полную готовность.— Только и жду распорядка.

Дядя Митя бодрился, но, в сущности, был растерян. А надо бы, он смутно догадывался, пойти незаметно в переднюю, надеть свое драповое пальто

и галоси фабрики «Красный треугольник» на малиновой подкладке, схватить в охапку трофейную гармоню честной немецкой фирмы «Хоннер» и бжать отсюда к чертовой матери, унося свою боль и свою тоску, из которой эти сытые люди еще не успели сделать себе развлечение. Вместо этого дядя Митя прошел в хозяйский кабинет и раскрыл футляр аккордеона. В зале гремели танцы. Барабанили на заграничной пластинке «кидал брэк» — выдавал серию пулеметных очередей, перемежаемых артиллерийской канонадой и глухим бомбовым уханьем. Слышались смех и шарканье подошв по паркету.

Дядя Митя достал свою неизменную алюминиевую расческу и задумчиво провел по волосам — с чего бы теперь начать?

Он начал с песни, неизвестно как попавшей в те годы в московские дворы, может быть, привезенной такими же демобилизованными солдатами, как и он сам, может быть, подаренной отчеству каким-нибудь расквашившим эмигрантом, превратившим свою ностальгию в профессию, бог ее знает — это была кабацкая песня, надрывная, низкопробная в сущности, однако не фальшивая и не спекулятивная. И была она дяде под настроение со всем своим душещипательным перебором, со всею своей неподдельной тоской и слабой надеждой на счастливое стечение обстоятельств, и уличность ее ложилась дяде на сердце, в конце концов его затем и позвали, ради чего в старое время светские господа среди ночи ездили на Сухаревку в извозчичьи трамваи.

Здесь под небом чужим  
я как гость нежеланный,  
слышу крик журавлей, улетающих вдаль...

Дядя давно заметил, что эти простенькие слова, если воспринимать их непосредственно, забыв на минуту о традициях и условностях, если всмотреться в их изначальную образность, начинают всех волновать и томить сердце, не надо только форсировать эти слова, надо им доверять, впрочем, как и музыке тоже. Он и доверял, отыскивая своему отчужденно достойный выход по ступенькам клавиш.

После «Журавлей» дядя Митя бравурно и заливаясь сыграл «Дунайские волны», потом «Темную ночь»; он чувствовал, что овладел публикой, подавил ее равнодушие, подчинил своей воле, и впервые в жизни это не доставило ему малейшего удовольствия. Впервые в жизни люди, которых он, как крысолов из немецкой сказки, заворожил своею музыкой, не сделали ему симпатичны.

Без перерыва, не оставив гостям времени ни для отдыха, ни для восхищений, он завел свою любимую, с которой никогда не начинал застольных концертов; она должна была дойти, дозреть до благородного состояния, поднимающего раскожную патефонную мелодию до уровня высокого чувства.

Здравствуй, здравствуй, друг мой дорогой,  
Здравствуй, здравствуй, город над рекой,  
Где тебе сказал я «до свиданья»  
И махнул в последний раз рукой,—

пел дядя просто и свободно, и вовсе не заботясь о каких-либо тонких намеках и личных ассоциациях.

Он прохаживался немного по комнате, взад и вперед, потому что есть песни, с которыми трудно по-школьному усидеть на месте, они влекут куда-то — на улицы, по которым любишь ходить без определенной цели, в старые парки, где с деревьев неслышимо осыпается снег, к реке, долго не замерзавшей, темной между белых пустынных берегов.

Он прохаживался, а ему казалось, что он идет по своему переулку, и все только начинается, и еще совсем не о чем жалеть, и предощущение счастливых перемен толкает его в спину, как дружественная напутственная рука, и белая занавеска выдвигается вперед из Лелиного окна.

Здравствуй, здравствуй, позабуди печаль,  
Здравствуй, здравствуй, выходи встречать,—

в это мгновение, совершенно неожиданно, может быть, впервые придав своему взгляду не рассеянное вообще, а конкретное направление, он встретился с Лелиными глазами. Настолько очевидной, нос к носу, была эта встреча, что невозможно стало равнодушно отвести взор или дипломатически слухавить. Малодушная надежда промелькнула в его сознании — он верил, что прочтет в ее глазах и радость и сочувствие, но они оставались безразличными — безразличными по отношению к нему, от всех прочих событий в них оставались и доигрывали возбужденные, веселые искры.

Когда умолк аккордеон, дядя Мите даже похлопали, что было абсолютно искренним проявлением чувств, хотя ему показалось издевательством. Так же вот хлопает лицемерная родня какому-нибудь костноязычному вундеркиндю, когда он после долгих просьб прочтает про зайца во хмелю. Или про бобра, брошенного лицей. Довольный, снисходительно сияющий глазами хозяин подошел к дяде с рюмкой коньяка. Как городовому, подумал дядя Митя. Не хватало только полтинника на тарелочке. Жених тоже подошел, он был на голову выше дяди и чокался с ним несколько сверху вниз.

— Ди дочке варе? — спросил он веселым тоном знатока и коснулся аккордеона пустой рюмкой.

— Что-что? — не понял дядя.

У него уже кружилась голова, и ноющая боль вкрадчиво появилась в груди: она всегда начиналась потихоньку — так робко и застенчиво настроиваются в оркестре скрипки.

— Я говорю, немецкая, что ли, работа? — улыбаясь, пояснил жених.

— Ах, работа, да, да, немецкая...

— Шикарная машина. — Жених слегка повернул аккордеон вместе с дядей. — Умеют все-таки, а?

— Умеют, — тихо ответил дядя Митя. У него опять было такое чувство, будто осколок застрял поперек горла. — Они разные машины умеют...

— Дорого дали? — неожиданно деловито поинтересовался жених. И, улыбаясь в дядиных глазах недоумения, вновь с улыбкой пояснил: — За оркестрионто, спрашиваю, много заплатили?

— Много, — ответил дядя Митя, — половину легкого, как минимум, не считая остальных менее важных частей...

И он снова заиграл, чтобы прекратить этот дурацкий разговор и чтобы, не дай бог, Леля не подошла и не призналась светским тоном, каким она всегда замечательно владела, что они с Митей — вот ведь игра судьбы! — давно знакомы, некоторым образом друзья детства и юности. Он играл разные томные танго, которые очень хороши после крепкого застоя и самую свою сущностью располагают, чтобы вполне лояльным путем обнять и прижать к себе даму. Наконец, танцевальная энергия иссякла — хоть запасы ее у жениха казались неиссякаемыми, подали кофе, мужчины сняли пиджаки и с наслаждением распустили галстуки, дамы будто бы невзначай поспешили собраться своим замкнутым кругом, и дядя Митя почувствовал, что его роль сыграна. Он прибрел в кабинет хозяйки: ярко светила луна, так ярко, что не нужно было зажигать света; дядя запечатывал инструмент и подошел к окну. Вероятно, ночью похолодало, оттого и был так чист и ясен лунный свет. Дядя закурил, хотя уж это было совсем последнее дело — врачи ему так и сказали, — но сейчас от курева ему, как когда-то на фронте, сделало легче. Он стоял возле тяжелой шторы и смотрел, как сверкает в лунном свете морозный булыжник мостовой; такое созерцание холода из тепла

всегда успокаивает и создает ощущение уюта, надежности и прочности жизни. Как раз того, чего ему так не хватало.

— А ты все такой же. — За его спиной прозвучал Лелин голос. — Вдруг исчезнешь куда-то и стоишь один в темноте...

— А ты не зажигаешь света, — не оборачиваясь, ответил дядя, — и мы двое будем стоять в темноте.

— Ты хотел сказать — вдвоем?

— Я хотел сказать вдвое.

— Тебе не хочется на меня смотреть? Что, очень подурнело?

— Ну, ну, ну, похорошела; я же имел возможность рассмотреть тебя при ярком свете. — Дядя обернулся.

Леля уселась в глубокое кожаное кресло, неизвольно сложив ноги в изящную, чрезвычайно выгодную для них позу — она умела это еще в школе, получив от матери несравненное женское воспитание.

— Как тебе нравится мой жених? — спросила она после паузы.

— Мне очень нравятся твои духи, — сказал дядя.

— Спасибо, что заметил. Они, кстати, тоже его подарок. Но ты не ответил на мой вопрос. Это обидно.

— Зачем ты меня спрашиваешь? — Дядя раздавил в пепельнице папиросу и тотчас же достал другую.

— Ну, кого же мне еще спросить? Все остальные пристрастны, они давно его знают, ты единственный здесь новый человек.

— Единственный новый и единственный старый. — Дядя Митя злился на Лелю и одновременно получал от этого разговора странное удовольствие. — Зачем ты меня спрашиваешь об этом? Какое значение имеет мое мнение? Я кто? Я талант, знаменитый шарманщик, разве мое дело женихов обсуждать? Мое дело — крути, Гаврила, и весели приятное общество.

— Меня ты не слишком развеселил, — вдруг совсем иным тоном заметила Леля.

— Простите. — Дядя покорно склонил голову. — Но и ты меня тоже. Мне не понравился твой муж. Он у тебя слишком веселый.

— Это ты мне говоришь? — Леля порывисто встала. — Ты, который учился на профессионального комика?!

Это очень смахивало на недостойный прием. Впрочем, она ведь ничего не знала о длинной судьбе, поэтому дядя не обиделся.

— И неплохо учился, — вздохнул он, — только ведь речь не обо мне, я ведь не жених. Он у тебя, знаешь, какой веселый? Которому никогда не бывает грустно. Кстати сказать, комки из таких не получаются.

— Но ведь из тебя тоже, судя по всему, не получится, — возразила Леля.

— Верно говоришь. Но я-то здесь при чем? Меня обсуждать по другой категории полагается. Мессовик-затейник получился, и ладно. И то хлб.

Он помолчал некоторое время. Дядя понимал, что Леля хочет спросить о его жизни, однако из вечного своего чувства протиривания не может этого сделать. А ему высказать ничего не хотелось, самое главное он уже высказал в тот момент, когда она появилась в зале в подвенечном платье.

— Ты знаешь... — почти весело сказал дядя, — не огорчайся, для меня, например, ничего удивительного в нашей ситуации нет. Я много на свадьбах играл и странный закон обнаружил. Не знаю точно, как бы его деликатнее сформулировать. В об-



шем, так: самые лучшие невесты всегда достаются неважным парням. Просто роковым образом. Исключений почти не бывает. Мне раньше казалось, что надо быть достойным любви. Что любовь надо заслужить, что ли... Я уж не знаю, как. Кто как умеет. Мне, может, играть лучше надо. Или вообще чем-нибудь отличиться. Достигнуть, так сказать, пределов совершенства. Потому что любовь — это вознаграждение за высшие качества души, за ум, за талант. А оказывается, ничего подобного не нужно. Иногда даже странно делается: неужели эту лигу, кроме меня, никто не замечает? Впрочем, у меня опыт очень большой. Можно сказать, профессиональный.

— Но только теоретический? — спросила Леля.— Я имею в виду, что ты сам не женат?

— Нет.

— Тогда понятно, откуда такая философия.

Дядя Митя подошел к письменному столу и зажег свет — большую бронзовую лампу под зеленым шелковым абажуром.

— Это несправедливо, — сказал он и взялся за футляр аккордеона.

— Пойтой! — крикнула Леля и погасила лампу.— Дай мне закурить.

Она взяла папиросу и закурила неумело, хотя и манерно, пуская много дыма и щуря глаза. В этот момент она была совсем как та далекая теперь десятиклассница, которая на дне своего рождения воображала себя роковой «женщиной с прошлым», трагически пила портувейн из высокой рюмки, загадочно улыбаясь и вот так же курила материнские тонкие папиросы, изысканно отводя руку и беспрестанно выпуская струйки дыма. Те самые, о которых в каждом дворе пели тогда модный романс.

— Послушай, — сказала Леля, — а что, если мы восстановим справедливость?

— Что ты имеешь в виду? — устало спросил дядя.

— Ну, ты же сам сказал, что несправедливо, когда хорошая невеста достается недостойному жениху. Так давай исправим ошибку. Пусть хорошая невеста достанется хорошему жениху.

Этого дядя не ожидал. Он всего ожидал, только не этого. Он смотрел на Лелю, как будто бы видел ее первый раз в жизни — она шла тогда мимо его дома с теннисной ракеткой в руке, ее польский точеный нос был победительно задран, но на губах блуждала неосознанная, сопровождающая какие-то приятные мысли улыбка. Она прошла мимо него в течение нескольких секунд, но он успел ее запомнить раз и навсегда, он целый день прожил тогда в состоянии замечательного душевного подъема, все его неясные томления и мечты о славе, о признании, о другой жизни в одну минуту приобрели поразительно конкретное воплощение. Вот как смотрел теперь дядя на Лелю. И в тот же самый момент он не умом, а каким-то особым — может, шестым, а может, двенадцатым чувством догадывался, что смотрит на нее так вот в последний раз.

Он взял ее руку — узкую, с длинными легкими пальцами, — было время, когда одно лишь прикосновение к этой руке представлялось ему целью бытия. Он повернул ее кисть ладонью вверх и поцеловал ее в излом руки, в самое запястье, в то место, где незначительно и упруго пульсирует голубая вена.

— Спасибо, Леля, — сказал дядя, — спасибо, что так сказала. Не ожидал. Только ведь я, правда, не себя имел в виду; я, Леля, вообще не в счет.

Вновь послышалась музыка, раздался голос и шаги — Леля искала, остра что есть сил и распыхивая при этом двери разных комнат. Она вздрог-

нула и вот уже не просто уходила из кабинета, а словно отъезжала на поезде, медленно набирающим скорость, — дядя видел, как ее лицо отдаляется и отделяется от него, как незаметно в темноте делаются его черты и как оно исчезает за дверью, словно растворяясь вдали.

Дядя Митя не помнил, как собрался, как уходил, как спускался по лестнице. Он опомнился только на Кировской — один посреди совершенно пустой, белой улицы. Вновь посыпался неслышимый кружащийся снег, он сопровождал дядю всю дорогу до дома — сухой, вспыхивающий под фонарями, засыпающий неровности московского асфальта и прочие изыпания нашей жизни.

Дядя Митя не узнал свой двор. Зимней ночью он сделался чист и уютен, словно рождественская открытка, висевшая до войны над комодом; в детстве дяде всегда хотелось очутиться в ней, в ее милом и задуманном пейзаже. С этого начались многие фантазии — вот он становится совсем маленьким и попадает в этот нарисованный мир, так удачно вобравший в себя несбывшиеся мечты о земном уюте.

Дядя смахнул снег с пенсионерской скамьи и сел под еще более старой липой.

Ни в одном окне не было света. Только железный фонарь метался и скрипел на своем невидимом сейчас проводе. Свет его, как у звезды, был призрачен и далек. Дядя Митя вспомнил, даже не вспомнил, а во второй раз увидел, как отделяется от него — несленно, но неумолимо — Лелино лицо, бледное, с расширенными глазами, постепенно теряющее черты, угасающее, как солнечное пятно. И такая безысходная грусть пронизала вдруг дядино сердце, что через несколько мгновений он даже удивился тому, что остался жить. Он снял варежки, с трудом расстегнул схваченные морозом защелки футляра и вытащил аккордеон. Он заиграл, сначала совсем тихо, а потом громче, он играл и слушал сам себя, и склонял голову набок, и откидывал ее назад, и давил пальцами на басы и клавиши, не чувствуя холода. Он не задумывался над тем, что играет, это была импровизация, как когда-то давным-давно в подвальном красном уголке, только тогда он был всемогущ и счастлив, тогда он парил над весенней Москвой, а теперь он молчал головой, укачивая свою тоску, как несчастного больного младенца.

Дядя Митя ничего не замечал. Кое-где в окнах зажегся свет, из своей пристройки вышел и плюхнулся рядом с ним на лавку татарин Джафар, которого во дворе звали просто Женей. Под сторожевым коротким тулупчиком виднелась у него расстегнутая на груди нижняя рубашка.

— Ты что, — участливо спросил хриплым со сна голосом Женя, — перебрал, что ль, по этому делу? Дядя Митя не отвечал. Он играл, и ему казалось, что никогда в жизни он не играл так хорошо, и никогда еще аккордеон не был так послушен, и никогда еще его чувства не совпадали до такой степени со звуками аккордеона.

Женя поскреб под тулупом голую грудь и, как всегда затейливо, выругался.

— Все, разбередил ты меня, зараза, теперь ни за что не усну. — А через мгновение добавил: — Ну вот, радуйся, второе отделение концерта у Плетнева.

Так звали здешнего участкового. Дворничиха тетя Феня уже злорадно тянула его во двор. Она была довольна, что не любимый ею и непонятный ей дядя Митя хоть в чем-то проштрафился и был застигнут

на месте преступления, чего с местной шпаной, не смотря на всю ее дворницкую бдительность, никогда не случалось.

— Ночь, полночь, — упиваясь своею служебной праведностью кричала теть Феня, — а им, паразитам, все ничего — законы не писаны, нарушают покой трудящихся! Хулоганы, черти...

— Погоди, погоди, — прервал ее Степан Иванович Плетнев.

В его совершенно конкретной милицейской практике это был абсолютно непонятный случай. В три часа ночи дядя Митя играл на аккордеоне, и сам этот факт являлся несомненным и вопиющим нарушением общественного порядка. Однако играл он так, что у лейтенанта милиции Плетнева рука не поднималась его остановить, потому что у него самого от этой музыки какая-то незнакомая грусть колола в груди. Он злился на себя за эти сантименты, за неполюбованный во время дежурства либерализм, переминался с ноги на ногу, покашливал и медлил — ничего не говорил.

А Женя врал на скамейке, вскрикивал, бил себя кулаком в тощую обнажившуюся грудь и причитал:

— Реветь хочу, реветь... зачем разыгрался, Митя, не вовремя, пол-литра сейчас нигде не достанешь... Наверное, после сомнений и борьбы долг все же возобладал в душе участкового над эмоциями, и ему под давлением зудящей тети Фени пришлось бы применить власть, но, к счастью, этого не потребовалось.

Мать дяди Мити, в большом сером платке и в тапочках на босу ногу, спустилась во двор. Некоторое время она молча смотрела на дядю Митю и вытирала концом платка беззвучные слезы. Лицо дяди было бесстрастно и спокойно, но ей казалось, что это он плачет, она обняла его за плечи и потянула за собой, все время приговаривая: «Ну что ты, сынок... ну что ты, сынок», — и дядя покорно пошел вместе с нею, не переставая играть и унося с собою еле слышную, будто бы угасающую мелодию.

Татерин Женя шел сзади и тащил футляр от аккордеона.

**Я** часто думаю теперь о том, как незаметно и необратимо жизнь разводит людей. Без каких-либо решительных, без всякого взаимного антагонизма — какой уж антагонизм, часто люди по-прежнему исполнены друг к другу симпатии, только нет, эскалаторы жизни уже разводят друг друга в разные стороны, кого вверх, кого вниз, и остается лишь, как при случайной встрече в метро, выкрикивать стыдливым голосом первые пришедшие на ум слова да делать друг другу энергичные, но невятные знаки.

Я говорю все это не в оправдание собственных ошибок и просчетов, но как бы ради их осмысления. А также во имя истины, которая побуждает быть открытым и самокритичным.

Я рос, взрослел, и постепенно все старшие моего детства начали терять в моих глазах ореол исключительности.

К дяде это относится тоже.

Я стремился в другой мир, туда, где существовали «капустники», утренние просмотры для «своих», поэтические вечера, вернисажи, во время которых можно пренебрежительно спорить с ретроградными, не понимающими современной живописи, — от все-

го этого моя простодушная родня была очень далека. Дядю аккордеон тоже не сразу, но очевидно потерял свою магическую власть над мной. Было время возрождения джаза, — это слово, для моего поколения полупреградное и потому особенно волнующее, вновь робко появилось на афишах. По клубам и домам культуры на больших балах по случаю праздничных дней и просто на танцевальных вечерах после доклада или кинофильма выступали маленькие джазовые составы. Их музыканты — молодые люди с бледными, испитыми лицами — сделались почти что героями дня, они носили ботинки на рифленой самодельным способом подошве, бриллиант чуть ли не стекал с их высоко взбитых коковок, и говорили они на своем кастовом, угасающе неблагозвучном, варварском, дурацком, необыкновенно прилипчивом языке.

Я теперь избегал семейных вечеринок и, когда они происходили у нас, старался заявиться домой как можно позже. Однажды я пришел на родной порог совершенно убитый. В школе, пока я торчал на какой-то вечерней лекции, у меня в раздевалке из рукава пальто стащили шарф. По праздде говоря, шарф был довольно-таки паршивый, даже, помнится, проеденный кое-где молью, но пестрый, клетчатый и, по моему разумению, чрезвычайно модный. Я чуть не ревел в тот вечер. Я ныл и стонал оттого, что жаль мне было шарфа, и еще от обиды на свою разнесчастную судьбу: надо же было мне, в высшей степени неуважаемому человеку, оказаться жертвою воровства — ведь этот шарф в моих глазах был у меня единственной вещью, приобретающей меня к миру высокой эlegantности, как я ее тогда понимал. Родня успокаивала меня, но самые сочувственные слова только растрывали оскорбленную мою душу. Дядя Митя не мог больше видеть моих мучений; он отозвал меня в коридор и вынул из кармана пальто свое кашне: «Возьми». А я расстроился еще больше и, если не словами, то наверняка своим видом дал понять, что это серенькое скромное кашне никогда не заменит мне моего роскошного шарфа.

Теперь я понимаю, что нет на земле такой вещи, из-за которой стоило бы лить слезы, теперь я понимаю, что плакать можно только, когда тернешь людей, теперь я многое понимаю, но что это может изменить!

**С** того вечера дядя Митя перестал играть на саксабасе. Как отрезал. Он словно бы перешел в ту страшную ночь, словно бы надорвал в себе что-то; аккордеон ему не то чтобы опротивел, но сделался не мил и не нужен; дядя вновь, взгромоздившись на скрипящий венский стул, поставил аккордеон на шкаф. А сам прямо с этого стула нырнул в пучину финансовых наук, в стихию семинаров и спецкурсов, экзаменов и зачетов, курсовых работ и ночных бдений во время сессии — эта сторона дядиной жизни мне мало известна, я знаю лишь, что несколько раз он как отличный получал повышенную стипендию, хотя учеба в этом институте давалась ему с трудом. Я сам учился в вузе, на мой гуманитарный взгляд несравненно более легком, экзамены раскалывались, как орехи, и я не могу даже вообразить себе, что стал бы делать, окажись я на дядином месте. А он, с его любовью к стихам, с его знанием миллиона песен — и народных, и псевдонародных, и патристических, и блатных, — дядя Митя, на которого при звуках музыки, будь это симфонический концерт, джаз или опера, неизменно слетала благодать, — он различил свою

мелодию и в бухгалтерском учете; быть может, звучные итальянские термины «бульд» и «сальдо» тому причиной. Во всяком случае, дядя успешно окончил институт и поступил на работу в банк. Как известно, быть сапожником — вовсе не значит носить хорошие сапоги: бугальная близость дяди к деньгам не умножила его личных богатств. Но все же, чего бога гневить, тяжелые времена миновали, жизнь налаживалась, стабилизировалась, как говорят в таких случаях государство мыслиące экономисты. Появилась твердая зарплата, появилась выслуга, даже форму дядя выдал; она одновременно забавляла и подавляла его своим неизбыточным чиновничьим видом — ядовито-зеленым цветом, кантами и петличками и более всего тяжелой и высокой фуражкой, в которую была подложена тугая металлическая пластинка. Всякий раз перед уходом на работу дядя по актерской привычке внимательно рассматривал себя в зеркале и вздыхал: «Шайцар чистой воды. Скоро в «Метрополь» позовут. Или, может, еще в цирк. Униформистом».

К счастью, форму скоро отменили, что явилось лишь частным отражением общих перемен, совершившихся в мире. Дядю Митю они радовали. Когда происходят такие перемены, становится интересно жить. Не думаешь ни о болезнях, ни о деньгах, ни о массе житейских дрязг, имеющих над нами такую несокрушимую власть. Просыпаешься в предвкушении новостей и событий, наступающий день интригует, как премьера в момент открытия занавеса, своя собственная несладкая судьба вдруг кажется значительной. Наверное, как раз это называл поэт блаженством — посетить мир «в его минуты роковые».

Пошли слухи, что дом забирают под посольство и жильцов будут переселять. И вот тут столь медлительный обычно райсполком энергично принялся раздавать смотровые ордера. Многим достались отдельные квартиры, а дяде Мите хоть и не вполне отдельная, но замечательная. Две большие комнаты и Тимирязевский парк под окном, большая ванная и гибкий душ в ней — сидишь себе в мыльной пене и розетку вокруг себя как хочешь, так и крутишь.

Начались переезды, почти каждый день во дворе появлялись грузовые такси или просто «левые» машины. Вещи, которые так или иначе, но создавали уют, служили воплощением семейной жизни — никелированные кровати с блестящими шарами, комоды, шкафы, табуретки, — на улице при тусовом свете неяркого сентябрьского солнца невольно выставленные на всеобщее обозрение, раскрывшие все неспожные тайны хозяйского быта, выглядели застенчиво и бедно. Сбывались мечты, приходил конец коммунальным склокам, дурацим расписаниям, кому когда мять пол, проклятые скандалы в тесных, прокопченных кухнях превращались в пережиток прошлого, в музейное историческое понятие; надо было радоваться, выбрасывать со смехом ставшую ненужной рухлядь — и ее действительно выбрасывали, иногда даже без нужного почтения, — только вот скребло что-то на сердце, и душа была не на месте, и в горле все время першило. Пора было освободить гардероб. Дядя встал на стул и достал аккордеон. Он раскрыл футляр, смахнул пыль с инкрустаций, осеннее солнце блекло сверкнуло на клавишах. Ему вдруг показалось, что это несостоявшаяся его жизнь подмигивает ему вспышками театральных огней.

Дядя Митя провел по жидковатым своим волосам алюминиевой расческой и вытиснул аккордеон. Он заиграл и совершенно физически ощутил, как свелся с его груди камень; музыка оставалась с ним, она была с ним неразлучна, а это значит, что самое

дорогое он не теряет вместе с домом, а уносит с собой. Дядя Митя ходил по пустым комнатам, чья невзрачность и ветхость сделались в полной пустоте особенно заметными, он ступал по скрипящему паркету, садился на широкие каменные подоконники, и мелодия отдавалась в высоких потолках, разливалась, расплескивалась, расходилась туманящими голову кругами, и отъезжающие во дворе позабыли о погрузке. Прощальный вальс перед началом новой жизни! Заключительный аккорд и вечер воспоминаний!

Пахло горьковатым дымом кофты, нафталином и ветхостью развороченного и остроженного быта, осенними листьями и просто осенью, ее свежестью и тленом. Грузовики выезжали со двора, катились по переулку в ту сторону, где вливался он в необъятное пространство Садового кольца, и все это время над ними, над диванами и шкафами, беззащитно торчащими из кузовов, над головами пассажиров, примостившихся тут же на притычке в обнимку с фамильным фикусом, — над всем этим одновременно и радостным и печальным караваном кружились, то вовсе затихая, а то раздаваясь с новой силой, переливы вальса, старого, сентиментального и благородного, не поступающего за веком, да и не стремящегося поспеть — просто и неназойливо сохраняющего свое достоинство.

**Ч**ем мерить прожитую жизнь? Какою мерою? Какими, так сказать, критериями руководствоваться?

Когда нас спрашивают, хорошо ли мы провели праздники или очередной отпуск, мы без труда оцениваем этот краткий отрезок времени, исходя из вполне определенных, но требующих пояснения предположек. Весело или не очень, то да что был, какая стояла погода — все эти условия подразумеваются само собою. Но когда думаешь о прошедших годах, любая мера кажется недостаточной, неполной, односторонней: если хватало одного, то недоставало чего-то другого, и эта нехватка больно уязвляет теперь сердце намеком на совершенно очевидные неиспользованные возможности, внезапно, горьким сознанием, что жизнь, в сущности, прошла впустую. Мне самому в последнее время все чаще приходит на ум эта обидная и беспокойная мысль — ее трудно отогнать логическими рассуждениями или воспоминаниями о безусловно счастливых минутах, какие случались иногда в прошлом. Прошлое счастье не утешает. И вот после многих приступов бессонницы и отчаяния я понял, что единственный выход в том, чтобы иметь цель — реальную или недостижимую, — важно, чтобы большую, не теряющую со временем своей притягательности и такую всеобъемлющую, чтобы в этом смысле она была равна — равносильна, равнодействительна — самой смерти.

Мне неизвестно, думал ли об этом дядя, свойственны ли ему были подобные или похожие на них мысли. Наверное, свойственны. Потому что никакие продвижения по службе, никакие семейные обстоятельства — женитьба на милой женщине Нине и рождение сына Сережки — не в силах были заставить его забыть о сцене, об аккордеоне, о публике. То есть временами казалось, что игра сыграна, что страсть эта затерялась в дали прошедших дней и стала предметом воспоминаний, в которых ностальгия перемешана с иронией: на заре туманной юности и все такое прочее, — но вдруг в один прекрасный день все начиналось сначала, и дядя Митя забывал о том, что он заместитель главного бухгалте-



ра большого завода — двадцать тысяч рабочих, шутка сказать! — забывал о кредитах, безалчных расчетах, оборотных средствах и о финансовой ответственности и вновь чувствовал себя артистом, ответственным за человеческие души. Он целыми вечерами пропадал в заводском Дворце культуры и хоть на сцену не выходил, но от одного хождения за кулисами, от разговоров в репетиционных залах и осветительских ложах чувствовал себя театральным человеком. Своим в этом мире. Знатком. Профессионалом. Он даже совершенно серьезно решил, что как только Сережка кончит школу, он наплюет к чертовой матери на свою финансовую карьеру, на прогрессивки и выслугу лет и устроится на работу во Дворец культуры. Кем возьмут: режиссером так режиссером, концертмейстером так концертмейстером, в крайнем случае кем заведующим постановочной частью.

Такая появилась у него цель. В сущности, ничем не отличная от той, что владела им в юные годы.

В первых числах мая шестидесят пятого года дядю Митю охватило непонятное волнение. Какая-то тоска, чередующаяся с краткими мгновениями неожиданного воодушевления, еще более мучительно и беспокойного, чем отчаянная меланхолия. Дядя старался скрыть это свое неприкаянное состояние. Первого мая на семейном небольшом празднике даже выпил больше обычной своей нормы и рано лег спать. Зато среди ночи проснулся и вышел в парк. Он бродил между деревьями, растегнув на груди рубашку, удивлялся, почему это раньше никогда не приходило ему в голову, что счастье, может быть, в том и состоит, чтобы гулять ночью, и слезы текли по его лицу.

Вся неделя прошла, как во сне или бреду. В среду ему принесли на подпись ведомость расходов по ремонту пионерских лагерей, он принялся ее изучать и вдруг увидел перед глазами лес — давний, забытый, а быть может, и не виденный никогда — светлый, сосновый, пронизанный длинными, видимыми, словно лучи театрального прожектора, почти ощутимыми солнечными лучами. Дядя Митя, будто бы заслоняясь от них, закрыл лицо руками.

— Что с вами, Дмитрий Петрович? — перепугались сотрудницы, побежали за водой, за валидолом, в поликлинику.

Во дядя Митя быстро пришел в себя и смущенно улыбнулся. Быть в центре внимания он привык в другой роли.

Девятого мая дядя Митя поднялся очень рано, как в будний день, — после многих лет перерыва это снова был нерабочий день и отмечался как большой всенародный праздник. Дядя надел нейлоновую рубашку с твердым воротником, выходной темный костюм с разрезом и отправился в магазин. Сначала он легко бежал вниз по лестнице, потом пошел не спеша и, наконец, остановился в раздумье. Поколебавшись немного, он быстро вернулся наверх, в квартиру, осторожно, таясь от жены и сына, открыл гардероб и в бельевом ящике, под рубашками, штопанными носками и майками, разыскал коробочки со своими наградами.

Стесняясь и жалея портить костюм, он неумело приколол их с левой стороны и вновь вышел из дому. На улице он понял, что поступил верно, и перестал смущаться. По орденам и медалям он узнавал своих — людей, про которых понимал самое главное: сегодня они уже кандидаты наук, начальники отделов, бригадиры, специалисты, мастера. Он знал их московскими ребятами, «пацанами», худыми от постоянного недоедания в сорок первом году, а потом возмужавшими, отсутствующими гусарские усы, горластыми, лихими на язык, «звонкими», как гово-

рил Аркаша Карасев, сам, между прочим, не такой уж тихий.

В гастроном дядя Митя купил бутылку дорогого коньяка, он знал, что выпьет сегодня за молодость этих ребят, за баланду, которую они ели, за всех калек, стучавших сапожными шетками на привокзальных площадях: «Подходи, гвардия!» — за всех, кого уже никогда не будет в московских дворах, кому не катались на лодке в парке культуры и не гуляли по Арбату. И за свою молодость тоже, после которой все в жизни пошло не в ту сторону, в какую он рассчитывал.

После обеда дядя стал собираться в клуб. Жена Нина не очень-то хотела идти туда, она вообще не понимала, зачем взрослому человеку надо толкаться среди незрелых участников самодеятельности, но дядя Митя ее уговорил.

Ониехали по теплой Москве, поющей и плачущей, разгранной и хмельной, по Москве, которая сделалась мегаполисом, всемирным центром, средоточием высокой политики, конгрессов и фестивалей, но все же осталась живым городом, с простой и доброй душой, жаждущей общения и хорошего слова, — дядя почувствовал это с необычайной ясностью. И с той же самой ясностью озарения он подумал, что всегда очень любил Москву, не любовавшись ею, не восхищаясь, а именно любил как среднюю несложную жизни и как Родину в самом высоком смысле слова.

Во Дворце культуры ощущалась возросшая ответственность этому просветительскому учреждению атмосфера: не лекционная, культурная, а скорее семейная, сентиментальная, подогретая вином и общими воспоминаниями. Дядя Митя даже показалось, что он снова, как двадцать лет назад, попал на огромную окраинную свадьбу — с ее поцелуями, чувственными церемониями и возгласами сколько лет, сколько зим! Дядя усадил жену в директорскую ложку, куда ему всегда был свободный вход, а сам пошел за кулисы. У него не было ясной, конкретной цели, у него было лишь предчувствие, которое он боялся осознать, но в конце концов и просто концерт из-за кулис доставлял ему детское удовольствие.

Уже съезжались актеры, среди них немало заслуженных и знаменитых, и молодежи тоже хватало, не такой заслуженной, но тоже знаменитой благодаря телевидению и кино, уже ходил между столиками, иждивением звачком уставленными фруктами и вином, известный конференсье, похожий на доверочного метрдетеля и по этой причине считающийся воплощением высшей светскости и лоска. Тут же пребывало заводское и клубное начальство, уже выпившее, уже благодушное от общения со столькими знаменитостями, которых всех вместе не увидишь и в субботу на «Голубом огоньке». Председатель звачком утощая актрис шампанским и пригласил их почаще заглядывать на завод, — ну, вот хотя бы в тот же литейный цех, где стоят теперь патоновские печи, — поскольку искусство ни в коем случае не должно отставать от жизни. Актрисы лукаво соглашались и, не слишком модничая, налегали на пирожные и апельсины; дядя этому не удивлялся, он-то знал, что афиши, гастроли, импортные туфли и сапоги — это все так, внешняя форма, видимость, реклама, за которой скрыта обычная житейская проза с бедготей по магазинам, с выкраиванием денег на кооператив, с доставанием пупков и контрамарок для парикмахерши и продавщицы из комиссионки.

— Митя! — вдруг позвали его сценическим звучным голосом. — Господи, боже мой, конечно, Митя! И не узнает, главное! Наверное, большой начальник! Дядя Митя обдернулся и сразу же, без сомнения

узал эту полную, вальяжную, вкусно смеющуюся женщину, заслуженную артистку республики Машу Зарубееву, которую он помнил по театру крупной дебютанткой, правда, с такими же плутватыми, черными, как маслины, ростовскими глазами.

Они звучно поцеловались, к всеобщему удовольствию и удивлению; а глаза заводского начальства дядя Митя наверха приобрел неожиданный вес. От Маши пахло коньяком и французскими духами, говорила она по-актерски превеличественно громко и с превеличественной долей интимной задумчивости, но была, кажется, и впрямь рада.

— Вы подумайте,—обращалась Маша сразу ко всем присутствующим,—мы ведь с ним в последний раз когда виделись? Двадцать третьего июня сорок первого года. Представляете? На второй день войны. Вот с места мне не сойти! У нас же тогда спектакль был в летнем театре, в Эрмитаже! «Свадьба в Малиновке»! Он ведь тогда актером был, и каким! Ярон Григорий Маркович в тебе души не чаял — смешной был, сил нет, и танцевал как бог. Какие там братья Гусаковы! А я-то, я-то, поминши, какая была — Джульетта! Теперь не верит никто — я ведь тогда в «Свадьбе в Малиновке» Яринку играла, а теперь только на тетку Горпину и гожусь, а какая была, никто не верит...

— Я могу лично засвидетельствовать,—сказал дядя,—Маша Зарубеева была и остается прелестной женщиной, примадонной московской оперетты, звездой, красавицей, богиней, и кто в этом сомневается, тот ничего не понимает в искусстве, тому надо ходить в планетарий и зоологический музей.

— Слышали? — захохотала Маша.—Вот какие актеры в наше время были! Еще и герои,—всплеснула она руками, только теперь заметив награды на дядиной груди.

— А как же,—вмешался польщенный председатель звемко,—у нас, можно сказать, в каждом цехе герои. Вы к нам почаще приезжайте, мы вам таких героев покажем, хоть сейчас на сцену! Ударники по всем показателям! И по производительности труда и по экономике металла. Уже в следующей пятилетке живут.

— А я все еще в прошлых,—грустно сказал дядя,—послушай, Маша, у меня к тебе совершенно серьезная просьба. Ты только не пугайся, пожалуйста, у тебя здесь в этом концерте много номеров?

— Один,—удивленно ответила Маша,—из «Трехбиты», ну и на «Бис», конечно, кое-что есть...

— Ты про тетку Горпину из «Свадьбы в Малиновке» всерьез говорила, ты ее знаешь?

— Конечно, знаю, но в чем дело?

— Вот в чем... ты сама мне напомнила, сама и виновата, я ведь Яшка-артиллерист. Ну, тогда, двадцать третьего июня, я же Яшку играл... Меня сам Ярон готовил. Он меня и правда любил. Так вот, Маша, ты меня прости, конечно, но мне это страшно важно, я даже не могу объяснить. Может, сделаем их дует. э! На две минуты. В концертном исполнении.

Маша замалывая, пожалала плечами:

— Ты понимаешь, мне не жалко, но странно как-то, ты ведь вроде бы уже совсем не то...

— Я то, Маша,—серьезно сказал дядя.—То. Я ничего не забыл. Мне ведь во сне чуть не каждую ночь снится, как я деда Нечирова сапоги снимаю... Я счита сверию, а сам куплеты пою. Я бы не рискнул, Маша, поверь мне. Но ведь действительно таю день...

Он чувствовал, как под нейлоновой рубашкой по спине его ползет противный холодный пот.

— Я, право, не знаю,—Маша беспомощно обвела присутствующих взглядом,—как-то это, по-моему, не принято...

Дядя Митя пожалел, что обратился к ней с такой просьбой, да еще разволновался при этом, как мальчик.

Теперь ему было неудобно, словно бы без всяких оснований и приглашений, только лишь из собственной дерзости решил ст- войти в круг этих благополучных людей да еще претендовать в нем на заметную роль.

— А почему бы и нет, собственно,—вдруг барским, наигранно капризным голосом протянул конференсье.—Марья Константиновна, по-моему, в этом что-то есть. Что-то созвучное сегодняшнему дню и вообще эпохе. Вы, голубчик, вы это действительно умеете? Ну, это, каскад и все такое прочее?

— Умею,—сказал дядя.— Действительно умею, как это ни странно. Не знаю, зачем, но умею.

— Ну, так прекрасно! — Конференсье потер руки, будто в предвкушении выпки и закуски.—Марья Константиновна, как главнокомандующий, так сказать, сегодняшнего концерта, я повелеваю: этот номер состоится. Быстренько прорепетируйте текст.

Они подошли к роялю, скороговоркой пробежали положенные слова и договорились с пианистом о тональности. У Маши был по-прежнему неуверенный, растерянный вид.

Дядя плохо помнил, что было дальше. Кажется, он сбегал в зрительный зал и предупредил жену, чтобы она без него не волновалась. Когда начался концерт, он направился в опустевшую мужскую курилку и там, задыхаясь в оседающем дыму, прошлся по нечистому кафельному полу залаватерш четкой. Потом, рискуя прослыть среди билетерш безумцем, он проделал несколько роскошных вальсовых туров на скользком паркете, посреди фойе. Во рту пересохло. Кровь так стучала в висках, что казалось, это уже слышно посторонним. Дядя Митя вошел в артистическую и неожиданно увидел самого себя в большом настенном зеркале. Перед ним был лысый человек, в съехавшем галстуке и в слишком просторном костюме. Мешки под глазами составляли некую единую отрицательную гармонию с заметным животом и с тем, что брюки складками ложились на ботинки. В этот момент дядя услышал велеверечные слова конференсье о том, что дружба, связывающая работников искусства и тружеников завода, только что, буквально несколько минут назад, проявилась в совершенно неожиданной, волнующей форме. И сейчас все присутствующие в зале смогут в этом убедиться.

Маша, оказывается, уже была на сцене. Конференсье объявлял второй ее номер. Тот самый, о котором без всякой видимой логики никого ни о чем никогда не просивший дядя Митя так умоял заслуженную артистку республики Зарубееву.

Дядя услышал свою фамилию и кубарем вылетел из-за кулис.

Он прошлся по авансцене на чуть заплетавшихся, как говорится, на «полусогнутых» кавалерийских ногах — не прошел, а прокатился,—маленький человек с большим самоимением, бедолага, босая, но ухарь, молодец, спецнализ в всех областях народной жизни; и крышу перестелить и байку расказать — не только легендарный Яшка-артиллерист, но еще и вполне конкретный Аркеша Карасев, первый парень их гвардейского орденосного краснознаменного полка.

Зал притих. Вернее, поном притих, а сначала ахнул от удивления: вокруг знаменитой артистки, выпсывая неуклюжими ногами ловкие кренделя, уморительно уивался — кто бы вы думали! — рабочий заводской бухгалтерии, корпаций над отчетами и сводками, труженик арифмометра, кость на кость, кость долой...

— Первые реплики прозвучали в абсолютной; настроенной тишине. Но вот через несколько секунд лыжа-артиллерист принял просвещать тетку Горпыню по части современных европейских танцев.

— Голак... Дядя снисходительно и вместе с тем иронически повел плечами.— Я, между прочим, всю Европу... он как будто бы небрежно и невзначай хотел сказать «объехал», но потом опустил грустный взгляд на свои бывалые, многострадальные ноги и уточнил: — ...прошел, так голака нигде не видел. В Европе, знаете, что танцуют?— Дядя вскочил и утомленной, изломанной светской походкой подвдоложился к самой рампе.— В Европе танцуют... Дядя посмотрел прямо в зал сосредоточенным до бессмысленности взглядом, потом в этом взгляде появилась ученическая паническая просьба подсказки, потом безнадежная тоска и уныние, но вдруг какая-то искра промелькнула в дядиных глазах, и вслед за нею установилось в них выражение элегической и вместе с тем нахальной самоуверенности.— В ту степь,— произнес дядя, устремляя взор к последним рядам амфитеатра.

Зал грохнул. Не просто рассмеялся, а взорвался хохотом, тем самым, который не стихает уже до конца номера. Это похоже на залпы салюта: в тот момент, когда, остывая, доргорают последние ракеты, взлетает и рассыпается тысячами огней новый фейерверк.

— Вашу ручку, фрау-мадам,— пропел дядя. Он обхватил Машу за талию, оставаясь при этом на довольно-таки почтительном от нее расстоянии,— получается, что душой он, как говорится, стремился в ее роскошные объятия, но неверные, обещавшие всю Европу ноги не успевали за этими порывами души. Сначала казалось, что именно Маша — паразитно легкая, несмотря на вальняжную полноту,— стала основным источником энергии в этом дуэте. Дядя Митя лишь болтался при ней, как брелок при часах, успевая, впрочем, выдвигать ногами невиданные заграничные аттраша. Но в какой-то момент дядя, как боксер после перерыва, вдруг обрел второе дыхание, подхватил партнершу и закружил ее с силой, совершенно неожиданной для его невысокого роста. Теперь уже Маша носилась вокруг дяди, и это было похоже на то, как если бы спортивный молот вдруг привел бы в движение метателя и, оставаясь на месте, вращал бы его вокруг своей оси.

Иногда партнеры расходились, чтобы дать друг другу свободу, причем Маша сразу же впадала в родную стихию голака, а дядей овладевали злокозненные необоримые духи много раз осмеянных и заклейменных западных танцев — начиная с чарльстона и кончая твистом. Дядя ничего не видел в этот момент. И даже не слышал. Музыка звучала в нем сама — пианист был здесь ни при чем. Вся жизнь звучала в дяде Мите музыка — с тех самых пор, как начал он себя помнить, с тех далеких лет, когда носил полотняную толстовку и пионерский галстук с оловянным значком-закимом, и до нынешнего времени; только вот все чаще приходилось ее заглушать, чтобы не мешала она балансам и годовым отчетам, а вот теперь она высвободилась от давления будничных дел, стала главной, сделалась самым важным в жизни делом, и ничего больше дяде не было нужно.

Никогда еще этот зал — огромный, похожий на римские амфитеатры, построенный в годы первых пятилеток, когда непримиримый конструктивизм ребячих клубов бросал гордый вызов амфиру академических театров,— никогда этот зал не слышит таких аплодисментов. Даже странно было, если по-

думать серьезно: давно известный дуэт из давно известной оперетты — не такой уж шедевр юмора и музыкального вкуса, а вот поди ж ты... Может быть, по-прежнему казус, как говорится, в том, что шедевр — понятие не однозначное и не стабильное, чтобы он возник, необходимо мгновенное слияние двух волей, двух духовных начал — творца и слушателя, а оно случается крайне редко. Но зато уж когда случается, всякие разговоры о стиле, о вкусе, о манере делаются в этот момент ненужными. Есть чудо, и ему нужно радоваться, нужно им наслаждаться, впитывать его, отдаваться ему. А расщеплять волос на четыре части можно и потом, по прошествии времени.

Машу и дядю Митю вызывали часоколько раз. Несколько раз они вновь повторяли свой танец и все время по-новому, потому что отретированного, затвержденного рисунка у них не было, и они делали что хотели. А потом они кланялись, стоя у самой рампы, перед глазами у дяди Мити плавали разноцветные круги, и сотни лиц свалились а одно лицо, из зала летали цветы, где-то наверху скандировали его имя. «Вот и успех!», — подумал дядя неожиданно спокойно и отстраненно, будто бы не о себе самом, а о совсем другом, чужом человеке.

Он собрал все цветы и торжественно преподнес их Маше, поцеловав ей при этом руку. И опять прогремели аплодисменты, потому что народу нравилось, что их бухгалтер, человек из конторы — счеты, арифмометр, сатиновые нарукавники — вдруг оказался так непринужденно и изысканно элегантен.

Маша вытерла слезы и расцеловала дядю в обе щеки.

— Господи боже мой,— прошептала она,— завне получила, за границы гастролировала, а такого успеха в жизни не знала!

В артистической, после поздравлений и объятий, дядя Митя бессильно спустился в кресло. Он был настолько мокрый, а в голове шумело, как после затяжного, на всю ночь, пьянства. Невеселый, пропитанный духами и вином воздух он судорожно ловил ротом.

— Ну, и бухгалтеры у вас на заводе,— откуда-то издадека-издадека, словно бы из собственных воспоминаний, доносился барственный кокетливый голос конференсье.— После них артистов выпускать положительно невозможно...

Стесняясь непривычной обстановки, в артистическую вошла дядина жена Нина. Она улыбалась, робко и счастливо.

— Нас ждут, Митя,— сказала она.— Человек двадцать народу. Ты представишь не можешь, после тебя не захотели больше концерт смотреть.— И вдруг чуть не вскрикнула, вовремя прикрыв рот рукой: — Что с тобой, Митя?

Дядя открыл глаза. Из зеркала на него глядело совершенно чужое, бледное, изможденное, похожее на посмертную маску лицо.

**Ч**ерез год дядю отвезли в больницу. Он понял, что это за больница, хотя от него тщательно скрывали ее название и специализацию. Очень наивно скрывали, пряча наливаясь слезами глаза, кривя губы, бледнея или, наоборот, неестественно улыбаясь и бодрясь.

Эта больница была похожа на отдельный город — так огромны были ее корпуса и так просторна территория, разделенная на проспекты и площади, по которым взад и вперед ездили автомобили. Странно было подумать, что за стеною — высокой, почти крепостной — течет обычная жизнь, в которой

все, даже затяжные дожди, даже грязь под ногами, даже склоны в перелюбленном аэроусе, полно чудесного смысла и ощущения бесконечности бытия. Обычная жизнь, в которой никто не догадывается, а если и догадывается, то не хочет думать, гонит от себя мысль, даже тень мысли о существовании этого города. Дядя Митя вспоминал все неприятности своей жизни, все самые неудачные, скучные, голодные дни — сейчас они казались ему прекрасными. Он думал, что если выйдет отсюда, то никогда не будет пенять на судьбу, что бы ни случилось: какое там, как можно переживать о деньгах, о тряпках, о том, куда поехать отдыхать, как можно огорчаться из-за чьей-то неловко сказанной фразы, из-за того, что тебя не заметили или не оценили, когда можно жить, ходить по улицам, смотреть, как меняется цвет неба, как в мокром асфальте разноцветными полосами отражаются рекламные огни. Когда можно читать, не думая, что эта книга последняя. Когда можно смотреть на полет городской ласточки, не закусывая в отчаянии губу от внезапного холодного сознания, что она вот так же будет носиться стремительными кругами, и взмывая в небо, то пикируя к самой земле, а тебя уже не будет. Никогда не будет.

Дядю водили к разным врачам. Его шупали, мяли, просеивали, у него брали кровь из пальца и из вены, каждые три часа собирали мочу — даже в этих совершенно обычных процедурах ощущалась зловещая, беспощадная закономерность. Он понимал, что это несправедливо, просто вопиюще несправедливо, но весь здешний персонал — и профессора в золотых очках, и молодые кандидаты в модных галстуках под халатами, и сестры, как-то неожиданно и оскорбительно соблазнительные в этих же самых накрахмаленных халатах, — все казались ему чересчур спокойными.

Они привыкли к своей профессии, к зрелищу угасющей, истончающейся, уходящей в никуда человеческой жизни, как в других местах люди привыкают к грохоту кузнечных прессов или к высоте. Если бы они не привыкли, им делать бы нечего было в такой больнице, и все же их спокойствие, их улыбки, в которых виделся отблеск вчерашнего фильма, или концерта, или футбольного матча, сводили с ума.

К дяде Мите часто приходили родственники и сослуживцы. Они приносили апельсины и яблоки — совершенно бесполезные, потому что дядя вообще почти ничего не ел, — но в этом приношении скрывался голос традиции, голос давней мужицкой крови, пробившийся сквозь культурные наслоения двадцатого века: в больницу, как и в тюрьму, полагаешь нести передатку. Иногда посетители, как и жена Нина, глотали слезы, глядя на дядю Митю. Иногда искусственно бодрились, иногда, выложив на тумбочку приношения, вздыхали с чувством выполненного долга и торопились уходить, пришибленные больничной обстановкой, обыденностью, безнадельностью. Но их дядя Митя в душе одобрял, потому что посещения были ему в тягость. Он хотел быть один, он хотел обдумать свою короткую, исчезающую жизнь — он давно хотел ее обдумать, да все времени не хватало, и вот теперь, как перед концом финансового года, пора было подбивать итоги.

Май стоял изумительный — жаркий и в то же самое время свежий, в раскрытые навесные окна натывали волны тепла, пахущего цветением, скопанной землей, полным и высыхающим асфальтом. Дядя подумал, что с самой юности, даже не юношества, а с отрочества не переживал он так полно и

страстно весну. А ведь сколько раз — пять, десять, пятнадцать лет назад — пытался он вернуть это ощущение, это опьянение жизнью, мгновенное, не поддающееся логическому осмыслению — оно не возвращалось, а если и возвращалось на секунду, то тут же ускользало. И вот теперь оно неожиданно возвратилось, весна опять кружила ему голову, томила его и сладостно мучила, он вновь упивался ею — тогда в предощущении начала, теперь — в предощущении конца.

Он смотрел на свои руки, исхудавшие, истаявшие, как свеча, — и чувствовал невероятную, режущую жалость к своему телу, к своей убывающей, как тала воде, плоти, к ничтожной своей физической оболочке. Душу не было жалко — болезнь еще не коснулась ее, душа сделала даже зорче и проникновенней. Она парила теперь и видела с мудрой трезвостью настоящую цену всем земным вещам. Душа поразала дядю своею высокой проницательной мудростью. Ей открылись такие высоты и такие глубины, о которых он и не подозревал раньше.

Он не подозревал, например, что кусок высокого синего неба, видимый в окно, если смотреть на него неотрывно, дает ощущение полета, и полной свободы, и отрешенности от расчетливых и корыстных чувств. Каждый день небо было безоблачным и синим, каждый день дядя глядел в небо и думал о нем как о будущем своем пристанище.

Ему вдруг показалось, что если он запоет, то преодолет страх и земное притяжение тоже и прямо сейчас сможет дотянуться до высокого и бездонного неба.

Когда он отворачиваясь от небесной сини, то увидел, что на табуретке рядом с его постелью сидит Аркаша Карасев, постаревший, с сединами в русых волосах, с морщинами, изрезавшими сухое лицо, и все же мало изменившийся, потому что ни седина, ни морщины не тронули сути. И глаза Аркаши — неистовые, почти белые, ничем не изменились, только вот смотрели сейчас непривычно растерянно и недоуменно.

— Что, друг Аркадий, — спросил дядя Митя, — не узнаешь?

— Почему это не узнаю? — улыбнулся Аркадий, сверкнув грубой золотой коронкой. — Ты что думаешь, таким красавцем стал, что тебя и узнать невозможно?

— Да, похоже на то. Похоже, что меня теперь разве что господь бог узнает. Если, конечно, меня к нему допустят.

— Это ты только что придумал, для меня специально, или уже давно? — Аркадий опять насмешливо сверкнул зубом. — У меня, Митя, рука легкая. Кого я отходил, того смерть до ста лет не возьмет. У меня вон теща — да я тебе про нее рассказывал — вроде тебя на тот свет собралась: врачей гонит, да и бабок-знахарок тоже, а у нас под Горьким они еще попадают в деревнях. Меня-то не было дома, я в командировке был в этом, в Ираке, оборудованье им там монтировал. Приезжаю — привет, хоть сейчас вместо встречи за гробом иди. Я говорю: мать, ты что, я говорю, тебе подарков притаренил три чемодана, не считая тех, которые малой скоростью следуют. Я денег на машину привез, а ты помирать собралась. Стыдно, говорю, и глупо. Что, говорю, по райским кущам тебя возить будешь? Поехал в Горький, нашел там одного — вот такого специалиста! Он мне тещу в две недели поднял. Но сказал, что моя психологическая, эта, как ее, терапия тоже помогла. А ты говоришь! Кто тебя в Вене по главной улице в мидсанбт нес? Аркадий



Каресев, Советский Союз. А в госпиталь тебе кто фисгармонию доставил, когда ты совсем в тоску ударился? Опять же Аркадий Каресев, то есть я. И здесь тебя подыму. Наведу тут у вас порядок.

Дядя Митя ничего не отвечал, он молча смотрел на Аркашу, и под этим взглядом прямо на глазах таяла самоуверенная Аркашина веселость.

— Может, выпьешь, Митюша? — робко спросил Аркадий и достал из внутреннего кармана пиджака четвертинку.

Дядя Митя покачал головой:

— Я и кефир уже не могу. А ты выпей, Аркаша, выпей за всех ребят, кого война не догнала. Меня она, как видишь, достала. Я, когда из госпиталя выписывался, думал, оторвался от нее на повороте. Поживем еще, Митя, подумаешь, железки в груди остались — большое дело, железо, оно полезное! В яблочках много железа. Только видишь, какая вышла польза... Ты выпей, Аркаша, с чувством выпей, я на тебя посмотрю. Я уже научился — на что внимательно смотрю, тем и обладаю.

Аркадий вылил всю водку в тонкий стакан и посмотрел внимательно на дядю, словно прощаясь с ним, словно желая показать, как свято чтит он его просьбу, а потом медленно, с тягучим удовольствием выпил горькую.

Он пил, запрокинув голову, а слезы заливали ему лицо, он думал, что сможет их остановить, но не смог, и потому сделал вид, что закашлялся от водки, поперхнулся ею и, значит, имеет полное право закрыть лицо полой наброшенного на плечи белого халата.

— Не надо, Аркаша, — сказал дядя, — какой смысл? Я ни о чем не жалею. Все у меня было: были у меня друзья, и успех у меня был такой, за который ста лет жизни не жалко, и прекрасная женщина меня любила, хоть и недолго... Все было, грех жаловаться. Я вот только боюсь — ты не подумай, что это сомнение или самоуверенность маразматическая, — как бы это сказать... людей я мало радовал... Понимаешь, мне ведь дар был такой дан — от бога ли, от судьбы, от России, понимаю как хочешь, — но я умел людей из мрака вытаскивать, из усталости, из безнадежности, из отчаяния... Самого себя не могу, а других могу... Так почему же я почти не занимался этим? Ведь это мое прямое дело! Я же для этого на свет родился, как другие для того, чтобы в космос летать или в футбол играть. Я же счастье мог приносить — не смеяся — мог! Своими глазами видел! А кого я ослепил? Кому помог? Обидно, Аркаша. И несправедливо. — Он замолчал, потому что ему трудно было говорить, но через минуту снова приподнялся на подушке. На бледных, бескровных его губах запеклась слюна, глаза горели. Он вновь заговорил сдавленным, горловым шепотом: — Ты только не подумай, что это бред, Аркаша. У меня навязчивая идея появилась. Мне все кажется, что если бы я перед всеми этими людьми выступил, перед всеми большими, если бы я вышел, как полагаешь — в белой рубашечке, в костюме, с аккордеоном, который ты мне подарил, — я бы им такое сыграл, что они бы отсюда выбрались, выбрались бы, понимаешь... А мне уж тогда ничего не надо.

— Ты успокойся, успокойся, Митя.— Вodka все-таки действовала на Аркадия, и он вновь сделался благодушным.

— Я спокоен, ты не волнуйся,— ответил дядя,— я только всерьез надеюсь, что мне удастся выступить.

— Ну и выступишь,— громко, словно не в больнице, а где-нибудь в тесной мужской компании, сказал Аркадий.— Раз выступишь, значит, выступишь. Я тебе верю — я тут в одном журнале, знаешь, что вычитал? Что болезни замораживают будут. Заморозят тебя, скажем, лет на двадцать, за это время твою болезнь вдоль и поперек изучат, все средства от нее найдут, разморозят тебя, и привет, ты через две недели как огурчик. В мире перемоны — прогресс, снижение цен, а ты будто заново родился — в более благоприятные времена. Одно неудобство — от моды очень отстанешь. Будешь смущаться. Но ничего, скоро приспособишься. Готовься, Митя, к выступлению.

Начался обход, и Аркашу поторопили. Он смущенно посмотрел на чопорных, как ему показались, медиков, сестра почти подтолкнула его к выходу, на пороге он обернулся к дяде и крикнул, опять забыв, где находится: «Готовься, Митя!»

Профессор, который сидел в этот момент возле дядиной постели, удивленно поднял бровь.

— Совершенно справедливо,— сказал он,— готовьтесь: в начале той недели — операция.

Во вторник, когда за дядей Митей пришли санитары, он попросил зеркало, достал из-под подушки свою старую алюминиевую расческу и тщательно пригладил ею остатки редких мягких волос.

**В**ечером разразилась гроза. Небо внезапно сделалось лимонно-желтым — если бы это произошло несколькими годами раньше, народ бы наверняка решил, что началась атомная война, — таким ненатуральным, небывалым стал небосвод. Потом промчался шквал: зазвенели разбитые оконные стекла, покатались с гулким уханьем перевернутые урны, опрокинутые афишные щиты то взмывали, неуловимо напоминая самые первые наивные самолеты, то плашмя шлепались на асфальт со звуком, похожим на усиленный во сто крат щелчок карты, легкой на деревянный дворовый стол. Крупные, как чайные розетки, капли застучали по двору, ослепительно и зло, с сухим лабораторным треском свернула молния, гром грохнул с такой силой, будто где-то совсем рядом взорвались пороховые склады.

Дождь на мгновение перестал, а потом хлынул сплошной стеной, «проливным потоком», как пелось в одной песне из дядиного репертуара. Вода бурлила, вскипала, шипела, земли не стало видно от взрывов миллиона брызг — такой дождь возвращает горожанам утраченное чувство природы и ее стихий, он пронисает не только по улицам, но и по закоулкам человеческой души, на его стремительной воде выплывают из потаенных глубин запечатленные, но не осмысленные изумительные картины раннего детства и такого же огромного всеобъемлющего шумного дождя. Вдруг возникают в перспективе улицы чуть наклонившиеся набок силуэты двухэтажных троллейбусов, и бурю воды, мощных, как морская волна, несется вниз по переулку навстречу такому же бурну с другой стороны улицы, и ноги, де-да, ноги—подожвы, пятки, икры — сами по себе, в силу атомистической остаточной памяти, начинают ощущать плеск дождевой воды, и глубину внезапных луж, и холод выжужженного стремительным потоком бульканья.

После грозы необычайная свежесть проникла в палаты, вытесняя на время извечные больничные запахи. Свежесть майской листвы и майской, не кошенной еще травы, свежесть дождевой воды, ручьями бегущей по асфальту, свежесть наступающей ночи — вся свежесть мира, омытого дождем, дуновением ветра заносилась в окно, возле которого полсидели после операции дядю.

Он ощущал эти запахи и легкий ветер ощущал на своих щеках; он понимал, что наступает майская ночь, короткая, полная шорохов и поздних шагов. В такую ночь нельзя спать, надо стоять у окна и смотреть, как светлеет воздух. А потом надо взять аккордеон — он оказался почему-то необыкновенно тяжел, ну да ничего, бог с ним, — и выйти на улицу под старые липы и клены, и заиграть тихо-тихо, чтобы не разбудить тех, кто спит, а только навевать им прекрасный и печальный сон, тот самый, после которого на щеках останутся слезы и невозможно вспомнить, что тебе снилось, потому что не событие снилось, а состояние. Вот он и заиграл что-то любимое и давно ему известное, но почему-то теперь неуловимое, ускользающее из сознания. Там не менее ему казалось, что играет он сейчас, как не играл никогда в жизни — словно не аккордеонные клавиши перебирал, а неведомые кланы своего существа; откуда ни возьмись, появились перед его взором Лелино окно, и занавеска, как всегда, щемяще выдвинулась наружу, и колебалась, и вилась в ритме его музыки. Он пошел к этому окну, оно приближалось, но очень медленно, он никак не мог его достичь и все яростнее нажимал на басы, словно мог этим способствовать движению. Окно, наконец, оказалось совсем рядом, он тянулся к нему, он заставлял аккордеон разливаться и греметь, он ловил губами воздух и запрокидывал голову. Занавеска уже попадала ему на лоб и застилала глаза, он уворачивался, сбрасывая ее движением головы, он изо всех сил выгибал шею... Там за окном оказалось его палата, узкая, как пенал, и высокая, сине-белая, с абакуром молочного цвета и высокими койками на колесиках, похожими на самоходные экипажи...

**Д**ядю Митю хоронил весь завод. Стоял душный и пасмурный день, который никак не мог разрядиться дождем. Никто не предполагал, что соберется так много народу, да и должность у дяди была не так заметна, чтобы лежать ему во Дворце культуры — гроб с его телом поставили в красном уголке старого корпуса заводоуправления. Там тесно оказалось даже родственникам, и потому народ собрался в перулке, сбегавшем к реке, — пыльным, перезрелым вновь вырытыми канавами коммуникации. Летняя одежда — ковбойки, распахонки, сарафаны, ситцевые платица — местами наводили на мысль о даче, о загородной масовке, о футболе в Лужниках. Сначала это даже обижало, но потом я подумал, что в этом, быть может, есть неожиданный высший смысл: дядя был веселым человеком, и официальные церемонии с торжественными речами и процессиями не подходили бы к его последнему пути.

На заводе начался обеденный перерыв, и толпа в перулке увеличилась — среди теннисок и ковбоек траурными пятнами затемнели сплетники и промасленные халаты: дядя, наверное, и не предполагал, насколько велика после того майского вечера сделалась его популярность на заводе. Собрался оркестр — не профессиональные музыканты приличные и к чужому горю и к казенной патетике нынешних попсовых хорон, а свой же, завод-

ской; у трубачей — токарей, модельщиков, лекальщиков — были вовсе не музыкантские, а узловые, тяжелые руки с синевой взвешего металла возле ногтей, и лица их не были отмечены какой-нибудь, хоть самую незначительной богемною печатью; нет, это были совсем обычные, негордые, будничные лица притерпевшихся к жизни людей: пожилые и юношеские, каких полно в любом троллейбусе, в любой электричке. Но когда вынесли гроб, оркестр заиграл вдруг с такой наивной и пронзительной грустью, на какую, конечно же, не способны заказные оркестранты, штатные исполнители шопеновского марша, унылые тамбурмажоры смерти. Я не знаю, кто уж их надуумил, может быть, они сами догадались, потому что все-таки знали дядю, во всяком случае, не похоронный марш заиграли они, а вальс «На сопках Маньчжурии», вовсе не современный и даже анхроничный уже, как пролетка среди автомобилей, не траурный, а ностальгический, навевающий воспоминания обо всем, что было и чему не случилось быть, — и оттого особенно грустный: всякую жизнь оведал он печально, а не только ту, что кончилась.

Маленький дядин гроб слегка покачивался на широких ладонях и костистых плечах, он плыл над непокрытыми головами — русыми, черными, лысоватыми и седыми, причесанными без претензий и косяк постриженными, — он, как лодка, то слегка нырял носом, то немного запрокидывал этот нос, волны вальса накатывались несясьжаемым напором геликонов и труб, и можно было подумать, что именно музыка несет это сосновое неверное суждение в тот мир, где текут неведомые, все поглощающие воды. Именно музыка, — с нею дядя Митя был неразлучен всю недолгую жизнь, — она сама его выбрала, и жила в нем, и поглощала все его душевные силы, ничего взамен ему не обещая. Дядя лежал среди цветов в лучшем своем костюме, том самом, купленном в распродажу в неясном расчете на выступление, — и невидящими прикрытыми глазами смотрел в московское небо, до которого совсем недавно он мечтал дотянуться с помощью своего аккордеона.

Толпа, выбравшись из переулков, ненамеренно заполонила мостовую, разлилась на мгновение, как запруженная река, застопорила уличное движение. Прохожие и пассажиры троллейбусов, высунувшись в окно, тревожно внимают надрывающим душу звукам оркестра, почтительно спрашивали:

— Кого хоронят?

Самый тон их вопроса давал понять, что они уже составили представление о каком-нибудь важном и знаменитом покойнике. Любопытным не знали, что отвечать: сказать, что заводского бухгалтера — значит ничего не объяснить, а объяснять подробно не было времени. Я подумал, что и сам бы не смог вот так однозначно удовлетворить естественное любопытство прохожих. В самом деле, что можно было сказать? В это время сзади ответили:

— Артиста. Артиста хороним, — и через некоторое время, вероятно, на вопрос — какого? — ответили еще раз, громко и отчетливо: — Настоящего!

Я обернулся, я хотел увидеть того, что, сам того не ведая, дал пронзительно верный, исчерпывающий полный ответ, в рамки которого укладывалась вся дядина жизнь, весь ее сокровенный смысл. Я изо всех сил вывернул шею, стараясь при этом не путаться у идущих за мной под ногами и не задерживать движения, но так и не различил говорившего, я разглядел лишь лица, много лиц, знакомых мне, но мне известных и понятных, всю жизнь меня окружающих, отмеченных той единою благой скарбью, которая всегда сближает и рождает людей.

**В** юности я был уверен в неизбежности счастья. Того, которое ожидает, так сказать, все человечество, и своего собственного. Трудно сказать, откуда, из каких таких предзнаменований происходила эта замечательная уверенность. Временами меня ни с того ни с сего охватывало прямо-таки предощущение счастливых событий, свершений и перемен, я верил в них слепо и безоглядно, точно так же, как в бесконечность собственной жизни. Другие умирают, но меня это не касалось, меня это не может коснуться!

Вероятно, зрелость в том и заключается, что конечность твоего бытия делается однажды очень конкретной, а недостижимость счастья, тоже очень конкретной, перестает пугать. Меня она еще еще пугает. Даже не пугает, а обижает — я еще верю, я не потерял надежды. Я мельтею, я пытаюсь вернуть то опьянение жизнью, в котором прошла моя юность, я ленивски цепляюсь за внешние, почти неуловимые признаки того состояния. Мне позарез нужен запах весны и запах снега, мне нужна бывает рассеянная улыбка незнакомой встречной женщины, может быть, просто сопутствующая ходу ее мысли, не обращенная ни к кому, но, может быть, и ко мне обращенная, и больше всего мне нужен теперь аккорд дяди Мити. Вот ведь какое дело — столько лет я вполне без него обходился, я о нем не думал, я даже посмеивался над ним снисходительно, вспоминая в обществе ироничных знакомых простодушно свое детство, а теперь мне его не хватает, в груди образовалась пустота, которую не заполнят никакие фестивали и никакие пластинки, огромные, как колеса, в твердых лакированных конвертах.

Я все хожу по городу и по привычке вслушиваюсь в его голос. В шуршание шин, в слова прохожих, в девичий беспринципный смех возле стеклянной парикмахерской, в цоканье фишек домино на скверке, в крик матери, зовущей сына из окна шестого этажа, в назойливый визг транзистора, болтающегося на кожаном ремешке, в переливы роля, доносимые ветром из невидимого мне квартала, в вопли бегущих мальчишек, в стук ночных клубков... Мне все кажется, что надо быть готовое, что чутким и осторожным ухом я вдруг уловлю знакомые с детства звуки, долгое время служившие мне символом музыки и поныне оставшиеся символом искусства, звуки, являвшиеся на свет из-под дядиных пальцев и разносившиеся по московским дворам, переулкам и улицам, помогавшие жить и надеяться. Не может того быть, чтобы они совсем пропали, не может быть, чтобы их разнесли взбредшие вместе со старыми домами бестрепетные бульдозеры, — они есть, они прчутся где-нибудь под сводами подворотен, в ветвах старых лип, в слуховых окнах чердаков. Они есть, потому что есть Москва, потому что Москва без них невозможна и счастье невозможно тоже.

Я не знаю точно, в чем оно состоит. Я только гадаю, что есть люди, которые умеют его создавать из ничего, из осеннего воздуха, из апрельской капели, из занавески, колеблемой сквозняком.

Вероятно, и мой дядя был таким человеком. Его разсыкивают теперь «красные сладопыты» из школы, где он учился. Они очень юны и не знают, что война может догнать человека через двадцать лет после окончания. Они уверены в бесконечности своего существования и бредят электрической гитарой, на которой играет в школьном дворе один веселый старшекласник.

## Станислав Куняев



На пустынных просторах Сибири  
мы встречали холодные зори  
и дыханье рассветов любили  
за охоту, что плуще неволи.

Полыхали цветы, отцветая,  
ожидая пришествия снега,  
и свистела утинная стая,  
улетая в тунгусское небо.

Глухари осторожно кормились  
на кровавых брусничных полянах,  
облака над Кучёмой теснились,  
словно души племен безымянных...

Что нам время, когда между нами  
и землей — столько связи извечной,  
что ручей из лесной глухомани  
прямо в Путь выливается Млечный!

### Март

Кое-где в золотом сосняке  
чуть белеются россыпи снега.  
Мальчик звонко кричит вдалеке —  
меж стволов рассыпается эхо.

Но от голоса ты откажись,  
притворись неживым, бездыханным —  
ч услышишь, как движется жизнь  
по ручьям, по оврагам туманным.

Ах, так вот она, вечная суть,  
кенный искус старинного дела:  
слейся с миром, себя позабудь...  
Слышишь! — жизнь сквозь тебя пролетела!



Заснуть и проснуться другим —  
как некогда, чистым и юным,  
чтоб пеннелся розовый дым  
и таял в сиянии лунном,  
чтоб в теле струился то жар,  
то холод вечернего мая.  
А ты на свиданье бежал,  
судьбы своей не понимая.



В расцвете сил, в разгаре лет,  
в лесной глуши, под сенью крова,—  
но призрак юности нет-нет  
да выплывает со дна мирского,  
как отдаленный птичий крик,  
как лепет памяти бессвязный,  
как постаревший женский лик,  
когда-то юный и прекрасный!  
Мир призраков... Он с каждым днем  
все необъятнее, все шире,  
и мы когда-нибудь уйдем  
и обживемся в этом мире,  
чтобы к кому-то приходиться,  
кому земные рамки тесны,  
и чью-то душу беречь  
возникновением из бездны.



Синие звезды меж черных ветвей,  
черные ветви среди белого снега...  
Сколько ни думай о доле своей,  
не оторваться от почвы и неба.

Не уклониться от милой тоски  
и от крещенского холода свыше.  
Медленно тянутся к небу дымки,  
нежно связуя созвездья и крыши.

Лоси ушли из окрестных лесов.  
Озимь погибла, и вымерзли реки,  
и не услышишь живучих клевет,  
коль воробьи уползли под застрехи.

Только один красногрудый снегирь  
щелкает семечки, царствует волюю,  
благословляет морозную ширь,  
напоминает промерзшему полю:

— Надо терпеть! Недалеко февраль!  
Скоро нагрянут весенние весты,  
и запотеет прозрачная даль,  
и потускнеет сверканье созвездий!

### Из дневника 50-х годов

I

Храня в душе счастливый жар,  
он шел упругими шагами  
так, что дощатый тротуар  
скрипел и гнулся под ногами.

Он шел в таежный леспромхоз  
иль на завод авторемонтный,



или в заброшенный колхоз  
походкой целеустремленной.

Он молод был и потому  
так полюбил ходить по шапам,  
что мир дышал в лицо ему  
мазутом, деревом, металлом.

И потекли за днями дни,  
и потянулись дни за днями,  
и станционные огни  
слились с небесными огнями.

В те баснословные года  
работа уплотняла сутки,  
сбивались в узком промежутке  
машины, сани, поезда,  
деревни, спутники, попутки.

Он счастлив был. Лишь иногда  
тоска сверлила монотонно  
его предсердие, когда  
он возвращался из района.

Когда ногами в феврале  
мели обильные метели,  
и вырастали во дворе  
сугробы — не откроешь двери.

Он дверь лопатой отрывал,  
как в склеп, входил в свою каморку,  
лучиной печку разжигал  
и чуть не плакал втхомолку.

Вскрывал консервы. Кипятил  
грузинский чай. Глядел на фото  
и, ежели хватало сил,  
усаживался за работу.

А чаще, плюнув на нее,  
в каких-то нескольких мгновений  
он погружался в забытьё —  
в целебный сон без сновидений...

II

Потом приехала она,  
он бормотал слова при встрече,  
и виделась одна луна,  
как обнимал ее за плечи,

как иней на ресницах цвел,  
как шубка при луне сверкала,  
когда ее он к дому вел  
по узкой тропке от вокзала.

Они гуляли по ночам,  
метель гуляла по застрехам,  
прислушиваясь к их речам...  
Глаза и губы пахли снегом.

В полночь город вымирал,  
как бы в средневековые раннем...  
Он руки ей отогревал  
своим прерывистым дыханьем.

Сняли окна в блестях льда,  
сверкали звезды над Тайшетом.  
Он счастлив был. Но вся беда,  
что не подозревал об этом...

## Морис Ноцхишвили



Перевел  
с грузинского  
Я. ГОЛЬЦМАН

✪

Кануло, и след простыл.  
Годы — скатертью.  
Я давно тебя простил,  
Клянусь матерью.

Сломаны течением лет  
Крылья за плечами.  
...Никакой обиды нет,  
Никакой печали.

Меркнут посреди камней  
Светляки ночные.  
...Ты уже не спишь мне —  
Отоснилась ныне.

Градом выбило листву,  
Скрыло заметью.  
...Я тебя не позову,  
Клянусь памятью.

## Воспоминание о друге-солдате

— Странно!  
Там зарыдают —  
Тут испуганно вздрогнут.  
— Зачем плакучая ива  
На цыпочках, не дыша,  
Глядит на вершины отрога  
Из зарослей камыша!  
— И почему так строго  
Судишь меня, душа!  
— Странно!  
Там холодает,  
А я дрожу у огня.  
Где-то метелица,  
А наши луга завяли.  
— И почему, скажите,  
Так подкосил меня  
Круглый кусок свинца,  
Которым в него стреляли!

## Теперь и потом

— Ты просыпаешься! Что это значит!  
— Женщина стонет. Ребенок плачет.  
— Сердце, сердце, да что с тобой!  
— Заторопилось. Потом — перебой...

— Сердце, тебе не уснуть, поверь.  
Так принимай и песню и сон.  
Неутомимо бодрствуй теперь.  
Кто же разбудит тебя потом!

## Вадим Ковда



Над лужей пар колеблется, струится.  
Земля вконц грибами изошла.  
Какая-то неведомая птица  
костер из звуков в рощице зажгла.

Зеленое кругом и золотое.  
Осенний мир зелено-золотой.  
Спокойное кругом, немолодое.  
И я спокойный и немолодой.

А запахи так терпки, так душисты  
от мхов, от прелых листьев, от травы,  
что радость ощущается от жизни  
и легкое круженье головы.

А там на небе синева такая,  
и ясность, и безветрие, и тишь,  
что смотришь, мир впервые постигая,  
всего лишь смотришь, смотришь и молчишь.



Я люблю не за то, что лучшая,  
не за шелест твоих берез...  
Я люблю, потому что мучилась,  
много крови лила  
и слез,

и ракетами  
и балетамн  
прогоржусь, сколько хватит сил.

Только я бы мог  
и без этого —  
все равно бы тебя любил.

Даже скудную и холодную,  
даже в горе — не сохру:  
я б любил тебя — просто Родину,  
где родился и где помру.

## Прекрасный птах

Спускались хлопья темноты  
с пустеющих небес испепеленных.  
От криков птицы падали листья  
с толпящихся вокруг берез и кленов.  
Прекрасный птах — он пел среди ветвей.  
Он пел. Его гортань не уставала.  
И над могилой матери моей  
та песня добрым ангелом летала.  
Он громко пел, невзрачен и убог  
[лишь глаз горячий кровью наливался].  
И слышал я такой высокий слог,  
который мне ни разу не давался.  
Такие звуки щедрые дарил,  
так булькал, свистел и надрывался,  
что я его как мог благодарил  
и за него, за глупого, боялся.  
И каждый звук, весом, упруг и смел,  
соскальзывал, в нутро мне проникая.  
Прекрасный птах так иступленно пел,  
что слышала моя душа глухая...  
Как столько звуков выдумать он смог!  
Как в его горле столько поместилось!  
Прекрасный птах, он пел, как птичий бог.  
Он пел, и ничего с ним не случилось...  
Он пел и никого не замечал.  
Пел, ничего не требуя в награду.  
Что пел! Зачем! Да он и сам не знал.  
Он просто пел. Наверно, так и надо.

## Воспоминание о любви

Окончилось все, не начавшись.  
Чуть вспыхнув, сгорело дотла.  
И жизнь моя, чуть покачавшись,  
по прежним путям потекла.

И вновь с потаенною болью  
гляжу я во тьму и на свет.  
Того, что считается солью,  
как не было, так и нет.

Лишь маленюкой зыблемой частью  
души мне дано ощутить  
негромкое верное счастье  
на свете родиться и жить.

Но жить без высокого звука,  
пронзавшего каждый мой миг...  
Ну что ж, проживем друг без друга.  
А чем же мы лучше других!



Сергей  
ДОВЛАТОВ

# ИНТЕРВЬЮ

РАССКАЗ

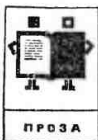


Рисунок  
И. БРОННИКОВА

**М**олодой журналист, корреспондент многотиражной заводской газеты, надел шерстяную вязаную кепку, застегнул воротник плаща и вышел на улицу.

Стояла осень с дождями и туманами, с грязной, потемневшей листвой у края тротуара, с неоновыми бликами на мокром асфальте, с пугливым солнцем, высоким и слабым, когда непонятно, то ли зима уже позади и солнечные лучи становятся все надежнее среди быстрых облаков, то ли кончилось лето и серые тучи все плотнее заслоняют от нас последний свет...

Корреспондент любил сырую балтийскую осень и немного гордился этим чувством, которое требовало от него известной доли самоотречения. Ему было приятно ощущать себя человеком, созданным для трудных чувств.

«Красота должна сопротивляться,— формулировал молодой газетчик,— пыльный куст у дороги мне милее голландских тюльпанов, которые бесстыдно выставляют напоказ свои яркие краски. Мне чужда знойная прелесть Южного берега Крыма, мне претят архаические красоты старого Таллина, так же, например, как живопись Куинджи, сияющая фальшивыми драгоценностями, или даже музыка Шопена, столь удобная для любви. Мои кумиры — неуклюжий, громящий заржавленными досками Бетховен, вечно ускользающий создатель Тристама Шенди, безжалостный, мертвенно-зеленый Брак...»

В Голландии знакомый наш не был, в Крыму побывал лет десять назад, Бетховена и Шопена толком не слышал никогда, но умудрялся живо судить о вещах, ему почти неведомых. Эта черта немного смущала корреспондента, но постепенно он с ней примирился, видя в этом проявление артистизма, свойственного ему как человеку пишущему.

Но ленинградскую осень он действительно любил. Ему нравилось поднимать шуршащий воротник плаща, ему нравилось прикуривать, заслонив ладонью огонек от ветра, ему импонировало движение, которым встречные женщины убирают мокрые волосы со лба...

Корреспондент пересек двор с бездействующим фонтаном, прошел вдоль газонов под ветками, миновал высокую больничную ограду, помяддил на троллейбусной остановке, где со скрипом качалась жестяная табличка, и зашагал на работу пешком, взглядывая в тусклый сентябрьский беспорядок.

На перекрестках теснились автомобили, сизые голуби неохотно уступали им дорогу, взлетая из-под самых колес. Небо было четко разлиновано трамвайными проводами, в серо-голубом пространстве между крышами, как на телеэкране, проплывали облака.

Первая сутюлка рабочего утра сплзла, газетчики обгоняли полупустые автобусы и трамваи, навстречу шли женщины с хозяйственными сумками. Он свернул в переулок, обогнул старую церковь с грудой густых почерневших ящиков перед входом, вышел на бульвар.

Заводские корпуса возвышались над кварталом. Их геометрические очертания спорили с вздорной пестротой двухэтажных домов, газетных киосков, овощных палаток, и даже здание церкви казалось легкомысленным на этом строгом фоне.

Редакция помещалась неподалеку от заводских стен, в двухэтажном доме с потемневшим от дождя и снега фасадом. Когда-то здание было жилым, а

теперь в нем разместились вспомогательные подразделения завода — отдел технического обучения, АХО и редакция заводской многотиражки «Сигнал».

Журналист достал газеты из почтового ящика, поднялся на второй этаж и, отыскав под ковриком ключи, распахнул дверь. Взлетели бумажки со столов, дрогнули шторы на окнах.

Положив свежие газеты редактору на стол, он сел, вытянул ноги и достал первую в этот день сигарету. Сразу же немного закурилась голова и, как обычно, слегка испортилось настроение.

«Я ненавижу беспорядок с детства, — думал он, — так почему же вместо того, чтобы прибраться, я сижу и тупо взираю на весь этот бумажный хлам? Может быть, в русском человеке заложено от природы? — обобщил он. — Взять хотя бы персонажей горьковской нощлежки. Они без конца рассуждают, травят бедную Настю, вместо того чтобы подмести, побелить стены и вообще немного благоустроить свое жилище. Впрочем, я и сейчас рассуждаю, вместо того чтобы взяться за дело. Как часто слова извabiaют нас от необходимости взяться за дела! — подытожил наш герой.

Он встал и подошел к окну. В ворота дома напротив въезжал грузовик. В кузове его громоздилась мебель, сияло овальное зеркало, привязанное к шкафу, стулья торчали ножками вверх, покачивал твердыми листьями фикус.

— Хоть бы снег пошел, — вслух произнес журналист, — хоть бы снег пошел!

...Шеф кинул на стол берет с коленикорковым ромбиком на подкладке, снял плащ.

— Привет, — сказал он, усаживаясь, — как настроены?

— Так себе, — буркнул корреспондент.

— Отлично, — не вникая, произнес шеф, — отлично. Пора браться за дело. Вот с чего мы начнем. Разыщи в четвертом цехе Горелова и возьми у него интервью. Это молодой член партии, ударник коммунистического труда, представитель рабочей династии, спортсмен и вообще мужик хороший. Твой материал запланирован в очередной номер. Должен лежать на столе не позднее чем в среду утром. Условное название: «Портрет героя». Объем — строк двести. Меньше звона и фанфар, сейчас это не модно. Побольше теплоты и убедительных фактов. Человечинка нужна, ты меня понял? Запиши на всякий случай: четвертый цех, Горелов Павел, молодой коммунист, ударник, спортсмен, потомственный рабочий. Такова общая схема. Ну, действуй! Что это у тебя на лице?

— Раздражение после бритья, — вяло ответил наш герой.

— А-а, ну ладно. Вопросов нет?..

...Корреспондент положил в карман авторучку, блокнот и зашагал к проходной, купив по дороге импортные сигареты в целофановой обертке.

Около металлического турникета стоял вахтер. На боку у него висел старинный парабеллум в черной исцарапанной кобуре. Вахтер долго разглядывал новенький зеленый пропуск.

— Ладно, пусть, — терпеливо думал корреспондент, — человек с пистолетом на боку обязан взвешивать каждый свой поступок.

— Тут у вас борода, — сказал наконец вахтер, — а в натуре ее не видать. Расхождение. Постойте здесь.

— Пока борода не вырастет? — спросил журналист.

Через минуту пришел начальник смены с пелти-

цами на вороте, лысый, взглянул на фото, потом на оригинал.

— Пропустите, — сказал он вахтеру, — но впрямь, молодой человек, старайтесь придерживаться единого стандарта во внешности. И запомните на будущее: каждый сознательный гражданин после шестнадцати лет несет ответственность за свой внешний облик. Не говоря уж о внутреннем, — веско добавил он и вдруг подмигнул, уходя...

Навстречу шли пары в ковбойках и джинсах, нейлоновых сорочках и галстуках, белых халатах и спортивных куртках, девушки в коротких юбках, ярких кофточках, с модными прическами. Между прочим, и бороды попадались.

— Как пройти в четвертый цех? — спросил журналист одну из девушек, рыженькую и не по сезону веснушчатую.

— А мы как раз туда идем.

— Мне нужен Горелов.

— Горелов всем нужен, — без улыбки произнесла она, и корреспондент тотчас же записал эту фразу...

— ...Здравствуйте. Вы Горелов?

— Ну, я.

— Хочу задать вам несколько вопросов.

— Что ж делать, задавайте.

— Вы чем-то недовольны? Я не вовремя пришел?

— Слишком много корреспондентов. После одной статьи меня целый год Икарсом дразили. Перед ребятами неловко. Вы бы к Трофимычу обратились или к Райко.

— Но редактор направил меня именно к вам.

— Я понимаю.

— Тогда приступим. Как вас зовут? Ах, да, Павел. Вы можете отвечать на мои вопросы, не прерывая дела? Все это займет минут двадцать.

— Попробую.

— Я думаю, нас не слышат. Тут довольно шумно.

— А почему нас не должны слышать?

— Что вы настроены серьезно? Просто так удобнее.

— Ладно. Поехали.

— Как называется ваша профессия?

— Настраиваю телефонной аппаратуры.

— Требуется ли она высокой квалификации?

— В общем, да.

— Какой у вас разряд?

— Шестой.

— Это высокий разряд?

— Да, самый высокий у нас.

— Но начинали-то вы с азов?

— Естественно.

— В чем заключается ваша работа?

— Я слежу за тем, чтобы блоки действовали в нужном параметре.

— Как это понимать? Извините, я в технике не силен. Получил строго гуманитарное образование.

— Наш завод выпускает координатные АТС...

— Что значит координатные? Хотя ладно, бог с ним...

— Давно работаете в газете? Или мне не полагаются задавать вопросы?

— Три дня, если вас это интересует. Я понимаю, что рано или поздно придется осваивать все эти тонкости.

— И я так думаю. Хорошо, можно проще. АТС состоит из многочисленных сложных приборов. Я настраиваю их таким образом, чтобы электрические параметры соответствовали норме. Вы опять ничего не поняли?

— Меня главным образом интересует психологический аспект вашей работы.

— В дом приходит настройщик роялей. Его задача состоит в том, чтобы все ноты звучали, как им положено. Он подкручивает всякие там гайки до тех пор, пока музыкальные параметры не будут соответствовать норме.

— Ясно. Как я улавливаю, ваша профессия близка к понятию «слушающий»?

— Нет. Мы рабочие. Это рабочая профессия.

— В чем же вы видите разницу?

— Трудно сказать. Мы не служим, а работаем.

— Довольно туманно. Вы не любите служащих?

— Ничего подобного. Просто я рабочий.

— В чем же все-таки разница? На вас халат, педрами приборы. Чисто. Похоже на лабораторию.

— Ничего общего. Мне трудно объяснить. Мы работаем руками. Делаем вещи...

— Создаете материальные ценности?

— Во-во.

— Вы любите свою работу? Только говорите правду.

— Между прочим, я говорю правду, даже когда меня об этом специально не просят.

— Извините. Что же вас в ней привлекает?

— Я люблю приборы, люблю точность. Когда начинал, то было все равно. А сейчас имеется некоторый опыт. Мне кажется, если умеешь что-то делать, то начинаешь это дело любить.

— И не надоедает?

— Как может надоесть хорошая работа? Надоедает конвейер, надоедает халтура.

— Стоп. Вы против конвейера? А знаете, что сказал на суде Генри Форд по этому поводу? Когда автомобильный король Генри Форд внедрил конвейер, американский суд привлек его было к ответственности за антигуманизм. И вот Генри Форд заявил на суде, что ему искренне жаль человека, которому для работы необходима атмосфера удобства и симпатии. Что же вы в принципе думаете по этому поводу?

— Я не умею думать «в принципе». Я не министр и не начальник Главка. Давайте говорить о конкретных вещах. Конвейер — это реальность. На нашем заводе есть цеха, где без него не обойтись. Но это работа не по мне, хотя и высоко оплачивается. Туда идут в основном люди без квалификации. Если у человека голова на плечах, он через год осваивает хорошую специальность и, как правило, уходит с конвейера. Такая же картина у подсобников. Ведь у нас еще много участков, где используется ручной труд.

— В том числе и тяжелый физический?

— Да, к сожалению. Нас и в «Правде» за это ругали.

— А говорят, физический труд полезен, развивает мышцы и так далее.

— Чепуха. Если и развивает, то односторонне. На это есть спорт. Когда-нибудь с черной работой будет покончено. А с Генри Фордом мы по-разному смотрим на вещи. Он хочет сказать, как я понял, что работа в тяжелых условиях закаляет человека. Это бред. Конечно, никому не нужен труд, как говорится, «не бей лежачего». Хорошему футболисту неинтересно быть по пустым воротам. Если коллекционер завалил марками с ног до головы, он перестанет их собирать. Хорошему, квалифицированному мастерскому нужна серьезная работа, требующая усилий, напряжения, такая, где он может себя проявить, но не изурительная...

— Извините, «мастерской» — это распространенное выражение?

— Не очень. Но мне оно нравится.

— Мастер лучше.

— Мастер — это должность.

— Не только. Например: «Мастер своего дела».

— Звучит нескромно.

— Впрочем, мы отвлеклись. Поехали дальше. Осалось еще минут десять...

— Нет, погодите. Вот, скажем, я осваиваю новый прибор, ломаю голову, сижу тут допоздна, и, наконец, работа сделана. Такое напряжение дает эффект, приносит пользу и у-до-вле-тво-ре-ни-е. Ну, а если человек с утра до ночи драит шабером железную болванку, когда это можно сделать на шлифовальном станке? После этого одно желание — напиться.

— Ясно. Простите, что это за штука?

— Магазины сопротивлений.

— Значит, вы склонились над магазином сопротивлений?

— Вроде бы склонился.

— Вас, очевидно, можно сравнить с хирургом, который щупает у больного пульс. Могу я так выразиться: «Напряженный пульс прибора?»

— Почему бы и нет?

— Что вы смеетесь?

— Да уж очень красиво.

— Пусть этак вас не волнует.

— Не обижайтесь. Я же пошутил. Вам видней.

— Опишите, пожалуйста, одну из производственных операций.

— В общем, так. Тут лежат приборы, которые я должен настроить. Ну, например, кодовый приемник. Подключаем его к проверочной схеме, которая имитирует работу станции, то есть прибор как бы оказывается в системе и режиме АТС. Если прибор не дышит...

— Минуточку. «Не дышит» — это специфическое выражение?

— У нас так говорят.

— Извините. Дальше.

— Если прибор не дышит, вы начинаете искать дефект. Видите, тут до черта проводов. Какой-нибудь из них неверно припаян. Берете схему, проверяете монтаж. Сейчас я вам эту схему покажу. Куда же я ее сунул? Вообще-то я работаю без монтажной схемы.

— Вы хотите сказать, что на глаз определите, в чем неисправность?

— Не только я так делаю, все, у кого есть некоторый опыт. На худой конец имеются показательные образцы, вот ты по ним и ориентируешься.

— Это признак высокой квалификации?

— В общем, да. Но так многие делаем.

— Понятно. Дальше.

— Неходишь дефект, монтируешь, как положено. Бывает, что прибор немного врет. Например, в точке А напряжение пять вольт, а тебе нужно восемь. Выпавшая сопротивление в тридцать килоом и ставишь на это место тридцать шесть. Вам не скучно это слушать?

— Вы за меня не беспокойтесь. Что значит килоом?

— Единица сопротивления.

— На манер киловатт?

— Во-во, примерно.

— Впрочем, что такое киловатт, я тоже нетвердо помню. Ладно, бог с ним. Продолжайте.

— На чем мы остановились? Иногда смотришь, пайка чистая, а контакта нет. Между прочим, у нас говорят: «пайка чистая, как слеза».

— Что-что?

— Мне показалось, вас интересуют образные выражения.

— Вы очень любезны. Мы остановились на том, что контакта нет. Что же вы предпринимаете в таком случае?

— По-разному. Иногда нервы не выдерживают. Как начнешь пинцетом дергать за все концы!

— И помогает?

— Редко. Еще существует проверка «на дым».

— Это еще что такое?

— Включаешь схему — дым идет.

— То есть брак?

— Вот именно.

— У вас, наверное, есть какие-нибудь профессиональные секреты?

— Нет, мы ничего друг от друга не скрываем.

— Но есть же какие-то тонкости, производственные тайны?

— Ну, например, возился я целый день с одним прибором. Не работает мой прибор...

— Не дышит...

— Вот именно, не дышит. Я и схему перебрал и перепаял все от и до. Что делать? Тут я психанул да как трюху его об кафельный пол. Потом думлю, нехорошо так с народной собственностью обрщаться. Подымаю его, на стол кладу. Включил еще раз схему. Надо же, заработал, подлец!

— Любопытно.

— Да вы не записывайте, это не для печати.

А то достанется мне за прогрессивную технологию.

— Ладно. Вычеркиваю. А это что такое?

— Стеллаж.

— Нет, вот эти круглые штуки.

— Это термостаты.

— Для чего они?

— Некоторые приборы с ферритовыми элементами надо как следует прогреть, испытывать теплом. Например, катушки индуктивности.

— Ясно. То есть ничего не ясно...

— Катушки индуктивности служат...

— Не будем углубляться. Постепенно освою. А это что лежит в термостате?

— Осторожно, это мой завтрак.

— Почему же вы не ходите в буфет?

— В очереди не люблю стоять... Так, с производственными тайнами вопрос как будто ясен...

— Почему замолчали? Кто это приходил?

— Да так, инженер из ОГМ, Махаев.

— Что он за личность?

— Я же говорю, инженер ОГМ.

— По-моему, вас что-то расстроило. Вы, конечно, можете не отвечать...

— Нет такого вопроса, на который я не захотел бы ответить.

— Этот человек вам не нравится?

— Да, не нравится.

— Это имеет отношение к производству? Я не для печати спрашиваю, а для себя.

— Имеет. Хоть бы и для печати...

— Могу я узнать подробности?

— Почему бы и нет?

— Впрочем, мы забегаем вперед. Давайте покончим с первым вопросом, а к этому делу еще вернемся. Итак, если я вас правильно понял, вы не жалуете, что стали рабочим?

— Конечно, нет.

— Простите, сколько вы зарабатываете?

— В среднем — двести, иногда — до двухсот пятидесяти.

— Ого, инженер, я знаю, получает меньше.

— Да, в среднем.

— То есть материальный фактор играет свою роль. Я имею в виду денежный стимул. Вам нравится эта работа еще и потому, что она вас хорошо обеспечивает?

— Это сложный вопрос. С одной стороны, конечно. Я человек семейный. Потребности, как говорится, растут, да и вообще ненавижу пустые карманы. Но вот один пример. Есть у нас на заводе такая профессия — мойщик деталей. У тебя специальный барабан, наполненный керосином. Ты опускаешь туда грязные детали и вертишь ручку, вот и все. Гарантия — триста рублей. Но никто больше месяца на этой работе не выдерживает. И денежный стимул не помогает. Человека не может делать работу, которая глупее его...

— Кажется, мы снова отвлеклись.

— Как раз говорим о деле.

— Время-то идет, а я, в сущности, еще и не приступил. Давайте начнем издадека, чтобы с разбега перейти к текущим событиям. Кто вы по происхождению?

— Из рабочих.

— Ваш отец рабочий?

— Нет, инженер.

— Кто же тогда рабочий?

— Я.

— Вы не поняли. Меня интересует ваше происхождение, ваши корни.

— Отец начинал механиком, потом стал инженером. Выбился в люди, так сказать. А дед был рабочим всю жизнь.

— То есть по деду вы из рабочих?

— Ну да.

— Вы помните своего деда?

— Да, мне было двенадцать лет, когда он помер... скончался.

— Он вам рассказывал о себе, о жизни, влияя на вас?

— Рассказывал, наверное, влияя.

— И вы решили стать рабочим?

— Я стал им.

— И не пытаетесь стать техником, инженером?

— Нет.

— Хотелось бы знать, почему? Но мы к этому еще вернемся. Итак, дед вам ближе по духу?

— Как это понимать? Он давно умер...

— Я имел в виду тот факт, что наследственность, по-моему, передается в третьем поколении. Что вы помните из рассказов деда?

— Он работал на этом же заводе еще у Эриксона.

— Вы что-нибудь запомнили из его рассказов конкретно? Какой-нибудь факт, переломный в жизни вашего деда?

— Например, события девятого года... Минуточку, я запишу показания счетчика.

— Так, значит, рассказы деда о «Кровавом воскресенье» повлияли на формирование вашей идеологии?

— Наверное, повлияли.

— Ваш дед был социал-демократом?

— Какое там! Он хорошо зарабатывал у Эриксона и не занимался политикой, во всяком случае, первое время.

— А потом?

— Так вышло, что ему нелегальные книги жизнь спасли.

— То есть вы хотите сказать, раскрыли глаза на мир?

— Не совсем. Он за барышней ухаживал, а та была связана с марксистами. Когда началась забастовка, дед увидел ее на улице в толпе. Подошел, стал приглашать в шапиту. А она ему дала какие-то сильные брошюры. Дед их в кепку зяпнул, чтобы карман не отпорывался, — некрасиво. Ну, и пошел вместе со всеми. На царя смотреть. А тут казани возле Троицкого моста. Стрельба началась, паника. Дед говорил: лучше бы я сидел в шапиту. Ротмистр



жандармский ножами его хотел ударить. Дед ему, естественно, в зубы. В это время улан наехал сзади — и паломом... Если бы не эти книжки, то все... А уж потом дед и на баррикадах дрался и в партию вступил...

— В дальнейшем, если хватит времени, я хотел бы подробнее узнать обо всем этом... Про отца вы сказали, что он инженер.

— Так оно и есть.  
— Хороший, знающий инженер?  
— Ничего.  
— Он тоже работает на этом заводе?  
— Да, начальником ПДО в одном из цехов.  
— Что означает ПДО?  
— Планово-диспетчерский отдел.  
— А где работает ваша мать?  
— Она умерла...  
— Вы живете с отцом?  
— Да, то есть раньше жили вместе.  
— А теперь?  
— Месяц назад я переехал.  
— Квартиру получили?  
— Нет, комнату снимаю.  
— Ваш отец завел новую семью? Простите, я, может быть, вторгаюсь в интимные сферы? Если вам неприятно, можете не отвечать.

— Я же сказал, что на любой вопрос, если могу, отвечу... Да, отец женился снова.

— Переезд в какой-то мере обусловлен его жилищной?

— Нет, ведь женился-то он восемь лет назад.  
— Значит, все эти годы вы поддерживали с ним отношения?

— Естественно, почему бы и нет?  
— Кроме вас, у отца есть дети?  
— Сын, в первый класс ходит.  
— С ним у вас как?  
— Нормально.  
— Но в социальном плане вы ближе к деду?  
— Я же вам сказал, он давно умер.  
— Это неважно... Ладно, оставим. Вот вы с иронией говорили о том, что отец выбился в люди.

— Он и в самом деле уважаемый человек.  
— Но между вами есть разногласия? Простите за нескромность...

— Нет, особых разногласий нет. Не припомню... Он за Фрезера болел, а я за Клея.

— Я ведь серьезно спрашиваю.  
— Да и я не шучу.  
— Вам неприятно, что отец покинул рабочую среду?

— Это его дело. К тому же он и сейчас среди рабочих. Жизнь заводского инженера...

— Простите за назойливость, но я чувствую, что между вами есть трения...

— Сейчас что-нибудь придумаем, с ходу. Отец культурный меня. В оперу ходит добровольно. Курит трубку, а я, как видите, «Авророй» балуюсь... Ну, что еще...

— Я не это имел в виду. Ваш дед был простым рабочим. Отец стал инженером. Вы рабочий, то есть пошли в деда. Образовалась прерывистая линия. Разве вам не обидно, что отец занимается административной работой, подписывает наряды, составляет графики?

— Кто-то должен и этим заниматься. Хороший плановик, опытный диспетчер — большие люди на заводе. Это мозг предприятия, центр по сути дела.

— Так. Линия катастрофически выпрямляется. Значит, вы хотите сказать, что грань между инженером и рабочим...

— Я не знаю, что это за грань и надо ли ее сти-

рать, если вы это имеете в виду. Зарботки примерно одинаковые. Образование у многих цеховых инженеров среднетехническое, как и у многих наших рабочих. Только лучшие инженеры создают что-то новое, среди рабочих такая же картина. Дайте нашему знаменитому токарю Жене Богданову голую идею, и он воплотит ее в металле. Так что разница между людьми не в положении, а в том, как относиться к делу...

— Простите, еле успеваю записывать. Можно вопрос не на тему? Ваш отец тоже такой здоровенный?

— Да, когда он лет десять назад узнал, что я курю, то страшно разорался, стукнул кулаком по столу, и кулак провалился в ящик письменного стола.

— Свою мать вы хорошо помните?

— Ну, конечно. Я уж десятилетку окончил, когда она умерла. У нее еще с блокады все это началось со здоровьем. А по характеру она была сильной отца. Тот ведь и драл меня — после войны сами знаете, что за пацаны были, — а я все равно мать одну и боялся или очень уважал, не знаю, как тут выразиться. Между прочим, если бы не она, отец бы вряд ли институт свой закончил. Или вот еще. Он когда с фронта вернулся, начал выпивать. Раз пришел домой под этим делом, другой, третий... Мать взяла меня за руку — и на вокзал. Уехала в Кемерово, к брату. Через два дня отец за нами следом явился и в прихожей на колени — бах. С тех пор он при ней рюмки не выпил. Тоже, видно, боялся или уважал. А году в пятьдесят седьмом мы обмен затеали. Пришли к нам двое квартиры смотреть. То не так, это не так, потом заявляю: «Солнца мало». Отец выслушал это, обнял мать и говорит: «Вот наше солнце». Потом становился в ее присутствии.

— Помедленней, не успеваю записывать.

— Да я уж кончил. Похоронили ее на Георгиевском, зимой. Гроб везли на телегу. Помню черную яму в снегу. Заглянул, а там внизу корни перерубленные, белее... Приехали домой. Отец сел посреди комнаты на стул. В углу ее туфли, лодочки, поясье. В шкафу белье... Первые дни только ночевать домой являлся. А через год женился снова...

— Вы его осуждаете?

— Нет, я даже рад был. Очень за него боялся.

— И не испытывали обиды?

— Это неважно. В пятьдесят лет мужчина не должен быть одином. И не может. А мой особенно. Уж я-то его знаю.

— Второй брак был удачным?

— В общем и целом, как говорится.

— Мне кажется, если мужчина средних лет женится на молодой, то в старости его ожидают, мягко выражась, разочарования.

— Кто сказал, что на молодой? Они с Натальей познакомились в войну под Волковом.

— Фронтвая подруга?

— Это любовная история. Может быть, вы ее даже используете. Дело было так. Отец ротой командовал. Он перед самой войной краткосрочные курсы закончил, вышел оттуда младшим лейтенантом. Ну вот. Затишье на передовой. Дня три. Таксливо, отец говорил. Начальство что-то там планирует, а ты ждешь. Как-то ночью от скуки стал он звонить по телефону. Откликнулась связистка с промученной. Поговорили. Он о себе рассказал, она — о себе. В общем, чуть ли не до утра беседовали. Под конец он спрашивает: «Как звать вашу фамилия?» Она отвечает: «Горелова Наталья». Бывают же такие совпадения. Тут их прервали. И вот через двадцать лет он оказывается в одном небольшом городке, там есть релейный завод, который входит в наше объединение. Его знакомят с диспет-



чером Гореловой. Ну, разговорились. Та говорит, я в этой отрасли двадцать лет, полевой связисткой начинала. Отец спрашивает: «Под Волкомом не были?» «Была». Ну и пошло!.. В результате ей даже фамилию менять не пришлось. Забавная история. Годится для романа?

— Слишком литературно.  
— Вам видней.  
— А вы сами женаты?  
— Да.  
— Дети есть?  
— Дочка.  
— Ваш брак можно назвать счастливым?  
— Вроде бы.  
— Как зовут вашу жену?  
— Екатерина... Катя.  
— Что вас привлекло в этой женщине? Были какие-то интересы, идейные, так сказать, устремления?  
— Она хорошо выглядит.  
— Но ведь это же не главное.  
— Как сказать...  
— Жена вас, наверное, любит?  
— Кажется, любит... с трудом.  
— Что это значит?  
— Я, видите ли, трудный человек. Многие так говорят. Папаша даже слово какое-то выдумал — ортодокс. На «обормот» похоже.  
— Ортодокс — это значит непримиримый или упрямый.  
— Во-во.  
— Видимо, женщинам надо доставлять иногда маленькие радости. Почему бы вам, идя с работы, не купить, ну, например, букет фиалок?  
— А зачем?  
— Вот увидите, как это подействует на вашу жену. Нетерпеливый звонок, она открывает дверь, вы на пороге с цветами. Жена в восторге...  
— Все не так. Я приношу с цветами, отпираю дверь своим ключом, жены нет...  
— Но почему же?  
— Потому что она живет на старой квартире.  
— То есть как?  
— Осталась с моим отцом и с Натальей.  
— Чем же она это мотивировала?  
— Тем, что я идиот.  
— В каком смысле?  
— Малый со сдвигом.  
— То есть вы совершили поступок, который же-на сочла неразумным?  
— И не один.  
— Что же случилось?  
— Ничего особенного. Предложили мне работу в ПТУ... с квартирой, а я отказался.  
— А что за работу предложили в ПТУ?  
— Мастером, настройщиков обучать.  
— Денег меньше?  
— И денег меньше.  
— Но ведь это почетно: готовить кадры, воспитывать молодых рабочих...  
— Я не хочу никого воспитывать. Я сам хочу работать. Для этого есть пенсионеры. У них авторитет, опыт, их скорей слушают. Меня пятилетняя Нюшка и та не слушаете...  
— Кто это — Нюшка?  
— Дочь... Я из цеха уходит не собираюсь. Пусть даже и в отдельную квартиру. Раньше-то мы с отцом в двух комнатах жили, как цари. А сейчас уже шестеро стало нас в этих двух комнатах. А комнаты маленькие, тесно. Отец свою желудку называет. Пойду, говорит, в желудке полежу. Да еще дети. Нюшке пять лет, Ленке папашину — семь. Он ей видите ли, дядей приходится. В общем, жена и начала меня пилить, чтобы я шел в ПТУ... с квартирой.

Работа чистая, в одну смену, при галстук ходить... У нас с жильем давно все это тянется. В прошлом году чуть было не выгорело. Квартиру давали, тип один из брзид меня обошел...  
— Прохвост какой-нибудь?  
— Да я его толком не знаю. Старичок... Но было идти, доказывать... Посмотрел я на его лысину и махнул рукой. Ну, куда с моей-то будкой против старика, неудобно...  
— И не жалевает?  
— Обидно, в общем... Сейчас бы подумал, прежде чем решать.  
— Но факт остается фактом. Вы пренебрегли личными интересами.  
— Вроде бы пренебрег... Дурака сваял. Капитулировал перед лысиной.  
— Но вы испытали моральное удовлетворение?  
— Что-то вроде.  
— А нет ли во всем этом некоторой доли тщеславия? Мол, все кругом будут говорить о моем благодестве...  
— Хотя бы и так. Разве это важно! Лишь бы делать по совести.  
— Слушайте, я уже полчаса с вами беседую, а конца не видно. Не будем отвлекаться.  
— Не спешите. Все равно обеденный перерыв начался. Есть хотите? Мне каждое утро соседка завтрак съед.  
— Симпатичная?  
— Весьма. Ей семьдесят четыре года... Держите. И кофе есть в термосе.  
— Так, значит, вы переехали, а жена осталась? Но что конкретно было поводом для ссоры?  
— Я уж не помню. Летом они хотели Нюшку в санаторий отправить, я не дал...  
— Почему, если не секрет?  
— Санаторий для больных, а Нюшка здорова. Есть нормальные детские сады. У них там какая-то Сима в горздраве...  
— Ну, хорошо. Я все понимаю. Вы коммунист и живете для народа. Но ведь и я народ, и вы народ, и ваш отец народ, и ваша жена тоже. Даже Нюшка, и та народ. Надо же и о них подумать.  
— Надо.  
— Что же будет у вас с женой?  
— Не знаю.  
— Среди моих друзей четверо уже развелись. А начнешь расспрашивать, все говорят, ничего не произошло. Жили вместе, ходили к приятелям, спорили об искусстве, а потом оказались чужими. Один писатель говорил, что люди женятся не потому, что созданы друг для друга, и даже не потому, что испытывают взаимное расположение, а просто случайно оказываются вместе. Как будто невидимая рука выбросила на сукно горсть фишек, и две из них упали рядом...  
— Бросьте, это у голубей такая жизнь. А человек, он может выбирать. Поэтому и ошибиться страшно...  
— И все-таки времена Шекспира прошли.  
— А настоящая любовь и во времена Шекспира была редкостью. Иначе он не сочинил бы Ромео и Джульетту.  
— Но ведь ошибаются люди. Самые умные, самые честные и те ошибаются.  
— Что и говорить, материя тонкая. Тут и в другом человеке нельзя ошибиться и в себе. А ведь о себе мало кто правду знает. Слишком близко предмет расположен, не видно...  
— Послушайте, я все-таки хотел бы знать, для чего приходил этот тип?  
— Лева Мухавев?  
— Да. Вы говорили, что он вам неприятен.  
— Ну его к черту!

— А вы не хотели бы мне обо всем этом рассказать?

— Не хотел бы. Но могу. Тем более что об этом на собрании речь пойдет.

— Когда?

— Сегодня, после чинтырех.

— Стоп. Одну минуточку. Давайте так Покончим с вашей биографией и перейдем к текущему моменту.

— Закуривайте!

— Что вы можете рассказать о своем детстве? Вы, конечно, были пионером?

— Да, был.

— А потом?

— Потом со шпаной связался.

— В каком смысле?

— После войны хулиганья было много. Да и район у нас такой.

— То есть вы хотите сказать, что участвовали в борьбе с нарушителями общественного порядка?

— Нет, я у них на атаке стоял.

— Вот как... И чем же вы занимались вместе с этой, как вы говорите, шпаной?

— Курили, дрались, яблочки воровали со склада...

— Но потом вы преодолели дурные влияния?

— Вроде бы преодолел.

— Каким же образом?

— Опротивело все это... То есть я вдруг представил себя на месте тех, кого мы били, над кем издевались...

— Вам это свойственно?

— Что именно?

— Переживать за других.

— Не знаю. Сколько можно было дурака валять... Мы беседуем уже сорок минут, а я все не могу нащупать, как бы получше выразиться, стержень вашего характера, формулу поведения, что ли... Для хорошего очерка нужен толчок.

— Это уж ваша забота.

— Ну, а как вы относитесь к спорту?

— Ничего отношусь.

— Сами занимались спортом?

— Да, боксом. Выступал в полутяже.

— По какому разряду?

— Я был кандидатом в мастера.

— Почему же не стали мастером?

— У меня были повреждены лицевые связки.

— И это заставило вас бросить бокс?

— Понемногу я работал до последнего времени, а зимой буду тренировать заводскую команду... Кофе не хотите больше? Тогда я убираю все это.

— Среди обывателей бытует мнение, что бокс — это варварская забава, нечто вроде испанской корриды. Что вы на это скажете?

— Так оно и есть. Или примерно так. Видно, я тоже обыватель.

— Вы считаете бокс грубым видом спорта?

— Да уж куда грубей.

— А как же эстетическая сторона бокса, торжество интеллекта и воли над грубой силой? Зрители предпобитуют...

— У меня бывали такие минуты, когда хотелось вытаскивать зрителей одного за другим на ринг и нокаутировать по очереди.

— Значит, вы разделяете мнение тех мам и пап, которые вообще запретили бы этот вид спорта, будь их воля?

— Этого я не говорю. Если они хотят, чтобы вечером нельзя было выйти на улицу, чтобы хулиганы приставали к девушкам, а килье кавалеры в страхе ретировались, — пускай запретят бокс.

— То, что вы говорите, противоречиво. Какие же цели вы преследовали, надевая перчатки?

— Я хотел, чтобы меня научили драться по-настоящему.

— Вы любите драться?

— Это моя страсть.

— Нет, я серьезно спрашиваю.

— Если ко мне, или к моей жене, или к кому угодно привязался пьяный дурак, то что я должен делать? Звать милицию, спасаться бегством, проводить на месте идеино-воспитательную работу? В газетах пишут, что все блажные — трусы. Да ничего подобного. Сказка для хилых мальчиков в очках. Вот и надо быть уверенным, что можешь послать пьяного хама на пол с любой позиции.

— Конечно, вы правы, милиционер не всегда оказывается рядом.

— Вот я и говорю. А мы-то, мужики, на что?

— То есть вы занимались боксом для того, чтобы овладеть навыками?

— В общем, да.

— И не жалеете о том, что бросили ринг?

— Я же сказал, что зимой начну тренировать ребят.

— Да, но вы уже не станете чемпионом.

— Я к этому не стремился. Мне не очень-то нравится бокс. На ринге ты иногда ненавидишь того, с кем работаешь, и зрителя тоже, и судью. А я не хочу никого ненавидеть без причины.

— Кстати, о ненависти... Если человека знаешь достаточно хорошо, то уже нельзя его презирать или ненавидеть. Ты видишь все мотивы, обнаруживаешь смягчающие обстоятельства, многому находишь оправдание...

— Не сказал бы. Я одного человека знал лет десять. Дружил, можно сказать. А теперь не здороваемся.

— Не тот ли тип имеется в виду, который заходил... Махаев?

— Допустим.

— Что же произошло?

— Он вынес с завода сопротивление... в общем, украл.

— Это такие разноцветные микроскопические шуточки?

— Вот именно. У радиологителей — дефицит.

— Весь шум из-за этого?

— Он их украл, а кто украл — тот вор.

— Целое собрание будет ему посвящено?

— Нет, главным пунктом, если не ошибаюсь, какой-то новый почин, но и о деле должен пойти разговор.

— Вы скептически относитесь к починам?

— По сути, я — за. А суть одна — работать экономно, производить экономно, ритмично, осваивать площадь, технику... Ну, если дело идет хорошо, лозунг всегда можно найти. Газетчики на это мастера.

— Камешек в мой огород!

— Иной раз читаешь ваши передовицы, и кажется, что ты уже в раю. А когда из кабинета директора пятиметровый ковер свистнули, так об этом написано было две строчки мелким шрифтом, в левом нижнем углу.

— В чем-то вы, может быть, и правы, только ужасно все преувеличиваете.

— Во-во, все так говорят...

— К кому же мы снова отвлечлись. Я бы хотел задать вам несколько вопросов, но боюсь, бы...

— Я же сказал, нет такого вопроса, на который...

— Вот и отлично. Меня интересует, что же все-таки произошло у вас с женой?

— А вы человек упорный.

— Назойливый, вы хотите сказать? Вырабатываю в себе профессиональные качества.

— Что произошло? Мы разные люди. Но и это не главное. В принципе все люди друг на друга непохожи.

— Ваша жена из рабочей среды?

— Ее родители — артисты Крымской филармонии. Там-то мы и познакомились.

— В филармонии?

— Нет, на пляже. Я жил на сборах в Крыму, а Катя собиралась поступать в местное педучилище.

— Чем же она вас привлекла, помимо внешности?

— Не знаю. Разве это можно объяснить?

— Может быть, она была, ну, что ли, культурнее вас, образованнее?

— Возможно.

— Вы проверили себя раньше, чем отправиться в загс?

— В смысле было ли у нас чего до брака?

— Нет, я имею в виду совсем другое. Вы все взвесили, прежде чем пойти на такой серьезный шаг?

— Что его знает! Вот говорят, семь раз отмерь... Но ведь портновский метр в таких делах ничего не решает. В общем, я ни о чем не жалею. Все произошло очень быстро... Море, юг, каждое слово многое значит в такой обстановке... Но я ни о чем не жалею.

— Вы говорите так, как будто самого себя хотите в чем-то убедить...

— Ошибаетесь, я говорю правду.

— Как же протекала ваша супружеская жизнь?

— Мы поженились. Около года были вместе. Все шло нормально. Потом меня забрали в армию. Раньше я не думал об этом, но когда женился, перспектива уехать на два года меня уже не прельщала. Но что поделаешь? Зимой Катя приехала ко мне. Знакомый старшина дал ключи от своего дома, и мы жили в нем три дня. Тогда-то и поссорились впервые, даже не поссорились, а просто Катя сказала, что не может и не хочет больше ждать и что она уезжает. Мне оставалось служить еще долго...

— Что же было потом?

— Что потом? Погум через восемь месяцев родилась недоношенная Нюшка.

— Вы хотели сына? Расстроились, наверное?

— Нет, я хотел девочку.

— Почему, если не секрет?

— Они беззащитные и нуждаются в тебе.

— А ваша жена, как она реагировала?

— Положительно. Но ее немного угнетали деленки и вся эта возня. Понимаете, она всегда мечтала о какой-то другой, замечательной жизни, покупала иностранные журналы, польский «Экран», и все такое. Может, тайно ей хотелось сниматься в кино. А я доказывал, что самое главное происходит в нас самих и никакой другой жизни нет...

— Боюсь, что вы делали это в резкой форме.

— Светским манерам не обучен.

— Нашли чем хвастать! Все почему-то думают, что величие, как правило, маскирует пороки, а хамство — лучший наряд для добродетели.

— Это цитата?

— Это мое наблюдение, выраженное в афористической форме.

— Значит, я хам?

— Не знаю. Но максималист, уж это точно.

— Что такое максималист? Зануда?

— Вы требуете от людей, чтобы они были такими же, как вы. А ведь существуют мягкие, чуткие души, ваши безапелляционные суждения ранят их.

— Я называю черное черным.

— В каждом цвете все оттенки спектра. И тот, что этого не видит, слеп. Впрочем, мы перешли в область метафор.

— Сама заговорила о чем-нибудь, а потом жалуетесь, что отвлеклись...

— Роды прошли благополучно!

— Перед этим Катя страшно заболела и тут я понял, как она мне дорога. Я думал, пусть лучше умру, чем перестану когда-нибудь о ней заботиться.

— Но все кончилось благополучно?

— Более или менее. Сначала я очень боялся, а потом стало ясно, что все кончится хорошо.

— Откуда эта уверенность?

— Произошло нечто сверхъестественное. До сих пор не могу разобраться. Когда я пришел в больницу, все медсестры казались мне красивыми, здоровыми и злыми. Они разговаривали таким тоном, как будто пьяный привязался к ним на танцплощадке. Я их ненавидел и думал, что Катя умрет, такие они были рядом с ней здоровые и всесердечные. Я приходил туда несколько раз, и все меня издевали. Одну сестричку я буквально заставил поговорить со мной о Кате. И вдруг я заметил, что она некрасивая и смахивает на серьезного, умного пацана. А на халате у нее чернильное пятно. Вот тут я почувствовал, что Катя обязательно выздоровеет. Не знаю, чем это объяснить...

— Любопытно, но мы катастрофически отвлеклись. Я ведь, по сути дела, еще не приступил.

— Хорошо, давайте в темпе.

— Итак, родился дочка...

— И опять начались ссоры.

— Что же служило причиной?

— Не знаю, может, вы и правы насчет фиалок и прочего... Я усталый приходил домой, иногда грубил. Как-то раз являюсь после собрания, есть охота, а Катя мне и говорит: «Тебе не кажется, что все дни недели различаются между собой по цвету? Понедельник — синий, вторник — оранжевый...» Я дверью хлопнул и пошел хоккей посмотреть. Кроме того, мы жили в тесноте... Не знаю...

— Вам неприятно говорить на эту тему?

— Приятного мало. Но это все чепуха, пройдет и забудется. На перстне какого-то там царя Соломона было вырезано: «Все проходит».

— Ничего не проходит. Это мы сами проходим. И ничего не забывается...

— Во всяком случае, еще не конец, с женой еще не конец. Просто я не умею ладить именно с близкими. Отец заявляет: «Ты как прокурор. У меня, говорит, при тебе такое чувство, как будто я колбасу в гастрономе украл». Ничего у меня не выходит. Я их мучаю... и вообще непонятно. Полюбил человека, женился, и вот уже твоя личная ясная жизнь, оканчивается, принадлежит кому-то еще, а неясная жизнь другого человека отчасти становится твоей... Слушайте, вы тут ничего не трогали, тумблер не трогали!

— Боже упаси!

— Сейчас. Минутку... И происходит самая невероятная вещь. Уже нельзя этого человека любить, не обидев заодно и себя, и даже подарок нельзя ему сделать, чтобы так: всучил и как говорится, с плеч долой. Э, нет, преподнесешь какой-нибудь пустяк и сам себя каким-то странным образом порадуешь. В общем, заботиться о близких это все равно, что о себе, и если даже орешь на них, то это все равно, что на себя орешь. Я их люблю, но я на них смотрю, как на себя. А они нормальные люди, хотят жить по-человечески. Я с посторонними лаку кое-как, а с близкими ничего не получается. Нет во мне чего-то такого...

— Чем же все это кончится?

- Трудно сказать.
- Безвыходным мы называем такое положение, единственный и правильный выход из которого нас почему-то не устраивает...
- Единственный и правильный выход? Имеется в виду развод?
- В таких делах советовать... Должна быть ясность. Практически вы уже в разводе.
- С ней трудно и без нее трудно...
- Что это такое?
- Тетрадь, как видите.
- В ней технические данные?
- Там у меня стихи.
- Вы пишете стихи? Редактор меня не предупредил. Это очень интересно. Печатались?
- Нет... иногда в многотиражке.
- Почему же вы не пошлете стихи в журнал?
- Они не для этого предназначены.
- То есть вы хотите сказать, что пишете в стол... для себя или там для потомства?.. Хотелось бы прочесть.
- Чего проче! Вот это, например, ко Дню печати. Начинается так:

Объем невелик и скромна тиражом,  
 Но все ж, невзирая на это,  
 С большим увлечением в руки берет  
 Рабочую нашу газету...

А конец такой:

О слово печатное — грозный таран!  
 Недаром его так боятся  
 Забывшие совесть и честь: хулиган,  
 Прогрульщики и тумейдцы!

- Почему же у вас хулиган в единственном числе, а прогульщики и тумейдцы во множественном?
- Не поместилось. У меня тут еще ко Дню артиллерии про нашего Бычкова, к Восьмому марта...
- Откровенно говоря, не доверяю стихам такого рода, а как случай».
- Напрасно. Я пишу для своих товарищей. Если мои стихи доставляют им какую-то радость, то для этого они и написаны. Когда заточник Андреев стал Героем Социалистического Труда, я целую поэму написал. Андреев даже прослезился.
- Ну, ладно. Вы пишете стихи. Неважно сейчас, хороши они или плохи. Раз вы пишете, стало быть, вам знакомы чувства и ощущения художника, творца. Вы не жалеете, что стали рабочим, а не человеком творческой профессии?
- Нет, не жалею. Сейчас попробую объяснить. Начнем издавала. Вот, например, супружеская жизнь. Ты в какой-то ситуации делаешь по совести, а жена считает тебя дураком, которого надули. И у дочки свое критическое мнение по любому вопросу. Вроде бы ты поступил честно, а жена плачет. Возьмем поэзию. Ты выразил чувства, которые для тебя все, а другому они кажутся пошлыми. Читаешь дневники великих писателей — они до смерти не могли понять, нужны ли их книги. А когда я работаю, все по-иному. Я точно знаю, что хорошо, что плохо...
- То есть вы хотите сказать, что в морали и в поэзии слишком много субъективного, а в работе вас привлекает объективная суть?
- По-научному так.
- Все это по меньшей мере спорно. В искусстве тоже есть объективные критерии.
- То, что я делаю, можно положить за ладонь и взвесить. Крестьянин севт хлеб и мешки с зерном кладет на весы. И так далее. Теперь ответьте мне, сколько весит очерк вальера коллеги Звонарева «Вехи помжак»? Вот так.
- Но ведь литература и тем более журналистика

- влиают на человеческое сознание, а значит, это материальная сила...
- Смотря какая литература. Да и потом, чего тут влиять! Нас учит жизнь, а не литература. За время, что мы с вами беседовали до обеда, я настроил семь приборов, а мои товарищи, которые молчали,— вдвое больше. Все это можно положить на весы...
- Договаривайте. Вы хотите сказать, что моя работа, вот эти листки, ничего не весят. Ошибаетесь. Может быть, если мне удастся написать про вас как следует, кто-то захочет работать лучше, по-новому взглянет на вещи... И потом вы же сами говорили: «О слово печатное — грозный таран!»
- Ну это так, по случаю праздника... Между прочим, до конца обеденного перерыва шесть минут осталось.
- Да, мы снова отвлеклись. Бывают у вас на заводе конфликты?
- В смысле мордобоя?
- Я имел в виду конфликты производственного характера. Ну, например, борьба нового со старым. Кто-то задумал использовать новую технологию, а ему препятствуют. Или какое-нибудь экономическое новшество встречает отпор со стороны рутинеров. В общем, производственные конфликты, разве не ясно! Как в романах...
- Всякое бывает. Но вообще-то эти самые конфликты происходят главным образом внутри или, как бы это получше выразиться...
- ...в сознании, вы хотите сказать...
- Да, именно в сознании. Все, что связано с новой техникой, решается, как правило, на уровне начальства, а вот конфликты, происходящие в сознании, знает каждый подсобник. Один думает так: «Я работаю. Продаю свои мускулы, свое время. Отмолил восемь часов, и привет. Два раза в месяц гони монету. Остальное меня не касается». Другой ображает иначе: «Я здесь работаю. Это мой завод, он мне принадлежит. Раз это — мое, я должен сделать так, чтобы мой станок, мой цех, мой завод работали как можно лучше. Я прихожу на завод не только чтобы вкалывать, но и для того, чтобы почувствовать значение своего труда, увидеть перспективы...» Такой и новую технику освоит и окурор подберет. Тут важно ощущение: «Я хозяин, а не гость, на мне лежит ответственность».
- Вы ощущаете себя хозяином завода?
- Да, это мой завод. Потому-то меня и бесит всякое такое... Вот приходите на собрание...
- Вы имеете в виду Махаева, который сопротивление украл? От этого, я думаю, завод не обеднеет.
- Пожалуй, это не обеднеет. Но речью-то совсем о другом. Ко мне, допустим, друг пришел. И вот я замечаю, что он в прихожей по карманам шарит, выгребает мелочь. Обеднею я от этого? Нет. Но руки такому не подаю.
- Это разные вещи.
- Для меня нет. Если взять каждого из нас отдельно, без завода, то все мы нищие. Ну что у меня есть? Мотоцикл покуроченный, две пары штанов да пятерка в кармане. А на заводе я миллионер. Дураки не понимают, что все это наше. По-ихнему, рубль у товарища стащить — преступление, а трехсотрублевый компрессор вывезти из строя — это так, издержки производства. Психология холуя. Ему пятьдесят лет твердят: «Твое все!» А дурак все сомневается: нет, мол, дядино. И тащить с завода по мелочи: кафель, гипс, полиэтилен... А иногда чего-нибудь пошестее. Из кабинета директора ковер украл — это ж надо! С цементного завода у нас в Ленинграде — но поверите! — трактор увели. Инже-

нер один вырлил его к забору, а ночью подошла платформа с краном, и привет! Обнаружили через месяц в другом районе. На запчасти его... Зачем далеко ходить? Я, например, точно знаю и могу доказать, что наш лекальщик Федька Рыкалов из казенных деталей лодочный мотор собрал...

— Почему же вы решили начать с каких-то мизерных сопротивлений?

— Потому что Левка — мой товарищ... бывший. — Вы хоть с самим Махаевым беседовали на эту тему?

— Без толку. Он говорит: «С каких это пор ты миллионером стал?»

— А вы?

— А я говорю: «С тех пор, как ты стал вором!»

— А дальше?

— Дальше произошел, как выразился один ваш коллега, «обмен мнениями при помощи жестов»...

— То есть?

— Он мне врезал... Ну и я ему навесил. В общем, производственный конфликт. В куртке разводить дебаты больше не намерен. А то у нас там прямо какой-то английский клуб образовался. Посидишь, послушаешь — умные мужики, рассуждают открыто. А на собрании молчат, при начальстве им неудобно... Но ведь мы же не гости, а директор не хозяин. Интересы одни, а договориться не можем. Я долго не хотел вылезать с этим делом. Но вот решился.

— А вдруг вас назовут доносчиком?

— Если скажу при всех, не назовут. В общем, приходите... А сейчас будем закручивать.

— Нельзя, редактор торопит. Давайте в темпе. Вот вы сказали: «Я хозяин завода». Всегда так было? Это врожденное?

— Сначала являлся на восемь часов. Переодеваясь по звонку — и в спортзал, на танцы, к приятелям. А потом научился работать и полюбить завод. Но окончательно убедил меня в том, что я хозяин завода, один капиталист. В составе шведской делегации побывал у нас на заводе Густав Эрикссон, внук бывшего владельца. И вот меня с ним познакомили. Парень оказался ничего. Простой, общительный. На всех станках умеет работать. Нашим бы технологам так. Я даже удивился, капиталист все-таки... По-русски говорит, как мы с вами. Я-то в языке не силен. Рассказывал швед, как у него дело поставлено: порядок, четкость, ритм...

— Вы заметили отдельные преимущества западной системы?

— Система тут ни при чем. Дело в организации производства. Если верить Эрикссону, то производство у них организовано бесподобно. Никакого бюрократизма, штурмовщины, простоев. Все четко, рационально, каждый винтик на месте. Условия труда отличные: вентиляция, душ, чистота. Если швед не загибает, конечно. Но не думаю... И заработки высокие. Только вот что получается. Человек на заводе Эрикссона — рабочий и больше никто, механическая сила, инструмент. Между прочим, он этого даже не скрывал: «Я забочусь о станках и о людях. Станки должны быть в исправности, а люди в довольстве. Но человеку мало быть сытым. Он, представьте себе, хочет быть героем. Чтобы о нем стихи писали. Шведские рабочие, казалось бы, имеют все, а на душе у них тошно. Недаром говорят, что в Швеции такая мода — газом травиться...

— То есть вы хотите сказать, что победа техники куплена ценой моральной деградации?

— По-научному — так.

— Но ведь и за голую идею никто работать не станет. Один моральный стимул...

— Я ведь не сказал — только моральный стимул. Надо сочетать...

— Звоню!

— Да, кончился обед.

— Но я же ничего не успел!

— Изложите все как есть, раз уж это необходимо.

— Чем больше узнаешь, тем труднее вникать...

Когда я был студентом, явился как-то раз к профессору на консультацию. А он зачет принимает. Название темы на доске «Образ лишнего человека в русской литературе». Двадцать гавриков строчат, не поднимая головы. Профессор меня и спрашивает: «Сколько бы вам понадобилось времени, чтобы ответить эту тему?» Я отвечаю: «Дней пять». «Ну вот, — говорит профессор, — вы бы упрямились за пять дней, мне двух лет мало, а им трех часов достаточно».

— Почувственная история.

— Может, вы впоследствии скажете о себе что-нибудь героическое?

— Ей-богу, нечего рассказать. Я бы с удовольствием. Хотя отчего же, лет десять назад я полгода жил в одной комнате с Витей Штерном, который учился играть на тромбоне...

— Я серьезно спрашиваю.

— Кроме шуток, не знаю. Приходите на собрание. Героев полный зал. В четыре пятнадцать начало. Знаете, где наш красный уголок?

— Найду.

...Посреди заводского двора разбит квадратный свкер с фонтаном, английскими стриженными кустами и клумбами по углам.

По территории завода снуют электрокары, громыкает автопогрузчик, волооча за собой металлический трос с крючком.

В стену административного корпуса вделана блестящая латунная доска с надписью: «Здесь хранится письмо комсомольцам 2018 года. Вскрыть в день столетия комсомола».

Газетчик обогнул котельную с круглой кирпичной трубой, и перед ним выросла громада нового недостроенного корпуса. Квадратные стекла его были в меду. Над стенами возвышался подъемный кран.

Корреспондент поднялся в редакцию. Застарелый запах табака и клея. Столы завалены бумагами, подшивками старых газет, фотографиями. Под листами макета чернеет громоздкий остоу «Ундэрвудса». В шкафу под стеклом золотятся тисненые корешки энциклопедии. Бледно-зеленые обои испещрены номерами телефонов. На календаре алеет воскресенье...

Рита кричит в трубку:

— Как фамилия? Баскаков или Басманов? Говори по буквам: Банионис, Авдюшко, Сорди, Миранов... Шеф курит, роняя пепел на газетные бланки.

Фотограф Камчаткин раскладывает на батарее мокрые, покоровшиеся снимки.

— Отличный кадр, — сказал он вновь вошедшему, — лицо и руки детально проработаны, а весь технический фон как бы в тумане...

— Хороший снимок, — подтвердил корреспондент.

— Ты держишь его вверх ногами! — обиделся Камчаткин.

— Черт возьми! — крикнул шеф, — Кто утащил мои ножицы? Чем я теперь буду создавать переводницы? — Он заметил в дверях корреспондента. — Ну как, есть что-нибудь в блокноте? Учи, к среде ты должен выдать двести строк.

— Я постараюсь закончить к среде, — ответил он. — Тут сегодня в красном уголке собрание, я был хотел присутствовать. И вообще мне надо подумать...

г. Таллин.

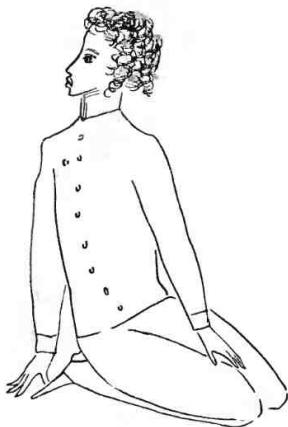


Юрий  
КАРЯКИН

## ЛИЦЕЙ, КОТОРЫЙ НЕ КОНЧАЕТСЯ...

*«Будем молодеть хоть раз в году  
посреди тех, с которыми вместе  
были молоды»*

Я. ГРОТ, лицеист



**Е**сть все-таки какое-то чувство родства между пушкинскими лицеистами и нами, есть, несмотря на эпохи, разделяющие нас, есть, несмотря на всю суетность, заставляющую не узнавать самое родное, есть, несмотря ни на что. А иначе не стала бы случайная дата — 19 октября — живым, своим не только для них, лицеистов, но и для нас. Иначе не сделали бы и сам Пушкин нашим вечным Лицеем, Лицеем навсегда.

19 октября — тоже день рождения Пушкина и по своему не менее значительный, чем настоящий день его рождения. Но и этот — тоже настоящий, день д у х о в н о г о рождения Пушкина.

Тынянов писал: «Была Арина и был Лицей. Не кончался».

Пушкин без Лицея, без Дельвига, «Кюхля»... — немыслимо. Для кого еще из наших художников явилось такое братство столь мощным истоком и беспеременной темой творчества? И кто не мечтал быть лицеистом? Кто не завидовал им самой доброй завистью?

19 октября, Лицей — это и есть прежде всего образ полнокровной и, главное, одухотворенной юности. Тут щедрость, щедрость — от богатства душевного. Тут святая, чисто юношеская надежда, не надежда, вернее, а потребность отдать, а не взять, поделить, а не утаить. Тут и безоглядное озорство — от избытка сил. Тут первичная прививка свободы и чести, совести и мужества. Тут первоначальный запас идеалов и верность идеалам... В конечном счете тут культура, та культура, без которой нет достоинства, нет «самостояния» человека, без которой трудно или невозможно ориентироваться в мире этом, зато легко потеряться, — потерять себя в нем, запутаться.

Два чувства дивно близки нам —  
В них обретает сердце пищу —  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам,  
На них основано от века,  
По воле бога самого,  
Самостоянье человека,  
Звлог величия его!  
Животворящая святыня,  
Земля была б без них мертва,  
Нак <...>! пустыня  
И как алтарь без божества.

«Пушкин — это наше все», — сказал Достоевский. И дело далеко не просто в поэзии, в литературе, в языке русском: как Лицей Пушкину, так и Пушкин России задал духовные ориентиры, задал — на всю жизнь.

Пушкин прожил свое 19 октября, можно сказать, сполна. И это, конечно, неповторимо уже никогда. И в то же время в чем-то обязательно повторимо. У каждого человека, у каждого из нас есть, может быть, должно быть свое 19 октября, хоть час от него, хоть минута. А без этого человек болен, у него какой-то авитаминоз духовный, он несчастен неправедно, обеднен, опасен даже — и для себя и для других.

Перечитаем же несколько страниц этой знакомой нам с детства истории, в а ш е и истории — веселой, прекрасной и трагической.

<sup>1</sup> Так у Пушкина. Возможно, здесь пропущено — без самца. Но при всей соблазнительности этой гипотезы кто может взять на себя смелость дописать что-либо за Пушкина?



# А. С. ПУШКИН «19 ОКТЯБРЯ...»

*«И последний лицейст один будет  
праздновать 19 октября...»*

(А. С. ПУШКИН)

## ПРОЛОГ

19 октября 1836-го. Протокол празднования 25-летней годовщины основания Лицея.

«Собрались господа лицейские в доме у Яковлева и пировали следующим образом:

1. Обедали вкусно и шумно. 2. Выпили три здоровья (по-заморскому — toasts): а) за двадцатипятилетие Лицея, в) за благоденствие Лицея, с) за здоровье отсутствующих. 3. Читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером к одному из товарищей. 4. Читали старинные протоколы и песни и проч. бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева. 5. Поминали лицейскую старину... (До 6-го пункта Протокол вел Пушкин, дальше — Яковлев. — Ю. К.) 6. Пели национальные песни. 7. Пушкин начинал читать стихи на 25-летие Лицея... но всех стихов не припомнил...

Примечание. Собрались все в половине пятого часа, разошлись в половине десятого».

Была пора: наш праздник молодой  
Сиял, шумел и розами венчался,

И с песнями бокалов звон мешался,  
И тесно сидели мы толпой  
Тогда, душой беспечные невежды,  
Мы жили все и легче и смелей.  
Мы пили все за здравие надежды  
И юности и всех ее затей...

«Пушкин начинал читать стихи., но всех стихов не припомнил...» — Яковлев, вероятно, не захотел, не смог тогда сказать всю правду. Но умолчание его целомудренно. Позже лицейский староста засидетьствава: «Только что он начал, при всеобщей тишине, как слезы покатались из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты, на диван...» Другой товарищ продолжил чтение...

Теперь не то: разгульный праздник наш  
С приходом лет, как мы, перебежился,  
Он присмирел, утих, остепенился.  
Стал глуше звон его заздравных чаш.  
Меж нами речь не так игриво льется.  
Просторнее, грустнее мы сидим  
И реже смех средь песен раздается.  
И чаще мы вздыхаем и молчим

Припомните, о други, с той поры  
Когда наш круг судьбы соединил,  
Чему, чему свидетели мы были!  
Игралица таинственной игры.  
Метались смущенные народы;  
И высились и падали цари;  
И кровь людей то славы, то свободы,  
То гордости багрила алтари...

## Зорю бьют...

Кавуу открытия Лицея. Из записок Куницына, профессора нравственных наук. «Спрашивал Малиновского (директора Лицея.— Ю. К.). У него большие планы. Создание общего духа, воспитание без лести, раболепства, короче воспитание достоинства» [Ю. Тьянгов «Пушкин».]

Из записок Куницына. «В одну ночь написал свою речь. Не знаю, как примут. Писал при свете ночника, со свечами» [Ю. Тьянгов «Пушкин».]

19 октября 1811-го. День открытия Лицея. Из речи Куницына. «Какая польза гордиться титулами, приобретенными не по достоинству, когда во взорах каждого видны укоризна или презрение, хула или нареканье, ненависть или проклятие?.. Для того ли должно искать отличий, чтобы, достигнув оных, страшиться беславия?»

...Куницыну дань сердца и вина!  
Он создал нас, он воспитал наш пламень,  
Поставлен им краеугольный камень.  
Им чистая лампада возжена...

Из записок Пущина. После торжественного обеда, «бросив парадную одежду, мы играли перед Лицеєм в снежки... и тем заключили свой праздник... Тот год рано стала зима...

Над дверью была черная дощечка с надписью: «№ 13. Иван Пущин»; я заглянул налево и увидел: «№ 14. Александр Пущин».

Скоро все лицеисты объявили себя «скотобратцами» и, как водится, наделили друг друга прозвищами. Вильгельм Кюхельбекер — «Виля», «Кюхля». Антон Дельвиг — «Тося». Михаил Яковлев — «буффон», «Пяяс двести номеров» (изображал в лицах чуть ли не двести человек). Иван Малиновский (сын директора) — «Казак» (за молодчество и верность дружбе). Александр Горчаков — «Князь», «Франт». Константин Данзас — «Медведь» (одновременно отчаянный и какой-то флегматичный). Федор Матюшкин — «Матюшко». Павел Мясоедов — «Мясожоров». Николай Корсаков — «Трубадуур» (лучше всех пел, аккомпанируя себе на гитаре). Модест Корф — «Дьячок-мордан» («Дьячок» — потому, что любил читать церковные книги, а «мордан» по-французски то же самое, что по-русски — «ехидна»). Иван Пущин — «Большой Жанно». Александр Пущин — «Француз» (французский знал тогда не хуже русского), «Глоза», «Обезьяна», а еще — «Смесь обезьяны с тигром»...

Большой Жанно  
Мильон боимо  
Без умыслу говорит,  
А наш француз  
Свой хвалит вкус  
И материну порет...

Это и были «Национальные песни».

«Что касается их названия, то его всего вероятнее объяснить тем, что у воспитанников Лицея было в большом ходу изображать свой Лицей в виде как бы государства (республики), подразделяя обитателей на нации... Национальные песни импровизировались у нас обыкновенно изустно, целой толпой.» (Из «Записок лицеиста».)

Рядом с Лицеєм были расположены гвардейские казармы:

«Зорю бьют.

Первый звук трубы, упылый, живой, и сразу потом — тонкий, точный, чистый голосистый звук сигнального барабана.

Зорю бьют...» [Ю. Тьянгов «Пушкин»].

Когда до Царского села дошла весть о сдаче Москвы войскам Наполеона, весть о том, что Москва горит и сады обуглились, лицеисты не спали ночами, многие плакали...

Вы помните: текла за ратью рать.  
Со старшими мы братьями прощались,  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирать  
Шел мимо нас...

Однажды Илья Пилецкий, губернёр, брат самого Мартина Пилецкого (незутца, инспектора-надзирателя), попытался отобрать у Дельвига какое-то сочинение и вдруг «получил прямой отказ и даже ощутил толчок со стороны». Мартинов брат уверял, что шло его Пушкин, который тут же с блестящими глазами, раздутыми ноздрями, задыхаясь и с бешеным видом насканивал на него, крича: «Как вы смеете брать наши бумаги?... Значит, и письма наши из ящика будете брать?..» Илья сбегал. Но, опомнившись, лицеисты увидели вдруг Мартина Пилецкого. «Они его ненавидели и были готовы на все. Пушкин исподлобья, волчком смотрел на него. Глаза его блестяли, он видимо побеждал. Длинные руки воспитанника Кюхельбекера болтались». Вдруг Дельвиг, самый спокойный из всех, объявил, что если... если будут читать их бумаги... то... то они все тотчас же покинут лицей... И тут что-то смутилось, сомялось в душе незутца. Сдался Мартин! Да как! Он и покинул лицей. В тот же самый час! Они увидели его отъезд в окно... «Пушкин вдруг засмеялся, как смеялись Ганнибалы: зубами. Это была его первая победа» [Ю. Тьянгов «Пушкин»]. После этого случая Пушкин и получил прозвище «Тигр» или «Смесь обезьяны с тигром»...

Лицеистам дали задание — сочинить стихотворение о восходе солнца. Мясоедов («Мясожоров») написал одну строчку:

Влеснул на западе (?) румяный царь природы...

Дальше ничего не мог придумать. Кто-то (точно неизвестно, возможно, и Пушкин) закончил:

Влеснул на западе румяный царь природы...  
И изумленные издрывы  
Не знают, что начать:  
Ложиться спать или вставать?..

Из записок Пущина. «Я, Малиновский и Пушкин затеяли выпить гоголю-моголю. Я достал рому, добыл яиц, натопил сахару, и началась работа у княжеского самовара. Разумеется, кроме нас, были и другие участники... Дежурный губернёр заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, беготню. Сказал инспектору... Тут же начались споры, розьски. Мы трое явились и объявляли, что это наше дело, и что мы одни виноваты».

В казакские их сместили на последние места за столом, но по истечении некоторого срока постепенно подвигали опять вверх. При этом Пушкин сказал:

Блажен муж, яко  
Сидит и каше болжне,  
Иак денешно,  
Расотлстает он...

Пушкин, Малиновский и Пушкин влюблены были в Катеньку Бакунину, фрейлину императрицы, танцали друг от друга, открывались и снова затапливались.

Пушкин. Из лицеиского дневника. 29 ноября 1815-го. «Попуту я мучился ожиданием, с неписанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не видно было! Наконец я потерял надежду, вдруг нечаянно встретился с нею на лест-



нице, сладкая минута... Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Бакуниной. Но я не видел ее 18 часов — ах! Какое положение, какая мука! Но я был счастлив 5 минут!..»

В Лицее были свои первые ученики, «первые нации» (Горчаков, Кюхельбекер) и последние (Масо-едев, Пушкин — четвертый с конца).

...Этот список сущи бредни,  
Кто тут первый, кто последний,  
Все нули, все нули,  
Ай люди, люди, люди!

Пусть об нас заводят споры  
С Энгельгардом профессоры.  
И они ведь нули,  
Ай люди, люди, люди!..

(Из «Национальных песен»).

Первый директор Лицея, Малиновский, умирая, сказал Куницыну, спутав его с кем-то в бреду: «Ваше превосходительство! В веревном мне воспитательном учреждении есть главное — нет духа рабобелства» (Ю. Тяннов «Пушкин»).

Новый директор, Егор Антонович Энгельгард, в день окончания Лицея, 7 июня 1817-го, подарил всем лицеистам первого выпуска чугунные колья — знак крепости дружбы. И будут называться они «чугунки». Потом решат — в день 19 октября 1827-го отметить «серебряную» дружбу (10 лет окончания Лицея), а в 1837-м «золотую» (20-летие окончания).

Не пугай нас, милый друг,  
Гробы ользим но ользим:  
Право, нам таким бездельем  
Заниматься недосуг.  
Пусть остальной жизни чашу  
Тынет медленно другой;  
Мы же утратим тоность нашу  
Вместе с жизнью дорогой;  
Каждый у своей гробницы  
Мы присядем на поног;  
У пафосной царицы  
Свежий выпросим венчик,  
Лишний миг у верной леди,  
Круговой нальем сосуд —  
И толною ниши тени  
К тихой Лете уберут.  
Смертный миг ниш будет светел;  
И подруги шальных  
Соберут их легкий пепел.  
В урны праздные пиров.

«О, это голова важная! Вы человек не простой! Вы проживете долго, если не случится с вами беды от белой лошади, белой головы или белого человека» (немецкая прорицательница Кирхгофф — Пушкину. По воспоминаниям современников).

Из записок современника. Около 1818-го. «Кюхельбекер хаживал к Жуковскому и отчасти надоедал ему своими стихами. Однажды Жуковский куда-то был зван на вечер и не явился. Когда его после спросили, отчего он не был, Жуковский отвечал: «Я еще накануне расстроил себе желудок; к тому же пришла Кюхельбекер, и я остался дома». Пушкин написал на это стихи:

За ужином объелся я,  
А Яков запер дверь оплошно —  
Тан было мне, мон друзья,  
И кюхельбекерно и тошно!..

Кюхельбекер взбесился и потребовал дуэли... Секундантами были Пушкин и Дельвиг. Кюхельбекер pistola первый и дал промах (секунданты зарядили pistola клоквои; по другой версии — вообще не зарядили... — Ю. К.). Пушкин кинул pistola и хотел обнять товарища, но тот неистово закричал: «Стреляй, стреляй!» «Полою дурачиться, милый, пойдем чай пить» (по другой версии — вино пить... — Ю. К.), — сказал Пушкин. Они тотчас же помирились...»

Из записок современника. Около 1819-го. Пушкин и барон Корф жили в одном и том же доме. Корф избил пушкинского камердинера. «Побитый пожаловался Пушкину. Александр Сергеевич всплыла в свою очередь и, заступаясь за слугу, немедленно вызвал Корфа на дуэль. На письменный вызов Корф ответил также письменно: «Не принимаю вашего вызова из-за такой безделки не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер».

Из воспоминаний Корфа. «Пушкин ни на школьной скамье, ни после в свете не имел ничего любезного и привлекательного в своем обращении. Беседы, ровной, систематической, сколько-нибудь связанной, у него совсем не было, как не было и дара слова...»

Люблю, надежды, тихой славы  
Недолго нести нас обман;  
Исчезли юные забавы,  
Как сон, как утренний туман;  
Но в нас горит еще желанье,  
Под гнетом власти роковой  
Нетерпеливою душой  
Отчуждены внемлемы изысканье,  
Мы ждем с томленьем упования  
Минуты вольности святой,  
Как ждет любовник молодой  
Минуту верного свиданья...

«...Снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прощания и, с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг!..» «Он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь из-за него читает» (Александр I).

Я люблю вечерний пир,  
Где веселе председатель,  
А свобода, мой кумир,  
За столом законодатель,  
Где до утра слово не в силе  
Заглушает крини песен,  
Где просторен круг гостей,  
А кружок буталок тесен!..

Из письма Пушкина. «Говорят, что несчастье хорошая школа: может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному...»

6 мая 1820-го Пушкин выезжает из Петербурга в ссылку. Провожают его Дельвиг и Яковлев, провожают до Царского Села, до Лицея.

Зорю быют... на рук моих  
Ветхий Данте выпадает,  
На устех начатый стих  
Недочитанный затих.  
Дух дядече улетает...  
Звук призывный, звук жинной,  
Столь ты часто раздвигался  
Там, где тихо развалился  
Я давнишнего порою...

## ГЛАВА 2

Роняет лес  
багряный свой убор...

Пушкин. «У нас осень, дождик шумит, ветер шумит, лес шумит — шумно, а скучно... Я в совершенном одиночестве... и у меня буквально нет другого общества, кроме моей старой ниши и моей трагедии («Борис Годунов»); последняя подвигается вперед, и я доволен ею... Я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития и что я могу творить».

19 октября 1825-го...

Роняет лес багряный свой убор,  
Сребит мороз увянувшие поле,  
Проглянет день, как будто поневоле,  
И скроется за край оружных гор.  
Пылал, казнил, в моей пустынной келье:  
А ты, вино, осенней стужи друг,  
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,  
Минутное забвенье горьких мук...

...Я пью один, и на брегах Невы  
Меня друзья сегодня именуют...  
Но многие ли и там из вас приуют?  
Еще кого не досчитались вы?  
Кто изменил пленительной привычке?  
Кого от нас увлекло холодный свет?  
Чей глас умоли на братской переписке?  
Кто не пришел? Кого меж вами нет?

Он не пришел, кудрявый наш певец,  
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:  
Под мраморами Италии прекрасной  
Он тихо спит, и дружеский резец  
Не измерил над русскою мозгою  
Слов несколько в языке родном,  
Чтоб некогда нашел привел унылый  
Сын Севера, бродя в краю чужом...

**Николай Корсаков, «Трубадуру». Умер и похоронен во Флоренции.**

Пушкин не предавал, что слова его найдут отклик. Энгельгардт писал 30 августа 1835-го:

«Вчера я имел от Горчакова письмо и рисунок маленького памятника, который поставил он бедному нашему трубадуру Корсакову под густым кипарисом близ церковной ограды во Флоренции. Этот печальный подарок очень меня обрадовал.»

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,  
Чужих небес любовник беспокойный?  
Иль снова ты проходишь тропик злобный  
И вечный лед полуоцифанных морей?  
Счастливы пути!.. С лицейского порога  
Ты на корабль переахнул шутя,  
И с той поры в морях твоя дорога,  
О, волн и бурь любимое дитя!

**Федор Матюшкин, «Матюшко». Моряк, кругосветный путешественник, герой морских сражений, будущий адмирал. Есть на севере Восточной Сибири Мыс Матюшкина. И это по его, Матюшкина, мысли первый памятник Пушкину поставлен будет именно в Москве, на Тверском.**

...Из края в край преследую грозой,  
Запутанный в сетях судьбы суровой,  
Я с трепетом на лоно друзей новы,  
Устав, приник ласкающей главой...  
С мольбой моей печальной и мятельной,  
С доверчивой надеждой первых лет,  
Друзьям иным душой предался нежной;  
Но горек был небратский их привет.

И ныне здесь, в забытой сей глуши,  
В обители пустынных выгов и хлада,  
Мне сладкая готовилась отрада:  
Троих из вас, друзей моей души,  
Здесь обнял я...

Первым приехал Иван Пущин.

С тремя бутылками шампанского «клик» рано утром января 11-го «Большой Жавно» вломился в ворота Михайловского и увидел на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками...

«Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторил, что ему еще не верится, что мы вместе...»

«Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?» «Все это я знаю, но знаю также, что нельзя же навестить друга после пятилетней разлуки в теperешнем его положении...»

День пролетел, как миг. А ночью...

«Ямщик уже запрет лошадей, козалолец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокну-

лись стаканами, но грустно плаюса: как будто чувственно последнее раз вместе пьем... Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пущин что-то говорил мне вслеп; ничего не слыша, я глядел на него; он остановился на крыльце со сцепен в руке. Кони рванули под гору...» (Из записок Пущина).

А через три месяца, в апреле 1825-го, в Михайловское приезжает Дельвиг, «Тося» (тоже несмотря на на какие предостережения) и проводит у Пушкина неделю.

Наконец, в сентябре Горчаков, «Князь», «Франт», тогда секретарь русского посольства в Лондоне, оказывается в селе Лямоново, в 18 верстах от Михайловского, и тут же дает знать о себе Пушкину, и они тоже встречаются.

Пущин ждал, что вместе с Пущиным его навесит еще и Малиновский — «Казак»:

Что ж я тебя не встретил тут же с ним,  
Ты, наш казак, и пылкий и незлобный,  
Зачем и ты моей сени надгробной  
Не озарил присутствием своим?  
Мы вспомнили б, как Ванку приносили  
Возмолвную мы жертву в первый раз,  
Как мы впервые все трое полюбили,  
Наперсники, товарищи прозванья!

Друзья мои, прекрасен наш союз!  
Он, как душа, неразделен и вечен —  
Неколебим, свободен и бесменен  
Сростается он под семью дружеских муз.  
Куда бы нас ни бросила судьбина,  
И счастье куда б ни повело,  
Все те же мы: нам целый мир чужбина;  
Отечество нам Дарское село.

Пируйте же, пока еще мы тут!  
Увы, наш круг час от часу редует;  
Кто в гробе спит, кто дальний сиротет;  
Судьба глядит, мы внемлем; дни бегут,  
Невидимо склоняясь и хладет,  
Мы близимся к началу своему...  
Кому ж из нас под старость день Лицея  
Торжествовать придется одному?!

...Этот список суици бредни,  
Кто тут первый, кто последний.  
Все нули, все нули.  
Ай люди, люди, люди!

Роняет лес багряный свой убор,  
Сребит мороз увянувшие поле,  
Проглянет день, как будто поневоле,  
И скроется за край оружных гор...

## ГЛАВА 3

Пред грозным временем,  
пред грозными судьбами...

Из записок современника. «Однажды, под вечер, зимой, сидели мы все в зале... Пущин стоял у печки. Вдруг... докладывают, что приехал Арсений. У нас был человек Арсений, повар... Арсений рассказал, что в Петербурге бунт, всюду разьезды и караулы, насилиу выбрался за заставу, навлял потчовых и поспешил в деревню. Пущин, услыша рассказ Арсений, страшно побледнел...»

14 мая 15 декабря 1825-го. Пущин передает Энгельгардту свой портфель с крамольными, декабристскими бумагами, которые могли стоить их владельцу головы.

15 декабря, рано утром. Горчаков приезжает к Пушкину, привозит ему заграничный паспорт, уговаривает бежать. Пушкин наотрез отказывается, решив разделить судьбу друзей, и разделял, проведя в тюрьме и на каторге 31 год.

Пушкин — Энгельгардту. «Скажите что-нибудь о наших чутунниках. Об иных я кой-что знаю из газет и по письмам сестер, но этого для меня как-то мало. Вообразите, что от Мясоедова получил... письмо, — признаюсь, никогда не ожидал, но тем не менее очень рад. Шепните мой дружеский поклон тем, кто не боится услышать голоса знакомого из-за Байкала. Надеюсь, что есть еще близкие сердца».

Из дневника Пушкина. 15 октября 1827-го. «Вчерашний день был для меня замечателен (это случилось на станции Залазы, между Новгородом и Псковом. — Ю. К.)... Вдруг подехали четыре тройки с фельдшером... Я вышел взглянуть на них. Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бороδοю, в фризовой шинеле... Увидев меня, он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга, и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдшер взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и усаkali...»

Сидя в одиночной камере, засыпая, Кюхельбекер «назначал на завтра, что вспоминать. Лицей, Пушкина и Дельвига... Мать и сестру...» (Ю. Тынянов «Кюхля»).

Бог помочь вам, друзья мои,  
В заботах жизни, царском службьи,  
И на пирах разгульной дружбы,  
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,  
И в бурях, и в житейском горе,  
В краю чужом, в пустынном море,  
И в мрачных пропастях земли!

«19 октября 1827-го года». На пятый день после встречи с «Кюхлей», в день «серебряной» годовщины Лицея...

А через год, 19 октября 1828-го, Пушкин — в кругу друзей, в Петербурге. Ведет «Протокол»...

«...И завидели на дворе час первый и стражу вторую, скотобратцы разошлись, пожелав доброго пути воспитаннику императорского Лицея Пушкину — Французу, иже написал сию грамоту»...

Усердно помолвишься богу,  
Лицею прокричав УРА.  
Прощайте, братцы: мне в дорогу.  
А вам в постель уже пора...

1817-й. Из лицейского альбома Пушкина. (Запись эту Пушкин сделал перед окончанием Лицея):

Ты вспомни первую любовь.  
Мой друг, она прошла... Но с первыми друзьями

Не развою мечтой союз твой заключен;  
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,

О милый, вечно он!

1827-й. Из записок Пушкина. «В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Муравьева (жена декабриста Никиты Муравьева. — Ю. К.) и отдает листок бумаги...»

Мой первый друг, мой друг бесценный!  
И я судьбу благословил,  
Когда мой двор узнический,  
Печальным снегом занесенный,  
Твой колокольчик огласил.  
Можно святое providение:  
Да голос мой душе твоей

Дарует то же утешенье,  
Да озарит он заточенье  
Лучом лицейских ясных дней!

Из записок Пушкина. «Пушкин первый встретил меня в Сибири задуманным словом... Отродю отождивал во мне голос Пушкина! Приспопнянный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнание... Пушкину, верно, тогда не раз икнулось».

Кюхельбекер — Пушкину. «Не знаю, как на тебя действуют эти строки: они написаны рукою, когда-то тебе знакомою; рукою этою водил сердце, которое всегда тебе любило... Впрочем, мой долг прежде всех лицейских товарищей вспомнить о тебе... Долг, потому что и ты же более всех прочих помнил о нашем затворнике. Книжки, которые время от времени пересылал ты ко мне, во всех отношениях мне драгоценны... Верь, Александр Сергеевич, что умею ценить и чувствовать все благодарности твоего поведения: не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя всего прекрасного; но клянусь, от всей души радуюсь, что так и случилось».

Пушкин, «Все заботливо выполняют требования общепития в отношении к посторонним, т. е. к людям, которых мы не любим, а чаще и не уважаем, и это единственно потому, что они для нас — ничто. С друзьями же не церемонятся, оставляют без внимания обязанности свои к ним, как к порядочным людям, хотя они для нас — все. Нет, я так не хочу действовать. Я хочу доказывать моим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг и им, и себе, и посторонним показывать, что они для меня — первые из порядочных людей, перед которыми я не хочу и боюсь манкировать чем бы то ни было».

Снова туча надо мною  
Собралась в тишине;  
Рок завистливый бедою  
Угрожает снова мне...  
Сохраню ль к судьбе презренье?  
Понесу ль настрелу ей  
Непреложность и терпенье  
Гордой юности моей?..

## ГЛАВА 4

### Совет меня мой Дельвиг милый...

Ноябрь 1830-го. Болдино. Пушкин — Дельвигу. «Посылаю тебе, барон, вассальскую мою подать, именуемую цветочкою, по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов. Доношу тебе, моему владельцу, что нынешняя осень была детородна, и что коли твой смиренный вассал не околеет от сардинского падежа, холерой именуемого и занесенного нам крестовыми воинами, т. е. бурлаками, то в замке твоём, «Литературной газете», песни трубадуров не умолкнут круглый год».

Январь 1831-го. Пушкин. «Ужасное известие получило в воскресенье. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная... Никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изю всех связей детства он один остался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели... С ним толковала я обо всем, что душу волнует, что сердце томит...»

Дельвинг.

Я Пушкина младенцем полюбил.  
С ним разделал и грусть и наслаждение,  
И первый я его услышал пенье,  
И за себя богов благословил...

«Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шел, т. е. делай, что хочешь; но не сердись на меры людей и без тебя довольно наугаданных!.. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами вашими, как ты. Чего тебе недостает? Маленького снисхождения к слабым...»

Пушкин. «Вчера говорил о нем — покойник Дельвинг, и этот эпитет столь странен, как и страшен. Нечего делать! согласимся. Покойник Дельвинг. Быть так... постараемся быть живыми».

Что же сухо в чаше дно?  
Наливай мне, мальчишка резвый,  
Только пьяное вино  
Раствори водою трезвой.  
Мы не скифы, не люблю,  
Други, пьянствовать бесчинно:  
Нет, за чашей я пою  
Иль беседу невинно...

День каждый, каждую годину.  
Привык я душой проводить.  
Грядущей смерти годовщину  
Меж их старался угадать...

И, мнится, очередь за мной.  
Зовет меня мой Дельвинг милый.  
Товарищ юности жинной,  
Товарищ юности удалой,  
Товарищ песни молодой,  
Пиров и чистых помашений,  
Туда, в толпу теней родных  
Навек от нас утекши тений...

Самым последним из лицистов пушкинского выпуска умер Горчаков — в 1883-м. Но после того как Пушкин сказал — «И, мнится, очередь за мной...», — действительно, никто из них до Пушкина не умирал.

27 января. Пушкин с друзьями справляет поминки по Дельвингу, в Москве, у Яра.

17 февраля. Собирает «мальчишник», последний холостой обед.

18 февраля. Вечается с Натальей Николаевной Гончаровой.

...Смертный миг наш будет светел;  
И подруги шалуно  
Соберут их легкий пепел  
В урны праздные пиров.

## ГЛАВА 5

Кем убит  
и отчего...

21 августа 1836-го. Закончен «Памятник», закончен и никому не показан.

...Нет, весь я не умру...

И в это же примерно время:

«Почти каждый день ходил мы с Пушкиным гулять по толкачому рынку, покупали там сайки, потом, возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям, которые бежали от нас с ужасом». (Из записок современника).

Канун 19 октября 1836-го. Энгельгардт предлагает праздновать очередной юбилей лицистам первых трех выпусков — всем вместе. Корф поддерживает это предложение, опасаясь, что в более тесном кругу возможны опасные разговоры (о «постройном»).

Яковлев. «Пусть Егор Антонович соединяет под свои знамена 2-й и 3-й выпуски и воздаст честь и хвалу существованию Лицея. Но пусть нас, стариков, оставит в покое». И подпись: «№ 39» (лицейский «номер» Яковлева). Пушкин. «Я согласен с мнением



39-го номера. Нечего... изменять старинные обычаи Лицея. Это было бы худое преднаменование. Сказано, что и последний лицейст один будет праздновать 19 октября. Об этом не худо напомнить». И подпись: «№ 14».

19 октября 1836-го. «Собрались... господа лицейские в доме у Яковлева...»

Была пора: наш праздник молодой  
Сиял, шумел и розами венчался...

«Пушкин начинал читать стихи... но всех стихов не припомнил... Собрались в половине пятого часа, разошлись в половине десятого».

19 октября 1836-го. Пушкин — Чаадаеву: «Наша общественная жизнь — грустная вещь... Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние».

И в этот же день Пушкин заканчивает «Капитанскую дочку», начатую эпиграфом «Береги честь смолоду».

Письмо написано утром, но когда именно окончена «Капитанская дочка», в какой час, до половины пятого или после половины десятого, мы не знаем.

4 ноября. Пушкин получает анонимное письмо.

8 ноября. Навещает Яковлева в день его именин. Из воспоминаний Матюшкина:

«Пушкин явился последним и был в большом волнении. После обеда они пили шампанское. Вдруг Пушкин вынимает из кармана полученное... письмо и говорит:

«Посмотрите, какую мерзость я получил».

Ворон к ворону летит,  
Ворон ворону кричит:  
Ворон! где б нам отобедать?  
Как бы нам о том проведать?

Ворон ворону в ответ:  
Знаю, будет нам обед:  
В чистом поле, под ракитой  
Богатырь лежит убитый...

27 января 1837-го. Среда. Около 4-х часов дня. Из записок современников. «Пушкин и Данзас вышли из кондитерской Вольфа на углу Невского проспекта (напротив Казанского собора.— Ю. К.) и сели в санки... На Дворцовой набережной они встретили в экипаже госпожу Пушкину. Данзас узнал ее, надежда в нем блеснула, встреча эта могла поправить все. Но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону... Данзас хотел как-нибудь знать проходящим о цели их поездки (вырванья пули, чтоб увидели и остановой!)... День был ясный. Петербургское великосветское общество каталось на горах, и в то время некоторые уже оттуда возвращались. Много знакомых и Пушкину и Данзасу встретились, раскланивались с ними, но никто как будто не догадывался, куда они ехали...»

«Графиня А. К. Воронцова-Дашкова не могла никогда вспомнить без горечи о том, как она встретила Пушкина с Данзасом и Дантеса с д'Аршиаком. Она думала, как бы предупредить несчастье, в котором не сомневалась после такой встречи, и не знала, как быть. К кому обратиться? Куда послать, чтобы остановить поездку? Приехав домой, она в отчаянии говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастье, и предчувствие девятнадцатилетнего женского сердца не было обманом».

...Кем убит и отчего,  
Знает соню лишь его.  
Да кобылку вороняет,  
Дв хозиня молчаня.

Соню в роцку улетят,  
Ни кобылку и дерут сед,  
А хозиня ждет милого,  
Не убитого, живого.

Данзасу (как секунданту Пушкина) грозила кара. Умирающий Пушкин прошептал: «ПРОСИТЕ ЗА ДАНЗАСА, ЗА ДАНЗАСА, ОН МНЕ БРАТ».

...В начале жизни школу помню я:  
Там нас, детей беспечных, было много;  
Нервная и резвая семья...

«КАК ЖАЛЬ, ЧТО НЕТ ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ НИ ПУШКИНА, НИ МАЛИНОВСКОГО. МНЕ БЫ ЛЕГЧЕ БЫЛО УМИРАТЬ».

...В те дни, в таинственных долинах,  
Весной, при кликах лебединых,  
Близ вод слиявших в тишине,  
Являться муза стала мне...

29 января. Пятница. 2 часа 45 минут дня.  
«ЖИЗНЬ КОНЧЕНА!. КОНЧЕНА ЖИЗНЬ!. ТЕСНИТ ДЫХАНИЕ...»

...Моя студенческая келья  
Вдруг озарилась: муза в ней  
Открыла пир молодых затей...

## ЭПИЛОГ

Иван Пущин («Большой Жанно»). «Если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если бы я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достойные России».

Модест Корф («Дьячок — мордан»). «Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака, с беспрестанно новыми историями, с частыми дуэлями... В нем не было... высших нравственных чувств».

Федор Матюшкин («Матюшко»). «Пушкин убит! Яковлев! Как ты мог допустить это? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев, как мог ты это допустить...»

В композицию включены факты, идеи и образы из трудов П. АННЕНКОВА, П. БАРТЕНЕРА, С. БОИДИ, В. ВЕРЕСАЕВА, Н. ГАСТФРИЕНДА, А. ГИССЕНА, Г. ГРОТА, Я. ГРОТА, В. ГАВРИИЛА, Ю. ГЫНЬЯНОВА, П. ЦЕТОЛОВА, И. ЗИДЕЛЬМАНА, а также фрагмент фрески МНКЕЛАНДЖЕЛО «Согорение Адама» и рисунки Нади РУШЕВНОЙ.— Ю. К.



# ГЕНИЙ



# ДОБРА



Рисунки автора.

**С**войство органической сопричастности к культуре, и притом в ее многоликих проявлениях, отметил в Пушкине как одну из основных его черт еще Достоевский. И действительно, по широте и разнообразию тематики Пушкин, как кажется, не имеет себе равных в русской литературе. Он с одинаковой легкостью и какой-то непререкаемой достоверностью изображает и пылкого испанского графа, и блестящий салон французской аристократки, и мрачного барона, упивающегося незримой властью, и Пугачева в степи, и Петра, пирующего среди славных пленников и торжествующих сподвижников, и, наконец, древнего сатрапа, остановившегося перед твердыней «не склонившего выи» народа.

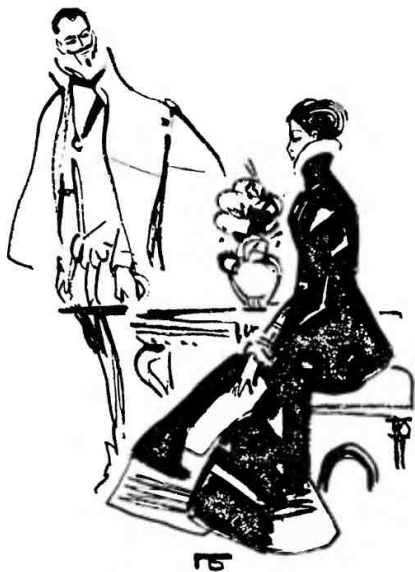
Откуда же эта всеобъемлющая соприкасаемость? Только ли от знаний? Едва ли.

Лев Николаевич Толстой, возможно, знал не меньше, чем Пушкин. Любил ли он предметы своих изысканий? Это другой вопрос. Толстой умел ненавидеть — люто, с гадливостью и редким презрением. Едва успевает появиться Друбецкой — и мы поражаемся, еще несколько глав — и он нам отравитель. Наполеон начинает дрожать своей жирной ляжкой — и он нам отвратителен тоже, хотя толщина Кутузова (еще большая!) нам нисколько не мешает, а лишь делает его роднее.

Что говорить: для ненависти при желании, а иногда и вопреки желанию, поводов сколько угодно. Но вот что примечательно. Вспоминая созданное Пушкиным, мы вдруг видим — ни одного стопроцентного негодяя. Я сейчас перебираю их в памяти — кто же? Годунов — он зарезал царевича, он зять Малюты, сам в душе палач, и отменил Юрьев день, и многое другое, — конечно, негодяй. Нет! Замученный и раздавленный собственным прошлым и одиночеством настоящего, он при всех своих свойствах вызывает тем не менее жалость; на его одинокую могучую фигуру можно даже заглядеться... Тогда Грокуров, уж он-то! Нет, и не он. Да, шуточка с медведем, гарем, расправа со стариком Дубровским, — но ведь поехал мириться! Но ведь широкая душа, хоть и заросшая черт знает чем! «Слушай, брат Андрей Гаврилович: коли в твоём Володьке будет путь, так отдам за него Машу, даром что он гол, как сокол». Или еще: «Я тебе моего француза не выдам... Как можно верить на слово Антону Пафнутычу, трусу и лгуну». Стало быть, была и привязчивость, был и глазомер... Самодур, крепостник — что хотите, но не негодяй! Дальше — еще труднее. Герман! Гусар, похитивший Дуню? Но на последней странице «Смотрителя» она благоденствующая жена Минского. Швабрин? Тут, кажется проявляются, наконец, искомые именно негодяйские признаки. Он подло наущивает на Гринева и не менее подло ранит его. Наконец, он присоединяется к Пугачеву, как говорится, ковыляя ради, явно без убеждения. Но у меня по крайней мере при имени Швабрин прежде всего всплывает в памяти офицер «с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым», быстрая его французская речь, «очень неглуп». Разговор его был остр и занимателен». Но вот в том-то и дело, что магии искусства, и прежде всего по доброте душевной, а еще вернее — по самому своему существу, и мы к этому еще вернемся, Пушкин не мог никого по-настоящему и до конца распотать.



«К ее ногам упал Евгений:  
Она вздрогнула, и молчит...»



«О, Дон Гуан красноречив — я знаю...»



«Петр I не страшился народной Свободы — неминуемого следствия просвещения.»

Конечно, приятно, тем более что человек остроу-  
ный, легкий, и мысли забавные, и острее, и язвитель-  
ные, и веселые так и брызжут. И все в них  
есть, нет только холодной и каменной злобы.

Вот мы и приблизились к главному. К тому, что  
Достоевский назвал «всемирною отзывчивостью»  
поэта. Но откуда же сама эта отзывчивость, так радо-  
стно и как бы каждой новой волне впечатлений  
себя отдающая? А уж чтобы продолжить это сравне-  
ние — починю чередующихся волн (есть все основа-  
ние воспользоваться именно этим образом: ведь и  
Пушкин его любил), и глубокие и могучие подвод-  
ные течения — откуда это все?

От любви: открытой и пристальной к жизни и к  
человеку. И не к абстрактному, а к каждому особому,  
неповторимому.

Пушкин и сам это понимал: «И долго буду тем  
любезен я народу, что чувства добрые я лирой про-  
буждал».

Эта живая, всегда действительная симпатия к людям  
прорывалась у поэта в самых неожиданных обстоя-  
тельствах.

Вот, например, Дон Гуан разглядывает статую;  
следует скептическое: «А сам поклонник мах был и  
тудешуе...», но тут же: «А был он горд и смел, и  
дух имел суровый».

Генев в конце концов немало, а вот сочетание  
высокой одаренности и доброты встречается не  
очень часто.

Что же удивительного, что героем его проникно-  
веннейшим, хочется сказать, мистерия, оказался  
другой светопосец — Моцарт. Не знаю, сознательно  
или интуитивно нанес этот блестящий штрих Пуш-  
кин? Но мне кажется, что Моцарт как бы сам ус-  
коряет решение своего друга, говоря о ком-то: «Он  
же гений, как ты да я...»

Легко понять, что для Сальери это последняя кап-  
ля, тем более что Моцарт перед тем сообщает ему  
нечто еще более убийственное. «САЛЬЕРИ. ...ты со-  
чиняешь Requiem? Давно ли? МОЦАРТ. Давно, неде-  
ля три».

Вот ведь что невыносимо! Сальери, опытный масте-  
р, не мог не почувствовать, слыша эти чудо-  
вищные для него слова, всю несоизмеримость пусть  
сознательного, пусть подстегиваемого неадекватным  
чуждым трудом — и окрыленного творчества Моцарта!

На нас, читателей, это признание Моцарта тоже  
действует как электрическая искра; тот самый Реквием...  
та, возносящаяся вершина — «неделя три»!

Джон Рескин говорил: самое высокое чувство че-  
ловеческое — это благоговение, и тут-то мы испыты-  
ваем его сполна.

«Как некий херувим, он несколько занес нам песен  
райских...» — подтверждает со скрежетом такой ком-  
петентный судья, как Сальери, и тут-то мы видим  
единственный, великолепный по законченности порт-  
рет негодяя. Вот он!

Убийца художника! Предатель друга! Он еще и  
мастак, этот палач!

Свету Моцарта «предстоит», как говорили во вре-  
мена Пушкина, страшная антигиза, грозное персона-  
лифицированное зло.

Мастерство не изменило Пушкину: Сальери отнюдь  
не прилживший злодей, он сверкает бесчисленными  
гранями, как зловещий черный бриллиант. Он умен,  
он блестяще понимает музыку...

«Когда бы все так чувствовали силу гармонии!» —  
восклицает уже отравленный им Моцарт. Сальери  
способен и на глубокое страдание и, по-видимому,  
мучительно любит искусство. Но — и это еще один  
гениальный штрих Пушкина — Сальери отрывает ис-  
кусство от жизни; к чему его слезы, «невольные и

сладкие», перед «музыкой», если он произносит эту  
ужасную в своей простоте фразу: «...хоть мало жизнь  
люблю».

Где ему любить воплощенную жизнь — Моцар-  
та? Недаром он проливает слезы и отравив Моцарта,  
да чего они стоят после этого?

Но Сальери знает и глубок. Ему мало убить, необ-  
ходимо еще теоретически обосновать свое право на  
убийство, и уж за этим у таких людей останки не  
будет.

...Присмотритесь только к вечно живому набору оправ-  
даний, которыми Сальери орудует, как взломщик  
формками и отмычками.

Только вчитаться в эту его апологию убийства!..  
«Я избран, чтоб его остановить». (Кем, кстати, из-  
бран?) «Не то мы все погибли, мы все», — в повятном  
беспособстве повторяет убийца... А раз так: «Что  
пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще  
достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет».

Ну, еще бы, конечно, нет! Сальери всегда точно  
это знает.

И, наконец, самое главное: «Что пользы в нем?»  
Итак, негодяй! И негодяй, не только вооруженный  
с ног до головы, но и, как мы бы теперь сказали,  
вплоть «подкапанный» и торжествующий.

Недолго же ему торжествовать! И мы в нескольких  
завершающих строках видим гибель не Моцарта, а  
его убийцу. Но люди, подобные ему, должны непре-  
менно чувствовать свою непогрешимость. Недаром же  
это нагло-убежденное «я избран!» И теперь все это  
насмарку! Только потому, что Моцарт походя бросил  
слово знаменитое: «Гений и злодейство — две вещи  
несовместные».

«Неправда!» Это кричит злоба, чувствующая даже  
в самый момент своего торжества полное внутреннее  
бессилие.

Слыша вопль преступника, мы как будто видим его  
собственный распад и гибель.

Этот приговор Пушкина — отнюдь не уость и не  
прекраснодушие.

Вот перед вами другой человек, никак не мягче за-  
бытого отравителя-итальянца. Пушкин упорно и ве-  
однократно подчеркивает: «Лик его ужасен» — и еще  
раз «ужасен он». Даже его медная ипостась гонится по  
пустынным улицам ночного Петербурга за обезумев-  
шим Евгением.

Но тогда почему о нем же и гораздо чаще другое:  
«Он прекрасен! Он весь как божия гроза!»... «Кра-  
суйся, град Петров, и стой непоколебимо, как Россия!»  
Именно, служба России, «вечный работник» заложил  
основы ее новой культуры. И не надо говорить, что  
име убита древняя Русь; она агонизировала уже и до  
него. Но благодаря Петру раздался наконец «...в честь  
Науки песен хор и пушек гром».

И мне кажется, что на приведенном сравнении осо-  
бенно хорошо видно, как умен Пушкин преломлять  
в своих лучших творениях проблемы общественного  
и личного в свете незбываемых моральных критериев.

Художник не развивается в безвоздушном про-  
странстве. И общество, его окружающее, всегда ва-  
лкадывается на него свою печать.

Величие же поэта именно в том, что, несмотря на  
душившую его николаевщину, он сумел почувствовать  
и судьбы своего народа и воспеть величайшее каче-  
ство человека — человечность.



В. ТУРБИН

## БЕЗ МЕЖДОМЕТИЙ И МЕСТОИМЕНИЙ

ИЛИ ИСТОРИКО-  
ЛИТЕРАТУРНАЯ  
НОВЕЛЛА О ТОМ,  
КАК ПОЭТ ПУШКИН  
ВНЯЛ ГОЛОСУ  
ХИРУРГА ФЕРША



«Принес  
он смертную  
сполу...»

Рисунок  
В. ГОРЯЕВА.

**М**ного существительных, прилагательных, глаголов, причастий обрушиваем мы на Пушкина. Междометий много. Местоимений: «мой», «ваш». Что подлаешь: любим. Но Пушкин от нашей любви стал как дитя залаксанное: куда деться от нежностей? И поэт угрожающе выходит за рамки истории: под руки его за эти рамки мы, любя, выводим.

Необходим холодный исследователь. Кто-то, кто сумел бы написать о поэте, неожиданно набравшись смелости изобразить его не только таким, каким он предстает перед нами, но и таким, каким он был в свое время: «мой», «ваш», «твой», — хорошо, но и... свой собственный Пушкин был же. Пушкин, не знавший о том, что он Пушкин: не читавший наших учебников, не ходивший по улицам его имени. И я жду человека, который мне Пушкина явит таким.

Заменить ожидаемого «холодного» историка литературы сам я не в силах: тут сызмала надо заниматься подробностями истории начала прошлого века, знать пять-шесть языков, быть своим человеком в архивах. А я уже отравлен сладким препаратом полных собраний сочинений, где Пушкин дан идеально выверенным, опциненным, ясным. Однако же верю, что такой историк придет; порукой — шокирующая нас, старшее поколение, деловитость современной молодежи, ее predisположенность к анализу: видя что-нибудь, спрашивать, как представшее перед глазами устроено. Как сделано? Из чего образовано? Трезвость, которая шокирует нас сейчас, когда-нибудь обернется достоинством. И в ожидании такого историка литературы я два-три штриха из творческой

биографии поэта набросать попытаться: будут догадки и ашшэ чуть-чуть — утверждать.

Когда погружались в чтение стиховника Пушкину журналов, отчетливо видны: Пушкин все время разговаривает, спорит, пререкается с собратями по перу. Неприятно для него нет; нет мелочи, которая не вошла бы в его сознание и, вылившись из-под его пера, не преобразилась бы в то, что впоследствии станет классиком. Жалко, что связь писателя с жизнью мы стали понимать упрощенно: есть писатель; есть некие явления жизни; писатель приходит, описывает. Но, помилуйте, а что же он, не знает о том, что рядом с ним и другие писатели? О том, что и до него литература была? Знает же все-таки. И писатель тем, наверное, и отличается от сочинителя легкого беллетристики, что он постоянно ведет диалог с окружающими. Координирует свое слово с их словом: что-то одно он, допустим, пародирует; другое, напротив, возводит в степень огромной проблемы. Он участник литературного движения, литературной борьбы. Вводя в спор произведения сведения, концепции, идеи, увлеченные им и окружающим его гомоне, ропоте, в столкновениях суждений, он апеллирует к общественному мнению. Художественный образ, созданный им, — аргумент в споре.

Стихотворение Пушкина «Анчар». Легенда о грозном капризе природы: всегда гармоничная, разумная, она разъярилась и произвела на свет анчар, ядовитое дерево.

Природа жаждающая степей  
Его в день гнивая породила  
И зеленя мертвую лещину  
И корни ядом напоила.

А потом произошло то, что произошло: властный взгляд повелителя, дисциплинированный раб, послушно потекши в путь и возвратившись с ядом. Смерть раба.

Интерпретировать, толковать «Анчар» можно по-разному; это легенда, а жизнь мифа в веках как раз и гарантируется тем, что его толкуют, споря о нем: истина рождается в споре, и в споре она только и может жить. Но нас прежде всего интересует генезис, происхождение «Анчара». Что знал об анчаре поэт? Между какими типами знания, между какими суждениями мог колебаться он? Можно утверждать: сведениями об анчаре как таковом Пушкин располагал точными.

Бойкий и какой-то неунывающий журнал «Благонмеренный», который начал издаваться с 1818 года — вскоре после окончания Пушкиным лицея: оды — от одной из них, кстати, тянется нить к пушкинской оде «Вольность»; повести, порою чуть-чуть напоминающие будущие «Повести Белкина» и «Евгения Онегина». И такое: «Доктор Горсфильд (Horsfield) „сообщает новейшие известия о славном ядовитом древе, вопреки называемом, из которых видно, что Хирург Голландско-Остивндской компании Ферш сочинил нелепую сказку, уверяя нас, будто в окружности оного яди на 10 или на 12 миль не растет ни дерева, ни травы, и будто для собрания с него яду посылаются обыкновенно осужденные на смертную казнь преступники, из которых остающиеся в живых получают прощение. Правда, что на острове Ява растет дерево, называемое Ангар, которого яд, попавшись в самую легчайшую рану, скорпостножнко умерщвляет; но оно стоит посреди лесов, окружено кустарниками и растениями, и на оное можно взлезать даже без малейшей опасности. Только мгновенно после того, как оно бывает срублено, воздух наполняется ядовитыми испарениями. Яд находится в коре, которая так много имеет соку, что в короткое время можно наполнить оную целую чашку. Впрочем Голландские

солдаты вышли против него в вятном особенного рода корне противящие, которое будучи употреблено во время, всегда почти спасает жизнь зараженного».

Интересно? Я спрашиваю это потому, что я часто слышал в преподавательских кругах суждение: молодежь, школьникам не надо преподавать историю литературы — зачем? Нужно другое: нравственность и нравственная суть художественного произведения. Но без истории литературы, без анализа произведения в основных хотя бы чертах его происхождения и его устройства никак нравственности быть не может. Нравственность начинается там, где есть желание, жажда понять обращающегося к нам человека: в данном случае Пушкина. Встать на его точку зрения. Заново продумать то, что он когда-то продумывал, и прочесть то, что он читал.

Предположим, что Пушкин не прочел заметку в «Благонмеренном», нелепо. Среди подписчиков журнала обозначены «их Благограда: Вильгельм Карлович Кюхельбекер... Барон Антон Антонович Дельвиг. Заметка об анчаре (явная опечатка: «Ангар») помещена в IV номере журнала за 1818 год; здесь же — стихотворение Дельвига, посвященное Пушкину. В седьмом, июльском номере, — стихи самого Пушкина: «Надпись к портрету В. А. Жуковского». И утверждать, что поэт не читал заметки, можно только, нарисовав мрачную картину:

а) Кюхельбекер и Дельвиг на журнал подписываются, но своему другу Пушкину, обожаемому и благодаримому ими, они почитать журнал не дают;

б) Пушкин все-таки читает журнал; но он читает лишь стихотворение, которое посвящено ему, пропустив все остальное;

с) сюжетные и словесные совпадения заметки с пушкинскими стихотворением совершенно случайны. И мрачно и несуетливо. Значит...

Значит, заметку об анчаре (Ангаре!) Пушкин все же читал. Дезаутельств того, что он с кем бы то ни было говорил о ней, обменивался мнениями, у нас нет. Предположим, что говорил, спорил. А может статься, и в одиночку прочел. И, во-первых, запомнил заметку до мельчайших подробностей. А во-вторых, располагая дендрологическими сведениями об анчаре и даже зная, что от яда анчара можно найти облегчение «в вятном... корне», этими ботаническими и фармакологическими познаниями Пушкин пренебрег, решительно и демонстративно встал на сторону хирурга Ферша: Ферш, который «сочинил нелепую сказку», оказался для него дорожке доктору Горсфильду и его «повеших известий» (я, грешным делом, выбор Пушкина одобряю: выдумщика Ферша почему-то я и полюбил). В-третьих же, десять лет, с 1818 по 1828 год, берет поэт в память спор, тяжбу, свидетелем которой он оказался: тяжбу доки доктора с выдумщиком-хирургом — тяжбу размеренности с воображением и фантазией. Десять лет! Ссылки, кочевая жизнь, любовь, утраты, казнь декабристов, возвращение из изгнания. И выливается из-под пера «Анчар»: полемика продолжается.

Нелепая сказка, — обоснованно твердит трезвый голос, — выдумка!.. Анчар так себе дерево, никому особенно не мешает, и на него даже взлезать можно! А Пушкин, внявля этому поучающему голосу, отвечает:

В пустыне чашлой и скупой.  
На почве зноим расклеванной,  
Анчар, как грозный часовой,  
Стоит, один во всей вселенной.

Читал ли хирург Ферш «Анчар»? Не читал, разумеется. Вероятно, ко времени создания «Анчара» Ферша уже не было в живых: историки обнаружили, что сделанное этим фантазером описание древа яда

впервые появилось в 1783 году, в декабрьском номере еженедельника «London Magazine». (Фамлия Ферша писала так: Foersch — Фурш.) На русском же языке легенда была изложена в журнале «Детское чтение для сердца и разума», 1786, часть VII. А вообще-то фантазия Ферша-Фурша была распространена в Европе очень широко: Ферша пересказывали, Ферша проверяли. Но, воздвигнув себе такой своеобразный памятник, сам Ферш, я полагаю, уже умер из жизни. И ни опровержения своей сказки он не читал, ни тем более стихотворения русского поэта Roushkin'e'a. А прочитал — ахнул бы: не думал он, не гадал, сочиняя свою «нелепую сказку», что где-то в России, в Малинниках, обретает он себе могущественного союзника! В Амстердаме аукнется, в Малинниках откликнется: «Анчар» был написан в Малинниках. Что ж, да прославится в веках хирург Ферш! И тверское село Малинники!

Стихотворение Пушкина навсквозь литературно. Сравнение одинокого дерева с часовым в поэзии начала прошлого века — обиходное сравнение; вспомни пошедшую в народ «Песню А. Ф. Мерзлякова «Среди долины ровныя...». Там — дуб в поле «одня, одня, беднячекка, как рекрут на часах» (ср.: «как грозный часовой, стоит, один...»). А первоначально к стихотворению был взят эпиграф из трагедии английской лирика и драматурга Кольриджа «Раскаяние». «Это — ядовитое дерево, которое, пронзенное до сердцевины, плачет только ядовитыми слезами» (эпиграф давался в подлиннике, по-английски). Словом: хирург Ферш с его выдумкой; журнальная заметочка, прочитанная десять лет тому назад; сентиментальный романс; трагедия английской романтика. Источники, впрочем, можно найти еще и еще; их искали и находили: есть, например, очень интересное предположение о том, что образ «жаждущих степей» взят Пушкиным у М. В. Ломоносова.

«Литературщина» — как сказал бы иной современный нам лектискусствитель. Однако жизненность стихотворения, почти осязаемая осязательность его деталей — в полном согласии с его насыщенностью литературными реминисценциями. На наших глазах происходит творение легенды. Она рождается, казалось бы, из ничего. Из пустяка, заметочка, помещенной под рубрикой «Новые изобретения, открытия и т. п.». Но она рождается, точная в деталях и альтернативная в каких-то генеральных решениях. И в становлении ее участвуют... да сколько же их, творцов этой легенды: голландские солдаты, забравшиеся в джунгли Явы; хирург, сочинявший нелепую сказку; трезвый реалист-доктор, опровергший ее; английский поэт. А сколько стран, земель и морей вовлечено в сотворение мифа об анчаре: Индонезия, Голландия, Англия и, наконец, наша Россия; шла, шла легенда, да в Малинники и пришла; из джунглей Явы — да в наши поля, перелески и озерки, в Тверскую губернию.

И снова возникает вопрос: история литературы не надобно, поменьше ее, а погуще бы нравствен-нос-ти! А неужли сама история создания «Анчара» не есть акт высочайшей нравственности? Неужли не отразилась в одном-единственном стихотворении Пушкина его прославленная всемирность?

«Влияние» да «традиции», только их мы и знаем. Но о влиянии Ферша на Пушкина я сказать не рискнул бы. И о традициях тоже. У нас и слов нет таких, чтобы обозначали они постоянно, непрерывное общение поэта со всем, что говорится, утверждается или опровергается вокруг него. Идеальный диалог. Отношение к истине как к явлению, становящемуся и по крупице содержащемуся везде: и в торжественных преданиях, которые Пушкин снижал до уровня жизненных курьезов; и в курьезах, подни-

маемых им до уровня прекрасных легенд. Так обозначил бы я то, что я вижу у поэта — у «тогдашнего», у «своего», что ли, Пушкина.

Пушкин нисколько не скрывал источников созданной им легенды: журнал «Благонамеренный» в двадцатые годы читался широко, говорю относительно, так же, как наш «Огонек». Напротив, Пушкин прямо-таки укывает на эти источники: заметку из журнала он порою буквально цитирует. «Воздух наполнен ядовитыми испарениями», — вещает журнал в развешивающей миф «реалистической» части заметки.

Недвигно все, лишь ветер горный, — пишет поэт в черновике; зачеркивает, исправляет:

...лишь вихорь черный  
На древо смерти набегит  
И мчится прощ, уже тлетворный.

Журнал поучает: «Яд находится в коре». И Пушкин подхватывает:

Яд каплет сквозь его кору.  
К полудню расотелся от зною...

И характерно, что ботаническую справку — именно ее! — поэт на глазах наших преобразует в миф. Одновременно переходит он и к изложению «введенной сказки» Ферша, как бы редактирует ее, заостряя заложенные в ней коллизии. Приготовленных к смерти преступников он превращает в собирательного раба; вводит в легенду владыку — царя, князя. Появляется повторяющееся движение неких капель, струй сверху вниз:

Яд каплет сквозь его кору...

Далее:

И пот по бледному челу  
Струится ледяными ручьями...

Капля, капля... Жутко. И потому жутко, что некий анчар на свете, оказывается, все-таки есть; и потому еще, что ты до конца и не знаешь, кто же здесь прав, а кто нет. Зачем природа небезобразничала? А князь, посланный раба за ядом? «А яругу это был какой-нибудь прогрессивный князь?» — виновато спросила меня одна милая десятиклассница. Наверно, но и правомерно же.

А князь тем ядом напал  
Свои послушливые стрелы  
И с ними гибель разослал  
К соседям в чуждые пределы.

Уж чего хорошего: гибель соседям. Но другой пушкинский князь, явно симпатичный и поэту и нам, вещий Олег, тоже не отличался кротостью по отношению к соседям своим.

Их села и нивы за буйный набег  
Обрек он мечам и пожарам.

А на берегу Невы, как известно, стоял царь, Петр I. И думал об:

Отсель грозить мы будем шведу.  
Здесь будет город заложен  
Назло надменному соседу.

Разные бывают соседи: и надменные и агрессивные. Может статья, те соседи, владения которых граничили с княжеством героя «Анчара», и надмены были и к буйным набегам склонность питали.

А раб? В «введенной сказке» хирурга все же есть правосудность: умирать на плахе или умирать от яда, имея надежду спастись. Но здесь — чистый императив: иди!

И тот послушно в путь потек  
И к утру возвратился с ядом.

Забитый какой-то раб: взял да и пошел. А надо было, конечно, бороться. Да, но как? Послать князя подальше, буркнув ему что-нибудь вроде: «Вам я нужен, так уж вы, ваше сиятельство, сами за ними ступайте!» Спешно, за одну ночь поднять восстание рабов — восстание в тылу у князя, воспользовавшись которым недремлющие соседи точно же и učinили бы буиния набег? Лукаво саботировать державное повеление, как поступали бы, без сомнения, два замечательных героя пушкинского «Бориса Годунова», продавая черенцы Мисаил и Вараам? Послал бы князь за ядом их, они, может быть, и побрели бы в путь, но до зачарованного древа, право, не добрали бы, оказавшись в ближайшем кабаке, упившись там и в конце концов насолов непобедимому владыке, тихонько сорвав ему весь план задуманной им победоносной кампании. «Они бы ему лопух какой-нибудь принесли,— робко фантазировала та же девушка из десятого класса,— напделли бы сорок бочек арестантов, чесади бы в затылках, крятели бы, уверяли бы, что бес их попутал!» Да, легенда на то и легенда, чтобы ее обсуждали. Вечно. Отсыкаясь решения, отказываясь от них, неустанно ища новых,— так, как человек идет к истине вообще: приближаясь к ней, но никогда ее в абсолютном виде не достигая. И Пушкин творит легенду. Вернее, завершает легенду, созданную поколениями солдат и мореплавателей, медиков и поэтов. Ее опровергают, а она живет и живет.

Об «Анчаре» пушкинисты спорили много. Ферша (Фурша, Ферта?) упоминали, хотя и редко; и, по моему, ближе всего к истине были как раз те, кто связывал Пушкина с Фершем, а «Анчар» — с русской журналистикой и с общественной проблематикой России 20-х годов. Но я не знаю, почему никто не сделал последнего и решительного шага — не сопоставил с «Анчаром» именно заметку в «Благонамеренном»: она неопровержимо говорит о двух версиях, из которых поэт, прекрасно зная их обе, твердо выбрал одну. Заметка и являлась бы вождельной «точкой», которую ищут возможности поставить уже лет семидесять.

«Анчар» публикуется в 1832 году в альманахе «Северные цветы». Альманах носил на себе печать трудов А. А. Дельвига. Но Дельвига уже не было в живых, а В. К. Кюхельбекер был в тюрьме. Не им ли, своим друзьям, посвятив поэт этот поступок — опубликование стихотворения, неясный замысел которого возник четырнадцать лет назад при их участии? И не пытал ли Пушкин надежды на то, что овеянные памятью Дельвига «Северные цветы» дойдут и до Кюхельбекера, снова соединив их, трех лицейстов? «...В ваши каторжные норы доходит мой свободный глас». Именно в том же 1832 году поэт просил Бенкендорфа разрешить сестре Кюхельбекера издание нескольких рукописных поэм, оставленных ей ее братом. Он писал: «Я был школьным товарищем Кюхельбекера...» Мысль о Кюхельбекере, как о школьном товарище, лицейсте, не покидала его. Уверждать здесь, конечно, ничего не осмеливаюсь; лишь осторожно предпологаю.

В печатном варианте «Анчара» выступал, как известно, не «князь», а «царь». «Это насторожило Бенкендорфа, заподозрившего в стихотворении какое-то иносказание», — сообщает комментарий к сочинениям Пушкина. Что ж, жандармы на то и жандармы: искать иносказания и там, где они есть, и там, где их нет и в помине. И Пушкин протестовал против такого сверхпринципального чтения стихов. С какою-то своей всегдашней чистотой и готовностью вступить в беседу со всяким, будь он бродягой или вторым человеком в государстве, главным жандармом, поэт порывался деликатно растолковать его высокопревосходительство простейшие основы интерпретации художественного образа. «...Обиновения в

применениях и подразумениях,— писал он,— не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом дерево будут разуметь конституцию, а под словом стрела а самодержавие». Понял ли поэт по своему неглупый, но лишенный, кажется, чувства юмора, но вечно страдаемый тайным страхом перед крамолой Александр Христофорович? Возможно, и понял. И где-нибудь распорядился: намеков в «Анчаре» искать не надо, послужку начин их искать — не останавливаться.

Но пока жандармы искали в «Анчаре» каверз, они прострелили... жанр стихотворения, вытекающий из истории его создания. А здесь-то волюндуismo и содержалось: жандармы боялись, когда люди спорят о чем бы то ни было; они тоже знают, что в спорах рождается истина. А зачем она? И еще боялись они, когда люди берутся за какое-нибудь дело сообща, соборно, меняя ролями. Хирурги обязаны ставить пивьяки и кровь отворачивать; мореплаватели — плавать по морям; поэты — писать стихи. А тут-то все спуталось! Все вышло из предначертанных границ; и какая-то истина пошла скитаться по городам и весям, кочуя с острова Явы в Малинники, а там появившись и в Санкт-Петербурге. Истина неуловима. Неформулируема. А жандармам, может быть, даже и хотелось, чтобы она поддавалась отчетливой формулировке: «Самодержавие — плохо, конституция — хорошо». Да, это — нечто крамольное. Но это было бы сказано на их языке; выражено в понятиях, и м до ст у п н ы х. И это они поняли бы. И на формулу они могли бы ответить формулой же: «Нет, конституция — плохо, а самодержавие — хорошо!»

Но Пушкин не хотел говорить языком таких формул. Да и задача заключалась не в том, чтобы, превращая мудрые легенды в хитроумнейшие политические намеки, пререкаться с III отделением. Жизнь шла своим чередом, требуя создания непреходящих духовных ценностей, причем создания их из того, что казалось никому не нужным, какими-то отбросами словесности: из анекдотов, из пересудов московских старушек-просиен, из журнальных заметок. Пушкин делал свое дело и говорил на своем языке. Разочаровывая радикальную часть общества кажущимся мифологием и даже — о, ужас! — компромиссами с властью, а жандармов повергая в недоумение сложностью исканий своих.

Да будет проклят правды свет.  
Когда посредственны хладной,  
Завистливой, к соблазну жадной,  
Он угождает правдой! Нет.  
Тыме низких истин мне дороже  
Нас возвышающий обман...

провозгласил Пушкин в 1830 году, как раз между созданием «Анчара» и опубликованием его. Стихотворение «Герой» — прекрасный комментарий к «Анчару». В историях с чумой («Герое») или с «рвотным корнем» (у Ферша) не то худо, что грубо, некрасиво они выглядят, а то, что здесь нечему развиваться. Нечего обсуждать: все завершено, все готово, все несомненно. А хирург, сочинивший об анчаре повесть что, взбудоражил воображение множества людей, дал пищу их фантазии, духовно насытил их. И пригрез Пушкин хирурга. И потащил за собою в века, так же, как потащил он в века скалозачицу Арину Родионовну и целый легион своих современников, гонимых которых перестанно звучали в его сознании.

Узрим же Пушкина таким, каким он был. И займемся историей литературы, полюбим ее: право же, нравственное это дело, да и интересное бесконечно...



«Пиковая дама».

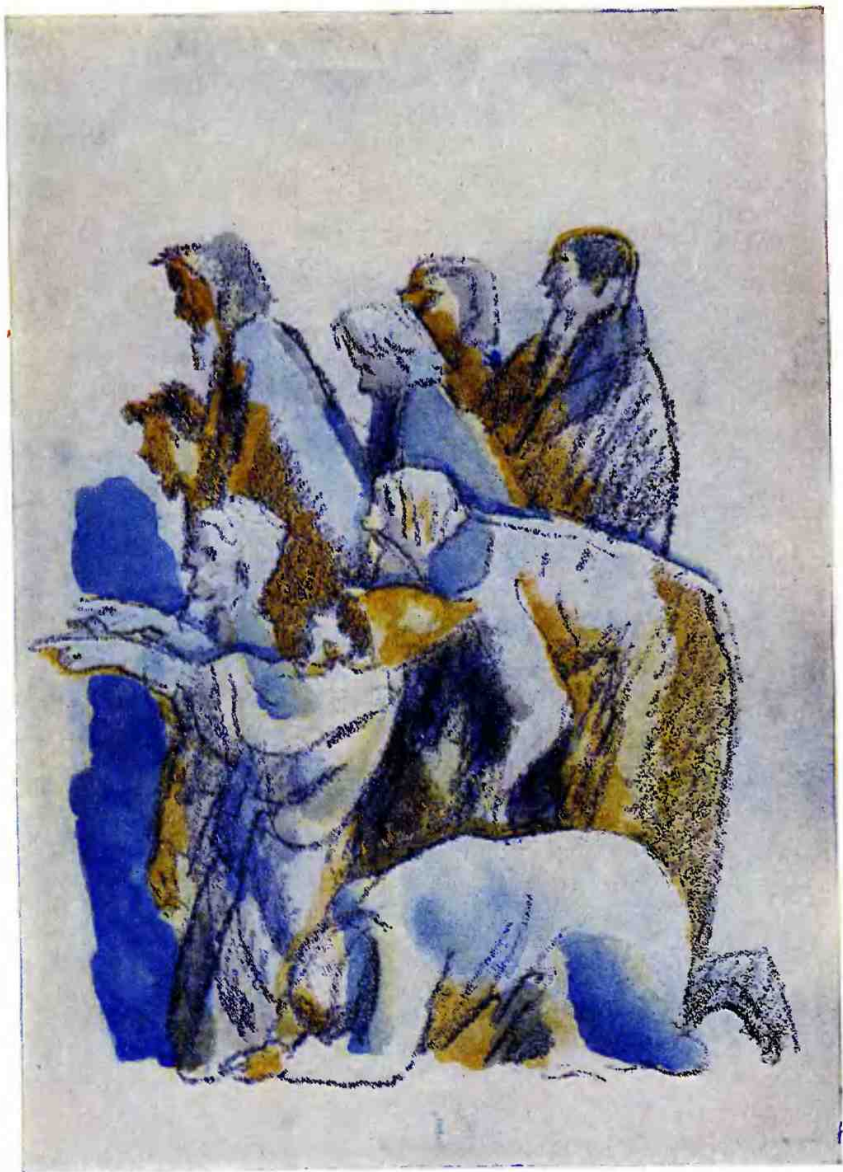


«Цыганы».

Из новых иллюстраций Виталия Горлева к произведениям А. С. ПУШКИНА.



«Борис  
Годунов».







## Олег ЗАГОРУЙКО



Автору 30 лет.  
Предлагаем вниманию читателей  
его первые рассказы.

# ДАЙ ПЯТЬ, ПАЦАН!

ТРИ РАССКАЗА

Рисунки  
О. ГОКИНА.



## I. ПРОХЛАДНОЕ СЧАСТЬЕ

**З**аруби себе на носу, что, переходя улицу, нужно посмотреть вначале налево, потом направо.

Мой парень, то есть сын семи лет, шел рядом и без умолку болтал.

Я бросил сигарету в урну, но не попал.

— Заруби себе на носу: не бросай окурки на тротуар, — уел меня Артем, хитро сощурив глаза. — Мороженое! Мороженое! — вдруг закричал он и потащил к яркому голубому ларьку.

Из окошечка выглядывал по-детски радостный старичок. Он направо и налево раздавал пломбиры и эскимо. Мой Тема выбрал фруктовое и замолчал, завявшись мороженым.

А я не ем мороженого. Никакого. С того дня, когда до времени почувствовал себя взрослым. Было это давно. В тот год, когда солдаты все еще возвращались с войны и хлеб давали по карточкам. С тех пор, как только я увижу мороженое, мне всегда вспоминается этот день.

Было воскресенье. Мама открыла свою коричневую потертую сумочку, вынула рублевку и дала ее мне на мороженое. Я положил деньги в карман штанов и сиганул во двор. Свистнул в два пальца, и вот он, Серега, рядом. Только мы собрались юркнуть в ворота на улицу, как вдруг видим: шагает нам навстречу капитан. Молодой, но с седчиной на висках. На руках у него — наша соседская Ленка с тряпичной куклой. Рядом идет ее мать.

— Папка, мой папка с войны вернулся, — едва увидев нас, заорала Ленка, а Ленкина мать аж пунцовой стала или краска на ней такая была...

А капитан опустил Ленку на землю, полез в карман, достал папиросу и закурил, ломая спички.

Мы-то знали: Ленкин отец в том же году погиб, что и Серегин, — сорок третьем. Смертью храбрых. Ленка тогда совсем маленькой была.

Мы вежливо сказали:

— Здравствуйте, с возвращением вас, дядя, — и потопали дальше.

Дошли мы с Серегой до угла, где мороженое продавали. Тетка-мороженщица стояла на своем обычном месте с синим ящичком наперевес. Штуккавину, похожую на гранату, она ловко набивала белым, чуть соленным мороженым. Раз, два, три... И из круглого отверстия появлялся ровный кругляшок с вафлями, на них были имена: Саша, Маша, Сережа, Таня...

Наша очередь совсем подошла, осталось всего человека три. Мы терпеливо ждали. Вдруг за нашей спиной послышался стук деревяшек и скрип колес.

По тротуару на тележке с колесиками, как у самоката, катился человек в тельняшке.

Много было тогда калек, но такого я еще не видел: у матроса не было обеих ног, а лицо было изуродовано так, что казалось, он все время улыбается, но глаза были прищурены и серьезные.

Матрос остановился рядом с нами. Снял бескозырку и положил рядом с тележкой. В ней я увидел деньги...

Я подошел к матросу, опустил рубль в бескозырку и хотел было уйти, но матрос вдруг закричал:

— Дай пять, пацан! — и сграбастал мою руку в свою здоровенную темную ладонь.

Я испугался и сказал:

— Нет у меня больше, дядя!  
Он неожиданно засмеялся, затем закашлял так, что в груди у него засвистело и захлюпало. В промежутках между приступами кашля матрос все повторял:

— Рубль, говоришь, только! Больше нет, да?  
— Ха-ха-ха, — смеялся кругом.

Собралась толпа. Я хотел убежать, но матрос крепко держал меня. Потом он перестал смеяться, тряхнул бескозыркой: в ней зазвенела медь и зашестели бумажки. Матрос высыпал деньги мороженщице в ее необъятный карман и гаркнул:

— На все! — И добавил негромко: — Прохладного счастья!

Затем он виновато улыбнулся мне, нахлобучил бескозырку, ловко развернулся на своей тележке и покати́л от нас. И никогда больше я не видел его...

Тетка стала быстро-быстро набивать свою гранату мороженым. Мальчишки и девочки подхватывали и подхватывали кругляшки, а они все не кончались... Мне и Сереге досталось по целых три порции...

— Дай пять, пацан! Дай пять, пацан! — Я поймал себя на том, что все повторяю и повторяю эту фразу вслух. — Дай пять...

— Пап, а пап! — тербил меня за руку мой Тема. — Скажи, кто такой пацан!

— Твой отец.

— Правда!

— Правда. — Я достал платок и вытер ему усы из мороженого.

## 2. СКОРЫЕ ЛЕПЕШКИ

**3** а несколько дней до встречи Нового года моя мать простыла и слегла. И все хлопоты по хозяйству пришлось вести мне: топить, ходить за водой, в магазин за хлебом.

А тридцать первого декабря с утра нужно было получить муку. Настоящую муку, из которой можно испечь блины и оладьи, печенье и другие лакомства. Да что там говорить. Мука есть мука.

Я готов был выстоять любую очередь, накануне долго не мог заснуть, поднялся утром затемно и побежал за мукой.

...Очередью дирижировала толстая, краснощекая тетка. Все ее звали тетей Мотей. Она тасовала людей, как колоду карт, все время повторяя:

— Следующий, следующий!

Когда начало светать, подошел и мой черед.

— Рук! — басом приказала тетка.

Я снял варежку. Тетка плюнула на ладонь и химическим карандашом вывела мне номер. Теперь можно было встать в очередь за мукой.

Я постоял немного, а потом сказал старухе в черном, стоящей впереди:

— Я отойду? Ненадолго... До переключки, а?

— Ступай, касатик!

Пруд был рядом. Я живо прикрутил коньки к подшитым валенкам и покати́л по льду. Взошло солнце, тусклое, будто блин, не политый маслом. С каждым кругом мне становилось все теплее. Вскоре появились ребята с нашей улицы. Вовка-Погадай, смуглый, как все цыгане, Галка-Фыра, толстая и вечно жующая что-то, мой друг Серега и Стас-Рыжий глаз. Они таскали громадные санки. На этих санках Вовкин отец возил обыно дрова.



— Пашка, айда с горы! — завопила Галка. И началась куча мала. Стало весело и совсем жарко. Мы барахтались в снегу, как тюлени. Я потерял в сугробе варежку и с ужасом увидел на красной и голой ладони лишь бледное фиолетовое пятно.

...Черный хвост очереди гнбал угол магазина. Тетка трубно выкрикивала номера:

— Двести один!  
— Здесь!  
— Двести два!  
— Тут!  
— ...Двести пять!  
Она повторила:  
— Двести пятый!  
— Нету. Чаевичнает, — откликнулся кто-то.  
— На нет и муки нет, — съязвила тетка и показала дулю.

В очереди Невесело засмеялись. Я воспользовался заминкой и подошел к тете Моте с протянутой голой рукой.

— Я не помню свой номер... Стер нечаянно.  
— Двести... Не мешай, пацан! Что ты лапу тянешь? Глади, гражданае, измазал чернилами и тынет. Ловчица этикий.

Я закусил губу и медленно пошел вдоль очереди. Старух в очереди стояло много, и все они были одеты в черное.

— Я не за вами занимал? — кинулся я к одной.  
— Нет, мальчик.  
— Кажется, я здесь стоял!  
— Кажется! Перекрестись! — прошамкала другая. Старуха, за которой я стоял, исчезла.

...Ноги в сапогах, валенках, ботиках стучали друг о друга, приплясывали.

Вдруг кто-то окликнул меня. Я оглянулся и увидел нашу соседку тетю Тоню. Она тоже сильно озябла в своем демисезонном пальто. Это было видно по ее синему лицу, потрескавшимся на морозе бледным губам.

— Паша, вставай ко мне. Ты забыл. Дают по полкило в одни руки. Получишь на мой номер.

Я хотел было встать рядом с ней, как вдруг заметил мужчину в шинели. Он зябло кутался в шарф и постукивал палкой по протезу...

— Нет, — сказал я.

...Когда снова подошла моя очередь к тете Моте, я вынул руку из кармана и сам плюнул на ладонь.

Тетка, рисуя номер, ехидно заметила:  
— Нас на мякине не проведешь. Ишь, хитрован, скорых лепешек захотел.

### 3. ДРУЖИЦЕ ДИК

**Д**ик, ирландский сеттер чистых кровей, был красно-рыжим, как осенний кленовый лист, и хитрым, как цыган, но к детям доверчивым и добрым.

Хозяин Дика — дед моего приятеля Стаса — держал пса в строгости. При хозяине Дик был сдержанным и деловитым. Но когда мы оставались одни, гордый пс позволял себе шалости с нами, куrolесил озорно и раскованно.

Деда звали Ферстепаньчем. Так окрестила его собственная супруга, Ферстепаньч приходил с рабо-

ты часто навеселе. И всегда произносил виновато два непонятных слова:

— Аллен-куражк.

После чая дед долго шелестел газетой. Наконец наступала минута, когда Ферстепаньч подызал к себе Дика, скупо ласкал его, трепал за ушами. Затем клал перед носом пса сахар, командовал «тубо», проверял выдержку и послушание. Дик долго сидел с высунутым языком, а Ферстепаньч в этот момент строго глядел на него, косил одним глазом на плетку, висевшую рядом с великолепным бельгийским ружьем... Эта пауза длилась невыносимо долго. Затаяв дыхание, мы ожидали вместе с Диком, когда же Ферстепаньч скажет: «Пиль!»

Так вел себя Дик вечером. Спокойно. Сдержанно. Величаво. А днем, когда родственники Стаса уходили на работу, начиналась чехарда. Дик носился кругами по двору, оглушительно лаял на ворон, кулался в снегу. А снег был чистым, будто подсиненная крахмальная скатерть.

Незадолго до прихода Ферстепаньча мы возвращались в теплый дом. Хитрый Дик наедался полюбки, как ни в чем не бывало ложился на свое место и поджидал хозяина.

А мы с возжелением глядели на ружье. Стас снимал его с гвоздя, и тогда Дик подбегал к двери, подбрав живот, начинал скулить, громко и часто дыша. Иногда Стас великодушно разрешал мне подержать дорогую вещь. Но и только. Холодная вороненая сталь быстро нагревалась в моих руках. Я страшно завидовал Стасу. Мой друг не раз бывал с дедом на охоте, даже стрелял из этого ружья.

Меня же Ферстепаньч никогда не брал в лес.  
— Хватит и одного пострела, — бурчал он, набивая перед охотой патронша.

Патроны Ферстепаньч держал взперти в старинном дубовом шкафу.

Однажды фортуна улыбнулась нам. Впрочем, лучше бы она была суровой.

В понедельник я пришел к Стасу учить уроки. Дома, как обычно, в этот час никого не было.

Мы прошли в комнату. Я мельком взглянул на шкаф.

— Ключ! — прошептал я.

Забитый Ферстепаньчем ключ торчал в дверце шкафа. Открыть его было делом одной минуты. В шкафу оказался целый склад боеприпасов: патроны, порох, дробь.

— Вот они, патроны-патрончики. Вот они, красавчики, — алчно приговаривал Стас. — Жаканы нам не нужны... Медведи в огороде не водятся. Мы будем охотиться на дичь, — бормотал он, засовывая патроны в карман.

Стас снял с гвоздя ружье. Дик стал царапать котьями дверь.

Дом Ферстепаньча стоял на отшибе, в конце улицы. При нем был большой, как футбольное поле, огород. На старой березе сидели вороны и каркали от безделья и голода.

Стас, дрожа, зарядил ружье, приладил ствол на заборчике, прицелился и бабахнул. Стая ворон поднялась с березы, две из них упали вниз. Стас был метким стрелком.

— Дуплет! — со знанием дела бросил он. Дик не спеша, с достоинством побжал за добычей. Мне не терпелось тоже стрельнуть.

— Сейчас, только зарядку, — сказал Стас.

Он нажал на инjekтор, хотел выбросить стреляные гильзы, скользнул пальцем по курку, и раздался неожиданный выстрел. Дик пронзительно взвизнул, медленно повернул свою красивую, гордую голову и с укором поглядел на нас.

Мы помчались к Дик. Снег рядом с ним был в мелких алых пятнах, будто здесь рассыпали клюкву из лукошка.

— ...Ты знаешь, где собачья больница?

— Нет, — ответил я.

Стас звал пса на руки и тяжело зашагал к дому. Дик ткнулся мордой в его лицо, лизнул щеку.

Дома Стас скомандовал:

— Простыню!

Мы запеленали в нее пса, затем положили его на санки и осторожно привязали.

По улице мы гнали, как хорошие рысачи. Скорей, скорей! Вот и больница. Стас взял Дика на руки и решительно толкнул дверь ногой.

— О, боже! Это еще что за явление! — встретила нас на пороге женщина в белом халате. — Здесь не ветлечебница, а детская поликлиника... Сядьте на пятый трамвай, потом на второй автобус, немного пройдите пешком, там и будет ветлечебница, — терпеливо, но нежно втолковывала нам докторша. Мы не уходили и требовали осмотреть нашего Дика.

— Если вы не понимаете по-хорошему, придется позвать милицию! — взорвалась докторша.

— Что здесь за шум? — Из кабинета вышел усталый врач.

Он бросил быстрый взгляд на Дика, завернутого в побуревшую от крови простыню, затем строго поглядел на нас.

— Всю ответственность я беру на себя, — твердо сказал доктор. — Прошу вас, молодые люди. — И закрыл за нами дверь кабинета.

— ...Должен заметить, вы и ваш Дик в сорочке родились. Ранение не страшное. Задело слегка. Сейчас прооперирую. А вы не отворачивайтесь. Глядите! Глядите!

В нескольких местах доктор остриг Дика, извлек дробь, перебинтовал бок и заднюю лапу.

— Ну, теперь живо домой! На перевязку пожалте по этому адресу. Я здесь рядом живу.

Доктор протянул нам бумажку.

...Мы с ужасом ожидали прихода Фертстепаныча.

А Дик, положив голову на лапы, спокойно дремал под телогрейкой. Мы накрыли его, чтобы спрятать повязки.

В сенях затопал Фертстепаныч. Дик тотчас подал голос.

— Ален-кураж, ребятки!

Дик выскочил из-под телогрейки. Фертстепаныч недоумоно глядел на повязки.

— В чем дело? Что за маскарад?... В чем дело? — грозно переспросил он.

Фертстепаныч снял ружье, заглянул в стволы и даже нюхнул их.

— Понятно. Ну, пострел, держись!

Дед рванул со стены плетль. Стас покорно подставил спину. Я тоже. И только Фертстепаныч занес



Мы стояли, понурив головы.

— Драма на охоте? Такого пса! Мальчишки соплявые... Впрочем, словами делу не поможешь. Нужно немедленно осмотреть вашего...

— Дика! — подсказали мы хором.

Докторша пошла красными пятнами.

— Ну, знаете, Иннокентий Сергеевич, это... форменное...

плетль для хорошего удара, как Дик неожиданно подпрыгнул и, лягнув челюстями, сомкнул их на руке хозяина.

— Аллен-кураж! — скрипя зубами, прорычал Фертстепаныч и опустил глаза, горевшие гневом. — Одна ко ваша вина и вина, союзнички... — выдохнул он.

г. Калинин.

Валерий  
ГЕЙДЕКО

# СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР



**С**егодня о сибирской прозе много говорят и пишут. И для этого есть веские причины: о Сибири существует целая библиотечка книг, которая с каждым годом умножается. Примечательно, что среди авторов произведений об этом крае мы найдем не только коренных сибиряков. Многообразная тема Сибири интересует писателей разных поколений, разных творческих индивидуальностей. Сибирь — это и арена острых классовых столкновений в гражданскую войну; и район гигантских новостроек, коренных социальных и нравственных перемен; и край еще не освоенных и не познанных полностью просторов; и обетованная земля, «Мекка» для вчерашних десятиклассников, убежавших сюда от реальных сложностей жизни... Мы вспомнили только проблемы, которые питали литературу о Сибири последние десять — пятнадцать лет. А ведь Сибирь пустила такие глубокие корни в русской и в советской литературе, что не сразу до них и докопаешься...

Вспомним только одно путешествие — поездку Чехова на Сахалин, через Сибирь. Чехов ехал на перекладных, с дорожными приключениями (лихость ящиков чуть не стоила ему жизни). Почти сто лет назад Чехов написал в очерках «Из Сибири»: «Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега! Я завидовал Сибирякову, который, как я читал, из Петербурга плывет на пароходе в Ледовитый океан, чтобы оттуда пробраться в устье Енисея; жалел, что университет открыт в Томске, а не тут, в Красноярске. Много у меня было разных мыслей, и все они пугались, и теснились, как вода в Енисее...»

Полная, умная и смелая жизнь осветила берега сибирских рек. Социалистическое преобразование Сибири, переустройство ее векового уклада — вот ведущий мотив самых разных произведений, изображающих этот край или в исторической ретроспективе («Даурия» Константина Седых, «Сибирь» Георгия Маркова, «Соленая падь» Сергея Залыгина), или в сегодняшних ее трудовых буднях (повести и рассказы Сергея Сартакова, Ильи Лаврова, Василия Шукшина). Впрочем, чувствую, что самое время оборвать перечни — неполные и субъективные — и адресовать читателя к обширному и компетентному справочному изданию «Литературная Сибирь». Самое время перейти к предметному разговору, подробнее остановиться на нескольких именах.

А начать разговор решимся с того, чем он обычно заканчивается и на что, как правило, не хватает ни времени, ни места, — со стиля.

У Андрея Скалона, одного из наиболее интересных сегодня молодых прозаиков, стиль на удивление плотный, «вязкий». Если уместны какие-либо аналогии, то его хочется сравнить со стрелой (первая книга А. Скалона называлась «Стрела летящая»), пущенной не по ветру, а против него; стрела летит, трудно и упруго преодолевая сопротивление воздуха. Помнится, открыв повесть А. Скалона «Живые деньги» где-то на середине, я попытался просмотреть несколько страниц, чтобы, как говорится, «ухватить суть». Но не тут-то было! Я увяз на первой же фразе: непривычные обороты, трудно дающийся при чтении ритм, и слова — в общем-то понятные, но каждое из них словно бы цепляет, тормозит, останавливает внимание. Ни о каком беглом чтении не могло быть и речи.

Стиль Юрия Скопа еще более непривычен: «Днем на Байкале было много солнца, тяжелого,

прямого света, и сейчас, когда сменился ветер, бриз к вечеру задувает с моря, слегка оморозило берега, и даль пролегла в шуршании и хрусте оседающего снега, всякие железки и темные пятна возле пира вдавлялись в лед, желтый закатный настой охватил половину неба, — пышной и еще диковенной распрели на той стороне, это по прямой всего шестьдесят километров луной дорожки, белые деревья».

Вот самая обычная, выбранная мною почти наугад фраза. Юрий Скоп стремится к максимальной зрительной четкости образов (впрочем, и звуковой тоже). Чаще всего фраза складывается у него весьма произвольно, тон задают здесь отдельные, очень точно подобранные слова. (Возможно, повествование строится писателем и по иным законам, но объективно именно диалектизмы, или слова, вышедшие из повседневного обихода современного городского жителя, воспринимаются здесь как «порывы» ритма.

Своеобразие этого стихия, его красоту можно оценить, если только подчиниться его внутренней логике, освоившись с его непривычностью. Но здесь мы уже вправе ожидать последовательности и от автора. Когда в повествование врываются расхожие современные обороты речи или лещание на поверхности сравнения (и то и другое есть в повести Ю. Скопа «Алмаз «Мария»»), то чужеродность этих стилизованных элементов режет слух. На некоторые такие погрешности справедливо обратил внимание Николай Кладов в статье «А что увидел автор?», опубликованной в дискуссионном порядке в № 3 журнала «Литературное обозрение» за 1973 год. Однако далеко не все упреки (в претенциозности, в поверхностности, в сознательном огрублении героев), которые предьявляет критик Юрию Скопу, представляются мне убедительными. Более внимательно и доказательно, на мой взгляд, подошел к произведениям прозаика Другой участник дискуссии в этом журнале, Вяч. Иванченко.

Влюбленностью в Сибирь, доскональным знанием ее сегодняшних проблем, стремлением привлечь внимание к ее многочисленным забатам проникнут диалог очерков Ю. Скопа «Открытки с тропей». Один из этих очерков, «Страсти о пустом патронатше», можно было бы напечатать под общей обложкой с повестью Андрея Скалона «Живые деньги». Юрий Скоп замечает с тревогой, что в Сибири исчезает охотник, утрачивается исконная, гордая и независимая популяция мудрого и чуткого промысловика, а сам промысел, традиции которого уходят в века, мельчает, и новое поколение сибиряков если не смотрит на ружье как на забаву, то делает его равнодушным орудием истребления не так уж и безответного мира природы».

О том, как происходит истребление «пушного золота», и рассказывает с предельной наглядностью повесть Андрея Скалона. Останавливаясь на содержании повести, видимо, нет смысла. О ней много и подробно писали. Специально хочу обратить внимание только на одну деталь. Среди откликов на повесть мы встретим рецензию Василия Шукшина («Новый мир», 1972, № 11), который, как известно, рецензии не пишет и вообще выступает с какими-либо суждениями о литературе крайне скупно и неохотно. Но здесь случай особый, и В. Шукшина считает своим долгом отозваться на произведение, которое заинтересовало, задело его. Вообще же как бы далеко ни раскидала судьба писателей-сибиряков, они ревниво и внимательно следят за работой своих товарищей в разных краях страны. И в этом, если хотите, тоже немаловажная примета сибирского характера, сибирской солидарности.

Очерки Юрия Скопа «Открытки с тропей» могут служить своеобразным комментарием и к его собственным произведениям. Они многое в них объясняют. Но они иногда и вызывают на спор. Точнее, с некоторыми суждениями Скопа-очеркиста спорят сами повести писателя, логика их идей и характеров.

Быть может, самое частое понятие, которое встречается в очерках Ю. Скопа, — независимость. Сибирь — страна независимых людей; независимость — это «вера в себя, в свои руки и силы и смекалку свою»; моральный и духовный смысл независимости «выражается прежде всего в пожизненном и великом обязательстве рассчитывать только на свои собственные силы, уметь делать все самому».

Пусть будет так! И не мне, человеку, бывшему в Сибири только наездами, спорить с коренным сибиряком, патриотом своего края, не мне высказывать сомнения, насколько универсальное, спасительное значение имеет это свойство. Но вот ведь в чем дело: Юрий Скоп сам заставляет уточнить общечеловеческую ценность независимости. И повесть «Алмаз «Мария» и особенно повесть «Имя... Отчество...» как раз о том, какой оборотной стороной может обернуться человеческая независимость, если сделать ее фетишем, единственным нравственным критерием; как пусто, голо, неуютно такому человеку на густонаселенной земле.

Непростой характер Семена Кудмана, героя повести «Имя... Отчество...», Ю. Скоп рисует «изнутри», как бы сознательно лишая себя возможности и необходимости взглянуть на него объективно, дать ему авторскую оценку. И все-таки Ю. Скоп вершит суд над героем; этический смысл повести очень определен. Когда Семен переступает неуловимую грань, отделяющую веру в себя, надежду только на свои силы, от демонстративной, принципиальной решимости не считаться ни с чьим моральным авторитетом, кроме своего собственного, то такой шаг грозит ему одиночеством, утратой кровно необходимых ему человеческих уз.

Собственно, этот нравственный урок порождает судьбы и других героев повести «Имя... Отчество...». Что соединило, свело под одной крышей столь разных людей, что заставляет их жить уединенно и неустойчиво, долбить лопатами в горах неподдающийся грунт, мерзнуть в осыпавшейся за ночь избу и лишь в недолгие месяцы летнего отпуска щедро и бездумно тратить деньги, заработанные на трудной сезонной работе? У каждого из них свои особые тому причины. И почти каждый из них может считать себя человеком во всех отношениях «независимым» — им не на кого полагаться, кроме как на самих себя, не на что рассчитывать, кроме как на свои собственные силы.

Но вот что сплотило их, заставило раскрыть друг другу души? Ответ здесь один: тяга к людской солидарности, которая налагает на человека свои непростые обязанности, но которая и помогает перенести самые тяжелые испытания.

Характер человека мягчущегося, легкого на подъем и скорого на самые внезапные, неожиданные решения, — вот уже долгие годы привлекает внимание самых разных писателей. Характер этот мы встречаем не только в «сибирской» прозе, но в ней — особенно часто. Именно в Сибири, или на Севере, или на Дальнем Востоке ищут современные ковчешники, «перекати-поле» независимой, свободной, вольной жизни... Впрочем, всегда ли знаем они сами, чего ищут, чего добиваются?

И вот здесь интересна деталь. Многие стороны такого характера внутренние симпатичны писателям. В частности, упорство, самостоятельность, широта натуры, умение работать и любовь к работе. Тем не менее авторское отношение к героям вовсе не однозначно.

Нет, не является так называемая независимость панцейей от всех бед и сложностей, подстерегающих героев в жизни. На каком-то этапе безграничная свобода начинает тяготить героев, за ним видится пустота, отсутствие надежного и прочного Духовного пристанища.

Герой повести А. Скалона «Матрос Казаркия» задумывается о том, что мог умереть, «не оставив после себя ничего серьезного: ни дома, ни жены, ни детей, а так просто, парашюта, что ли...».

Семен Кудлаш, герой повести Ю. Скона «Имя... Отчество...», исповедуется перед Дусей:

— И надоело мне колобом маяться...

— А ты женись, — улыбулась Дуся.

— Жениться не напасть...»

Но вот они женятся. В повести «Живые деньги» Андрей Скалон как бы продолжает линию развития этих героев. Арканя уже «перебродил», осел на одном месте, женился. Есть у него и пацаненок, о котором мечтал матрос Казаркия. Ради семейного своего счастья Арканя «мог и в хлор полезть и в любую другую неприятную обстановку, мог и по хребтам пластаться, замерзать, и мокнуть, и на пушине рисковать».

Душевная гармония? Духовное прозрение? Нет, Арканя весьма и весьма далек от них. Характер не меняется в один день, вкус ничем и никем не стесненной свободы не вытравляется мгновенно. Вот почему умелый производственник, любящий отец и заботливый хозяин дома, Арканя груб, хитер, расчелывал в погоне за каждым лишним рублем, черств ко всему, что не имеет столь ценного им денежного эквивалента.

Своеобразие, крутые характеры, непростые судьбы, которые не раз ломала, поворачивала по-своему жизнь, — интерес к таким человеческим типам чувствуется и в повести Геннадия Николаева «Плеть о двух концах» (Восточно-Сибирское книжное издательство).

Завесу над прошлым своих героев автор приоткрывает довольно скупо.

Мне видится в этом сознательный умысел: та напряженная, жесткая ситуация, в которой действуют герои повести, заставляет мало считаться с прошлым каждого из них, с их былыми заслугами и провинностями.

Все работает здесь на сегодняшний день, все подчинено одной задаче — закончить строительство газопровода раньше срока, любой ценой, любыми средствами; и плох ты или хорош — здесь судят опять-таки по тому, препятствуешь ты или помогаешь все-таки выполнить эту трудную, почти невыполнимую задачу.

Крутым узлом завязаны человеческие судьбы в этой сравнительно небольшой по объему повести.

Обязательство, которым невольно связал себя начальник строительного управления Ерошев, явилось для него источником мучительных душевных терзаний, крупных и мелких компромиссов.

Но решение принято, отступать поздно. И Павел Сергеевич Ерошев, добиваясь, чтобы газопровод был

закончен ускоренными темпами, в свою очередь, склоняет к компромиссам рабочих-сварщиков. Он действует и угрозами и посулами, стыдясь своих слов, внутренне проклиная себя, но все-таки действует, и довольно успешно, пока неожиданно не наталкивается на упорное, стоическое сопротивление своего любимого и преданного ему сына...

Геннадий Николаев показывает, как сталкиваются, не могут примириться две философии: юношеского максимализма с предельно четким разделением на добро и зло, на черное и белое; и уступчивости, порожденной всецельным житейским опытом, установкой, решением «проблем-однодневок», которыми так богата жизнь инженера-строителя. Горький парадокс состоит в том, что идеальное представление о мире, которое Ерошев внушил своему сыну, ему же самому пришлось и разрушать — одним ударом, болезненно, с непоправимым уроном и для юного Лешки и для себя самого...

Социальный срез характеров исследован Г. Николаевым с той лаконичной точностью, которая много обещает, заставляет говорить о нем как о писателе серьезном, думающем.

Литературная летопись Сибири продолжается.

Она, кстати говоря, богаче и объемнее, чем мы себе представляем, чем мы пропагандируем ее.

А проблемы Сибири — не только в литературном, но и в экономическом, социальном значении — давно утратили локальный, местный смысл, приобрели интерес самый широкий.

Чехов в уже упоминавшихся здесь очерках мечтал о том времени, «когда в Сибири... народится собственноручные романисты и поэты».

Это время пришло. Преобразованная сибирская новь рождает собственных прозаиков, поэтов, драматургов, которые не образуют какой-либо обособленной «школы», но органично вливаются в многонациональную советскую литературу. И с каждым годом все больше приверженцев вербует Сибирь в разных краях страны. Литературная летопись Сибири продолжаться.

# Почему мы это терпим?..



*Уважаемая редакция «Юности»!  
Я весьма удручен почти ничем  
не пресекаемым у нас разгулом сквернословия.*

*Речь, пересыпанную гнусными  
словами, слышишь и на работе,  
и на улицах, в троллейбусах,  
у кинотеатров.*

*Особенно громко «изъясняются» —  
часто не обращая внимания  
на присутствие женщин,  
детей — молодые люди,  
слушая которых  
начинаешь, невольно думать,  
что или они вовсе никогда  
не учились в школе,  
или бесконтрольность, равнодушие взрослых  
(которые, особенно на работе,  
часто сами грешат сквернословием)  
породили у молодых убежденность,  
что так и надо, что так было всегда.*

*У иных десятиклассников  
через год-два после школы  
не остается ничего порядочного в речи.  
Слушая недавно одного такого товарища,  
я спросил его: почему он,  
говоря даже о пустяках,  
употребляет до семидесяти процентов  
откровенной матерщины,  
чем это вызывается?*

*Он удивился вначале.  
Потом, подумав, ответил,  
что просто привык.*

*Не замечает даже.  
Никто его ни разу не одернул.  
К сожалению, таких,  
как он, очень много.*

*Я считаю, что надо незамедлительно  
принимать решительные —  
и правовые и воспитательные — меры  
для искоренения этой заразы,  
которая уже проникает  
и в среду пяти-  
и шестиклассников.*

Юрий РОМАНЕНКО,  
сварщик.

**М**еня радует, что молодой рабочий из Тирасполя прислал в «Юность» такое письмо. Радует, но не удивляет. Потому что подобных писем в последнее время редакции получают немало. Свердловский школьник с горечью рассказывает, как он потерял уважение к отцу, бесстыдно бранящемуся дома в присутствии своих родителей и детей. Паренек из Саратова, подписавшийся только инициалами, сообщает о случае, глубоко его возмущившем: группу выпускников ПТУ в первый же их заводской день мастер встретил такой похабной речью, что у них, пишет читатель, «пропала охота работать». Преподаватель алма-атинского вуза сообщает о том, что сквернословие проникло «даже в инженерную среду», и предлагает ряд крутых мер, которые помогут, по его мнению, борьбе с этим злом.

Некогда брань была достоянием ночлежек и злачных мест с сомнительной репутацией: кабаков, барачолок, притонов. Сохранилось даже выражение: «Ругается, как ломовой извозчик»... У остальных, измученных непосильным трудом людей бранное слово оказывалось подчас примитивным способом «разрядиться» — в него вкладывалось все: и усталость, и бессилие перед лицом судьбы, обрешей человека на такую жизнь, и злость, и потребность на ком-нибудь ее сорвать: одни всего лишь чертыхались «с досадой», другие выбирали словечки покруче.

Любопытно, что сознательные, передовые рабочие с презрением относились к такой форме «протеста». Известно немало случаев, когда организованные пролетарии, у которых всегда была тяга к духовности и культуре, сурово осуждали тех, кто унился до площадных ругательств, чтобы квести душу, «забыться». Сурово осуждали и даже изгоняли из своей среды.

Давно уже нет ни ломовых извозчиков, ни ночлежек, ни трактиров, где в пьяном угаре слезливо бранятся жалкие заблудыги. Исчезли все социальные причины, породившие этот унительно тарбарский жаргон. Но сам жаргон, однако, не канул в прошлое. «Осовременившись», но оставшись прежним по своей сути, по своей постыдной «содержательности», он неожиданно возродился на наших глазах и с ошеломительной наглостью утвердился в повседневной разговорной речи.

Было бы очень интересно (и полезно, я думаю) изучить истинные причины и масштабы этого грустного явления — именно изучить, используя всю возможную технику исследования, которой сегодня обладает наука. Потому что с любым антиобщественным явлением, с любым злом, отравляющим нашу жизнь, можно бороться, лишь познав досконально его корни, его питательную среду, обстоятельства, обуславливающие его жизнестойкость.

Но и до того, как такие исследования будут проведены, можно с уверенностью сказать, что в осно-



ве «современной» брани всегда лежит духовная бедность и нравственное разгильдяйство. Сколь бы ни кичились иные словоблуды университетскими дипломами, а то и учеными степенями, сколь бы ни были они порою профессионально близки к культуре, к искусству, все равно беспардонная матерщина, «украшающая» их речь, — неоспоримое свидетельство духовной угубости, этического примитива и эстетической глухоты.

В печати давно уже высказывается тревога об оскудении разговорного языка, о стремительном уменьшении активного словарного запаса, об унылом «арго», вытесняющем красоту, гибкость, выразительность русского слова. Но жаргон, против которого с такой священной яростью встают ревнители родного языка, — детская забава в сравнении с похабщиной, бесстыдно вторгающейся в наше повседневное. Как метастазы злокачественной опухоли, прорастает она в живые клетки народной речи, поражая их своим ядом и обрекая на гибель.

Так что же делать? Из опасения прослыть отсталым ханжой, великопостным занудой молча взирать на то, как пачкается, калечится великий язык? Поток протестующих писем — таких, как письмо Юрия Романенко, — убеждает в том, что дать этой заразе распространяться и дальше нельзя, невозможно. Но какой именно заслон поставить на пути сквернословия, — об этом, пожалуй, еще надо подумать.

Разумеется, первое, что приходит в голову: не обратиться ли к закону, чтобы он помог нам отстоять от матерщиников нашу честь, наше достоинство, наше богатство — русский язык? Давно замечено: человек вообще склонен уповать на административные меры, наивно полагая, что расчерком пера и страхом перед наказанием можно устранить глубоко пуштившие корни и достаточно распространенные зло.

Конечно, закон — оружие сильное, и пренебрегать им не надо. Сквернословие в публичном месте, будь то улица, автобус, столовая или кино, — это и есть «уммышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу» (я процитировал статью 206 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за хулиганство). Так что для сквернослова наказание предусмотрено совсем не мягкое: запросто может он схлопотать «пятнадцать суток, а то, глядишь, и полновесную «пятёрку». Не суток — лет... Может. Но получает ли? Не слышком ли мы снисходительны к брани? Не только «обыкновенные» граждане, но даже юристы воспринимают ее как привычную слабость. Наверно, поэтому так редко привлекают сквернословов к ответственности — уголовной, административной.

А ответственность общественная? Ведь в Положении о товарищеских судах прямо говорится, что в их компетенцию входит рассмотрение дел о «недостойном поведении в общественных местах и на работе, «о недостойном отношении к женщине», «об оскорблении» и, наконец, прямо, черным по белому — «о сквернословии».

Но часто ли члены товарищеских судов — эти истинные выразители общественного мнения — используют данное им право (и свою обязанность!), возвышая голос против тех, кто рядом с ними оскорбляет самые святые слова, нравственно растлевая подростков и даже малых детей?

Выходит, есть у нас отличные законы, направленные на пресечение этого зла, но сплошь и рядом они остаются мертвой буквой — из-за нашей «стеснительности» ли только? Или потому, что к ругани мы притерпелись, «притерпелись», привыкли, да и не замечаем ее даже, если не поразит она наш слух не-

обычной уж «виртуозностью» или не обратится своим острием против нас же самих. Де и тогда лишь поморщившись, отвернемся брезгливо, промолчим... Торжествующее хамство всегда сильнее стыдливо ранимой природы...

Словом, наказывать за матерщину надо, но рассчитывать на то, что приговор (пусть даже много, много приговором) в состоянии покончить со сквернословием, все же не стоит. Исторический опыт наглядно свидетельствует, что ни одно антисоциальное явление не удалось ликвидировать с помощью лишь административных, карательных мер.

Так где же выход? Я думаю, в создании той общественной атмосферы, при которой брань выглядела бы не привычной забавой, а патологией, атавизмом. Тогда она застрелен на горле, не вырвется наружу, а выравшись по привычке, сама себя устыдит. Это не благожелания. Это станет реальностью, если то, например, кто возмущается и ахает, кого коробят бранные слова, выразят свое возмущение не в узком семейном кругу и не только в письме в редакцию, а как говорится, на месте преступления, призывая в союзники тех, кто находится рядом. Я не верю в то, что совесть всегда смолчит, что в коллективе не найдется никого, кто поддержал бы человека, рискующего идти «против течения». Так не бывает...

Большой силой в борьбе со сквернословием может стать женщина. Это ее прежде всего оскорбляет матерщинник, ей плетут в душу, топчет и унижает ее достоинство. И она должна встать против попрания своей чести.

А всегда встает ли? Боится показаться «немодной»... И даже сама порой втягивается в порочную «игру», сама щеголяет сомнительными словечками, с веселой удалой демонстрируя свою причастность к «современному кругу». Оттого-то вольготно чувствует себя сквернослов, оттого не стесняется окружающих, оттого распаляется и входит во вкус.

Давайте же покажем ему, что не оскудели наши души, что есть в нас достоинство и гордость. Пусть женщина не смолчит, услышав бранное слово. И пусть мужчина заступится за ее честь! За честь матери, дочери, жены, сестры. Ведь это и его честь. Что из этого выйдет?

Уверю вас: что-то выйдет! Брань, конечно, не исчезнет в один прекрасный день из нашего словаря, из нашего быта. Но она почувствует себя уязвимой. Она утратит свою лихость. Ей станет неуютно в обществе людей, стоящих на страже собственного достоинства.

И это будет началом ее конца.

Аркадий ВАКСБЕРГ



Алла  
ГЕРБЕР

# ПОСЛЕ СТАРТА



Рисунок  
А. ЗАНЦЕВА.

**Н** а аэродроме в Красноярске два бородатых человека дали нам ряд ценных указаний. Прежде всего не считать себя героями: город Мирный, куда мы едем, хоть и близок к Полярному кругу, но не столь уж далеко от Москвы (это был намек, который мы поняли не сразу). Во-вторых, не спешить с выводами (что всегда полезно) и спокойно (что трудно) во всем разобраться. В-третьих, помнить, что алмазам сопутствуют пиропы — мелкий красный гранат, близкий к Драгоценному камню (это тоже был намек, который мы оценили только к концу поездки). Бородачи оказались проектировщиками из Ленинграда. Они уже отработали четыре года на Севере, считали дни до окончания срока договора, а после отпуска снова возвращались обратно в Мирный.

Мы летели двенадцать часов. Так что было время и поговорить (в воздухе удивительно хорошо говорить) и помолчать (что давалось с трудом). Но был момент, когда мы замолчали, и надолго. Мы увидели, как день вплотную подошел к ночи, прикоснулся к ней и на какое-то время остановился рядом. Разделенное на две аккуратные половины, небо соединило несоместимое, что издавна приходило на смею друг другу. Вечные антиподы вдруг столкнулись и замерли в неподвижности, опаленные пламенем раскаленного солнца...

Прошло почти полгода с той и впрямь удивительной поездки. Многие забылось, но это неовытванное, заведомо прекрасное небо не забудется никогда. И теперь я часто думаю о соединении на Севере несоместимого, о существовании вприпрыжку романтики и мечтанства, юношеского жизнелюбия и предзакатного скепсиса, поэзии рассвета и сумеречного рвательства.

Край земли, мир «за туманами», «небо в алмазах» — кого только не заманивали их тайны, не одумывали фаустовские мечты — начать все сначала.

Люди — нестремимые романтики. Им всегда нужны свои Робинзоновы острова и свой остров Пасхи. Им нужны Клондайки и Аляски не только потому, что сулят золото. А потому, что возвращают человеку подчас забытое ощущение полноправного хозяина земли, покорителя не обитателей ее поверхности, а спрятанных в недрах, скрытых от глаз богатств.

...Гостиница была маленькая, уютная. Утром тетя Шура ставила электрический самовар и приглашала всех на кухню «чаевничать».

Вот там, на кухне, мы с ним и познакомились. Раздвигая губы над горячим чаем, не глядя на нас, он вместо приветствия пробурчал:

— Распухнете.

— С чего бы это? — встревоженно спросили мы.  
— Климат такой. Атмосфера. Спят много. Едят хорошо...

Он был ревизор. Крайний Север с его надбавками и прибавками казался ему местом, запрограммированным для жульничества.

— Где много дают, там много берут. Вот и пухнут...

Мы бежали из уютной гостиницы в город, а вслед нам, казалось, еще долго неслось — «Распухнете... пухнете... ухнете...»

И крик этот был особенно слышен, потому что город молчал.

Освещенный неестественно ярким солнцем, словно гигантским, не выключенным днем «юпитером», он казался полуразобранной декорацией вчерашнего

спектакля. Разноцветные, приподнятые на сваях дома, тонкие, почти искусственные кусты-деревья, серые обожженные каркасы «ведостроек», замки на дверях магазинов, вывеска «Закрыто» у входа в кафе. Мы шли по утреннему безлюдному городу, пока не натолкнулись на последний дом. Дальше — сотни, а может, тысячи непроходимых километров. Мы повернули обратно, снова прошли через весь город и вышли на дорогу Мирный—Ленск, не сразу сообразив, что это и есть знаменитая «Дорога жизни». Где-то далеко, на горизонте, волзали по отвесным скалам похожие на доисторических динозавров великаны «БелАЗы».

Стонал карьер, отдавая машина пороуд под таинственным названием «кимберлит», в которой веками скрывался от человека алмаз. Два десятилетия назад немногие верили, что у этой земли, у этой таежной глуши можно будет отобрать ее сокровища.

И вот — точно из космоса спущенный на землю город.

Мы шли вперед по «Дороге жизни», совершая обратный путь — от Мирного на Большую землю. Давно ли считалось (ну, что такое двадцать лет!), что ни зверь, ни птица не смогут добраться до кимберлитовых трубок. А мы себе шли по мягкому асфальту, подставив лицо совсем крымскому, пальшему солнцу и, как ни прызывали на помощь воображение, не могли представить, что дорога эта была историческим подвигом, что ее прокладывали годами и первый добравшийся по ней до Мирного трактор — это по тем временам было все равно, что первая запусенная в космос ракета. Но разве не привыкли мы, люди, к ракетам, спутникам и даже к орбитальным станциям? Что будет с человеком, когда он перестанет удивляться?!

Здесь, на «Дороге жизни», перед нами вставали тени не «забытых предков», а наших ровесников — первооткрывателей из московских, ленинградских, сибирских институтов, не Магелланы и Колумбы, а Коля и Володя, которые писали своим девушкам (уже женам, потому что «до войны наш король, уж извините, королевой не успел обзавестись...»): «...Очень хочется жить по-человечески, но очень не хочется жить спокойно, удобно, легко». Это писалось из палаток, после многодневных переходов на лодках, оленях, собаках, после изнурительных месяцев просенания крупы, после отчаяния — «Алмазов нет», после долгожданного — «Есть во... где-то рядом», а потом это «рядом» искали годами.

Вот так писал и Коля Бобков. Он теоретически высчитал, где искать кимберлитовую трубку, но сколько тысяч кристаллов проглядел он до этого в бинокляр. Он был ученый, а погиб при переходе через Вилюй, направляясь на то самое место, где сейчас стояли мы. Он годами доказывал, что искать надо именно здесь. Мы бы и не погибнуть — не всех, как его, смывала река.

Не всех ураган заставлял сажать самолет на застывшую реку, как Кену Куницина. Кеша ждал ледохода, чтобы плыть на плоту по течению, в надежде, что в конце концов плот приберет к берегу. И не дождался. Чай, заваренный на древесине, немногим способен продлить жизнь, если он единственная пища. О чем он сказал своему Аруту, когда понял, что умирает? Он сказал:

— ...Жаль, что не дождался алмазов. Но ничего, я знаю... Наши обязательно их найдут. Передай им...

Что именно передать, так и осталось неизвестным. Не будем додумывать, дописывать красивые фра-

зы — первый алмазный летчик (а Кеша Куницин был первым, кто взялся обслуживать только что созданную в этих местах алмазную экспедицию) обесечил жизнь десяткам людей, которые могли погибнуть без него. Но так бывает — жизнь одних забирает ее у других. А Кеше было жалко, что не дождался алмазов...

Вот в такой «атмосфере» жили те люди.

Они хотели жить — разве кто-нибудь хочет умирать, даже за алмазы? Хотели любить, страдать, познавать и видеть мир, но сначала — работа, поиск, риск. Жить, чтобы всегда было некогда. Творить, чтобы видеть результат своих мыслей, гипотез, без страха поставленных вопросов, записанных и прочитанных страниц. Результат осязаемый, видимый, на ощупь проверенный. Маленькая точка, никому на земле не ведомая, затерянная на пробитой миллионами точек карте человеческой жизни. Но поставленная тобой, завершившая хоть одну строку твоего дела, подводящая итог твоему дню, который никогда не хочет так просто уступить место ночи.

Разве исчезли эти люди? Нет, что ли, их больше в Мирном? Замерзла «Дорога жизни»?

Мы возвращаемся обратно. Город, преображенный за эти часы, белел нам навстречу затянувшимся полярным днем. Он «вернулся» после воскресного отдыха (а мы и забыли, что было воскресенье). Вернулся и сразу стал похож на все города на свете — как будто не к его границе припала художная земля тайга, как будто у него были пригороды и окрестности, и его окружали другие города и городишки, и у него был хоть один вокзал. Он вытаскил транзисторы и, устремив вперед раиры антенны, зашагал по центральной, как и положено, улице, извлекая из музыкальных недр все ритмы века. Он выткнулся в очередь за билетами в новый кинотеатр, заняв все столики в ресторане «Тайга», включил в каждой комнате (и на кухне тоже) телевизор с местной программой, распахнул окна...

Кончался обычный воскресный день, и только отдаленный стон карьера и видимая в поле зрения городская черта напоминали, что до Москвы отсюда двенадцать часов лету, а сюда человек шел века и всего двадцать четыре года прошло с того дня, как он разрез где-то совсем рядом свой первый кюстер.

В летописи алмазного края записано:

«Весной 1949 года партия Туунгусской экспедиции под руководством Г. Х. Файнштейна пришла на Вилюй. 7 августа она нашла первый вилюйский алмаз...» Тогда Г. Х. Файнштейн был просто Гришей — молодым специалистом, начинающим геологом. Вот этот самый Гриша, став лауреатом Ленинской премии, сказал:

— Надо, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто!

...А потом, когда одна уплыла на новые места — снова копать, снова искать, — пришла Другая. Стрелец.

...Осень 1958 года. Место для строительства Вилюйской ГЭС выбрано. Оно еще не было отмечено ни на одной географической карте — порог «Большая кровь» (Улаи-Хан). Здесь река вырвалась из узкого коридора диабазовых скал. Покоренная, сжатая плотной, она сможет дать людям ту самую энергию, в которую мало кто верил.

«Большая кровь» стояла и впрямь большой крови. Вот первые телеграммы со строительства: «Срочно нужны теплые одеяла...» «Наволочки, гвозди, матрацки...» «Бачки для воды, посуда...»

Тогда все было первым.

Первый дом, в который переселились жители первой палатки, первый отряд бульдозеров... Первые завезенные самолетом лошади. Первые двенадцать учеников в первой школе. Первый лозунг на отвесной скале: «Заставим Вилюю работать на коммунизм!»

Это была затяжная, десятилетия война...

Давно, где-то сразу после окончания института, с группой студентов я попала на экскурсию в Смоленск. Это мог быть Курск, Волгоград, Киев — что угодно, но был Смоленск, тоже хлебнувший немало горя в дни войны. Экскурсовод рассказывал о тяжелых боях, о смертях, о залитой кровью земле. Это были привычные словосочетания. Они мешали видеть и чувствовать по-своему. Но вот какой-то, в нашем представлении, пожилой человек в сером макинтоше и зеленой велюровой шляпе вдруг сказал:

— То были лучшие годы моей жизни!

Мы с удивлением посмотрели на него.

— Да, да, — разволновался он.

Много прошло лет, прежде чем я поняла грустную истину подобного призывания. Там, на войне, в постоянной близости смерти, нужно было самому отвечать за все. Не надеяться на «авось», не прятаться за чужие доспехи.

Самое трудное в жизни — сделать выбор. На войне, к примеру, выбор был один. Может быть, легче жить, когда вырвано однозначие, когда не мучают сомнения и не нужно самому принимать решение — оно заранее предопределено обстоятельствами.

Может быть, легче быть, чем не бояться быть битым. Легче спасти тело, нежели душу. И, наверное, самое легкое — нам, неволевающим, говорить сегодня о тех, кто воевал.

Я вспомнила об этом не случайно.

Поселок Чернышевский так и не стал городом. На аэродроме вывеской осталось — «Аэропорт Чернышевский». И еще живут в балках (засыпущах), и не хватает мест в детском саду и продуктов в магазине. Еще далеко не райская жизнь, но уже у большинства есть крыша, тепло, электрические плиты.

Есть клубы, спортивный зал, школы, кино, гостиница «Геремок», похожая (по моим книжкам-представлениям) на маленький отель в горах Швейцарии. А бывшие первопроходцы, пионеры этих мест, очевидцы и соучастники строительства не раз говорили мне:

«Вот раньше мы жили как люди...»

Им кажется, что наступил покой, в котором замирает жизнь.

О «рыжих» — семье Лазутиных — нам еще в Москве рассказывали прекрасные легенды. В самолете Москва—Мирный первое, что услышали: «Побывайте у Лазутиных».

Их дом был первым пристанищем для новобранцев, трибуной для ораторов, штабом, где разрабатывали генеральные сражения с Вилеюем, отвергали (или принимали) гениальные идеи. Он был и детской площадкой — к учительнице Лазутиной всег-

да ходила ребята, — читались (у них было много книг), консерваторией (пластинки), кафе (самый вкусный кофе в поселке, которого хватало на всех). Но сегодня Лазутиных больше нет в Чернышевском — они уехали...

— «Война» кончилась, — усмехнулся очередной бородач, инженер Борис Корнилов. — Мы, такие, здесь больше не нужны...

— Вы не нужны или вам это больше не нужно? — И мы и нам... И время Батенчука копчилось...

Время Батенчука. Да, было такое время. Тоже сотни газетных и журнальных полос. Сейчас Батенчук возлагает Камгэстрой.

— Батенчук — полководец, он нужен, куда идут бои. Когда наступает мир, появляются другие хозяева...

Мы сидим за щедро накрытым столом в уютной комнате при свечах (обилие местного электричества приводит к тоске по керосиновой лампе и свечке). И закуса, и напитки, и приглушенность голо-сов, и постоянное — «было», и тоска за тех, кого здесь уже нет, ушел, — от всего этого веело грустью по чему-то ушедшему, о чем эти славные бородачи и их элегантные, умные жены говорят как о лучшем времени их жизни.

«Помните?» — переспрашивали они друг друга. И радовались, когда вспоминали было общим; огорчались, когда кто-то уже успел что-то забыть.

Помните?.. Как ходил Батенчук в мороз по стройке? Шея открыта, полушубок распахнут. Помните, как однажды встал он на колени перед людьми, чтобы поднять их, обессиленных, на работу? Как заставлял не спать сутками и сам не спал вместе со всеми? Да, он был крут, суров, не пропал ошибки и сам ошибался, но он умел вдохновить людей стройкой, бороться за нее, как боролся в войну. А когда уезжал, помните?.. Нет, вы помните, что было, когда он уезжал?! Весь Чернышевский шел за его машиной. А те, у кого была хоть какой-то транспорт, провожали его до аэродрома в Мирный — по той дороге, по которой пришел сюда его первый отряд, первые люди. Не на чем было спать, нечем было работать. Безоружные, они начали наступление на Вилею, приручая его в полном смысле слова руками.

Женщина с печальными глазами, глядя куда-то в неведомые мне дали, вступила в этот хор воспоминаний протяжным, тоскливым запевом:

— Как мы жили тогда, не спали сутками, а вечером собирались, дурака валяя, стихи до утра читали... В отпуске годами не бывали, а когда получали отпуск — оставались, боялись, что без нас что-то разладится или что-то важное случится.

— Понимаете, — продолжает мягкий, похожий на начинающего поэта гидростроитель Саша Недосекин. — Каждый из нас полагал, что именно он и здесь нужен, что от него что-то зависит, что он незаменим. Незаменимых, конечно, нет. Но Батенчук делал так (как только ему это удавалось!), что каждый чувствовал себя творцом гигантской стройки. Покорителем массы людей, задач, техники. Да, мы сами были в этой массе, но не скелетные, не спрессованные, а индивидуально обозначенные, отдельно выраженные.

— А сейчас? Что в конце концов произошло? — не на шутку разволновался я.

Отвечал бородач Корнилов:

— Мы не можем привыкнуть к тишине, к рабочему дню «от» и «до», к бесконечным формуля-



рам, расчетам, расценкам. Слова замесились цифрами. Мы разговорились по селектору, не чувствуя друг друга. Организм тот же, лучше, пожалуй,— смонтированы, налажен, затупен в дело. Но что-то шло. Станция работает. Но она, как «Солярис», вроде бы потеряла контакт с человеком...

— Кто же мешает вам, подобно Крису, дать ей свои позывные? А вы сдаетесь, вы покидаете «Солярис»...

— Кто же мешает вам, посланцу Земли, здесь задержаться? — предложили с прежней откровенностью женщины. — Лазутины ведь не в Москву уехали, а на Кольмун...

И опять ответил Корнилов:

— У каждого свой «Солярис»; чтобы попасть туда, не обязательно покидать материк. Да, нет больше «рыжик» в Чернышевском. И не надо, наверное...

На следующий день главный инженер Вилюйстроя Александр Константинович Одинцов повез нас на катере по Вилюйскому морю. Вот он, закованный в камень Вилюй, его энергия безвозвратно отдана людям.

Таракит, как на Волге, моторчики лодок, греет, не отступая, все еще теплое солнце. Покой, простор, завоеванная человеком благодать. Только выглядывают из-под воды уродливые коряги — остатки когда-то прекрасных сосеи, напоминающие о былых сражениях...

Утром нас принял Юрий Михайлович Панфилов — один из новых руководителей стройки. Подтянутый, собранный, безукоризненно одетый... Ни одного лишнего слова или необязательного жеста, отвлекающих от сути дела.

Это был полезный разговор.

— Вторая очередь стройки сейчас переживает трудное время. Она не в том ударном цейтноте, что несколько лет назад первая. Не объект перво-степенной любви и повышенного внимания. Но эти «трудности» и есть «нормальности»; когда не ждешь поблажек, богатых подношений, не зависят от гнева и милостей хозяина. Надо работать и справляться самим. Для этого нужны хладнокровие, трезвый расчет, бережливость, экономия... Трижды экономия, и еще раз экономия,— повторил Юрий Михайлович, обнаряженный неожиданное для него волнение. Но этот всплеск пусть малейших эмоций дал, как показалось, повод для «стороннего» вопроса:

— Скажите, почему уехали Лазутины? Говорят, он был прекрасным инженером?

— Не только Лазутины,— спокойно ответил Панфилов. — Я называю вам еще несколько фамилий хороших инженеров и прекрасных людей, с которыми мы вынуждены были расстаться. Без них не было бы станции, но они... Понимаете, сегодня нужно уметь управлять. Брать не личным примером, а планомерным руководством, не «толкать», а организовывать, согласно четкому расписанию, нормальное движение вперед. Во времена Вилюйского старта денег не считали. Шла война, которая не знает счета потерям — о них узнают после победы. Шла битва, а битвам нужны знаменосцы. Но работу нельзя превращать в постоянное сражение, а производительность труда подменять конвульсиями и встряками. «Выжмем», «валяжем», «докажем» — это уже патология, болезнь рабочего организма, которая неизбежно кончается депрессией. Спокойствие, хладнокровие, знания — вот что сейчас нужно. Минимум слов, максимум цифр. Поэтому мы не ужидились с Лазутиными. Они не умеют считать.

...Вечером к нам в гостиницу пришел мальчик Коля из студенческого стройотряда. Худой, резкий, с ясными, не знающими сомнения глазами, умной усмешкой, быстрой, не затянутой эпитетами речью:

— Здесь сплошная ерунда. Работяги жалуются: не заработаешь. Раньше за каждый шаг платили, а теперь экономят. А зачем, скажите, мы сюда ехали? За «туманами», что ли? Это ваше поколение деньги ни в грош не ставило. Скажете, от бескорыстия? Купить нечего было — вот и все ваше бескорытие. А сейчас — жизненный уровень, ассортиментный минимум... И мне на этот минимум нужен свой персональный максимум...

Много что пришлось выдержать нашему поколению, чтобы сегодня мальчик Коля, засунув руки под пояс «клевшей», поигрывая ясными, незатуманенными сомнениями глазами, мог так вот говорить о человеческом минимуме и максимуме. Наш разговор с Колей еще впереди. Еще не написана та книга, которая поможет нам не разбегаться, а сблизиться. Быстрый мальчик из студенческого отряда — он ведь тоже считает, только считает с в о е. А Панфилов — го с у д а р с т в е н н о е. Не спорю, новые люди — деловые, серьезные, вооруженные счетно-вычислительными машинами и портативными арфмометрами, лучше строят ГЭС — экономичней, рентабельней, с большей производительностью, с меньшей себестоимостью. Но сумеют ли они построить свой «дом рыжик»? А если нет, то почему не подумали, как сохранить этот дом, от которого шло тепло и света не меньше, чем от агрегатов Вилюйской ГЭС...

— Верните «рыжик», — сказали мы Одинцову.

— Не понял, — удивился главный инженер Вилюйстроя.

— Как бы не ушли из нашей жизни «рыжик»... Он задумался.

Таежный поселок Надежный. От Мирного до него, как от Москвы до Симферополя, — два часа лета, но они считают себя соседями. Здесь, если не больше тысячи километров, значит, рядом, «рукой подать». Так вот, в Надежном домами «балки»-временяки, по-местному, засыпху. Строили их хозяева на свои деньги, а теперь сами, своими руками, уничтожили.

Так уж заведено — стройка начинается с палаток. У палаток есть свои зацепки, появились и непримиримые враги. Среди них и о. Начальника строительства алмазного комплекса на «Удачной» Владимир Тест. Он еще достаточно молод, чтобы называть его по имени. Он начал с того, что строит для строителей жилье. Это и есть поселок Надежный, недавно появившийся на карте. Правда, в карте не указано, что в поселке у самого Полярного круга имеется гостиница по типовому проекту, индивидуально одухотворенному инженером, не архитектором, Анатолием Часовым. И ресторан «Сердце» — тоже по проекту нанитивному и тоже индивидуально преобразованному фантазией и руками Часова. Есть столовая с ассортиментным максимумом, теплица со своими тюльпанами и, что важнее, помидорами и огурцами, выращенными бывшим бульдозеристом, а ныне агрономом с высшим образованием Виктором Игнатуком на индивидуально обогащенной им мерзлотной земле.

Поселок — остров в таежном океане, но живут в нем люди с удобствами большого города. Дома, соединенные мостками свои, не жмутся в навязанной близости, а тянутся друг к другу. В этом ледящем душу крае (морозы до 60 градусов), когда

погода ночь, а в бесконечный полярный день Дурего от мерцающего света, людям необходима близость соседа. Некоммуникабельность — болезнь перенаселения. Здесь люди слишком далеко от материка, чтобы бежать друг от друга. Не случайно собаки в Надежном не лают на других. Для них все — свои. Спокойные, гордые, доброжелательные, они, не приставая, не навязывая своего внимания, сопровождают вас всю дорогу, передавая «из лап в лапы».

— Может быть? — любит повторять Тест вроде бы несплод. А потом понимаешь, что действительно очень даже может быть.

Вокруг этого невысокого, широкоплечего, плотно скроенного человека все кипит. Он не может остановиться, и люди несутся за ним на сумасшедших скоростях, порой теряя на пути самообладание и трезвый расчет. Но Тест не дает пропасть ни одной мысли, ни одной свежей идее — обернется и на полном ходу подберет. Он задорен, крепок — прошел на «Москвиче» от Братска до Москвы, — но ему все время кажется, что он отстаёт.

— В деле Тест великопелеп. В жизни — утомительней, — говорят его сотрудники (им же индивидуальное завербованные на разных стройках и в центральных учреждениях Москвы).

Каскад слов, жестов, движений. Он одновременно слушает (при этом все слышит), записывает, вычисляет, говорит по телефону, отдаёт распоряжения, краем глаза изучает докладную и резко, прорывая острием руки бумагу, подчеркивает ошибку. Каждая секунда расписана, каждый час до глубокой ночи идет в дело.

Я понимаю, почему он «задыхался» в министерстве на вполне ответственном посту с хорошей зарплатой и стабильным положением. Ему нужен плацдарм, с которого надо брать старт. Люди, машины, цифры — все движется в едином ритме, не путая, не сбивая друг друга. Он строит свой город, свою фабрику, свои дома. И в этом нет деячества, культа собственника, тщеславия единичника. Это ответственность хозяина за свое хозяйство. Саншюк много «я»? Пожалуй. Для интервью, для застолья и душевной беседы его «я» не задевает (он гордится всеми, кто работает с ним в Надежном), а несколько заслоняет других. Просто «его много» — Владимира Теста. Зато в деле это транзистор новейшей марки. Он улавливает малейшие колебания чужой мысли, безошибочно определяет их частоту и чистоту, принимает все позывные, если только они могут быть пущены в дело. Его напор не приводит к панике, а обеспечивает рабочий ритм. По возможности...

Возьмем еще подрядчики, поставщики, смежные объекты, свежие указания, ревизоры, которые «пукнут»... и многое другое, что порой сдерживает его энергию. Стройка хоть и ударная, но есть и поударней. Проблемы выживания, доставки, дожата и прижата в зоне вечной мерзлоты поддерживаются и сохраняются в том же состоянии, что и в некоторых других, менее холодных местах.

И Тесту приходится иногда за неделю проделать путешествие, равное месячному турне вокруг Европы, с той только разницей, что километров больше, а свежих впечатлений гораздо меньше... Сегодня — Айхал. Завтра — Братск, и завтра же — Москва, и завтра — Мирный или Иркутск: убеждать, доказывать, доставать... Не хватает людей — грамотных (от безграмотных трудно освободиться). Одних он привозит сам. Другие, с кем работал в Братске или на Илеме или с кем работал его отец, тоже известный гидростроитель, находят его.

...На прием к начальнику записалось тридцать человек. Никому не пришлось называть свою фамилию, детально объяснять, зачем пришел. Тест все знает наперед. Он обдумывает решение задолго до часа приема. Не всегда оно есть. Главная беда — жаль. Люди нужны, но они едут, захватив с собой семью, родных, а то и друзей с пенужными специализмами. Север не может принять всех. Ему нужны работники, а не ищущие неудачники или пустопорожние романтики. Такие все равно скоро уедут, но пока они за свой «подвиг» все время что-то требуют. Те, кто знали, на что ехали, не спешат сразу получить все, терпеливо ждут своей очереди. Они приехали надого.

Но те, кто любит парад, кто брал комсомольскую путевку на ударную стройку, как мадаг на «ударную» жизнь, — те, как правило, быстро разочаровываются, прикрывая свое нежелание работать желанием танцевать (а танцев нет), или встречаться с интересными людьми (а где их взять?), или отсутствием спорта (а спортзал строит другое ведомство, которое не торопится удовлетворить потребность молодежи в спорте). Требования справедливы, если не с них начинать рабочий день или даже беседу с корреспондентом.

Тест умеет отличить работника от потребителя. И тут он жесток. Он сам не прочь похвастаться перед гостем первостепенной важностью своего объекта. Но сколько сил он и его люди тратят на то, чтобы под эту «важность» ну хотя бы времени доставили оборудование (ведь дорога одна — зимник, и надо успеть еде до конца навигации пригнать все в порт Ленска).

Есть в стране объекты поважнее? Есть, конечно. Но ведь задача, цель, выгода — все остается. «Старт» кончился, но от этого алмазы не потеряли свою ценность.

Повышенное внимание развращает, люди теряют способность работать в тишине. Отсутствие внимания — постоянная хехатка материалов, простоя, потери в заработках — убивает интерес к работе вообще.

Тест приехал на ударную стройку, которой грозило вот-вот стать безударной. Вместе со своими людьми он вернул ее к жизни.

И вот мы в городе, которого... нет. В знаменитом городе под куполом (экспонировался в Монреале), — только купола не будет. Создан местный уникальный материал — газо-силикатный бетон, который не пропускает холод и удерживает тепло. Это целая поэма — газо-силикатный бетон. Рожденный в надевании, в мрачных пророчествах и скептических усмешках, он превратился сегодня в первые панели будущего города.

Мы идем по лестничному проему, по первым (их четыре) ступенькам, ведущим вверх, и слушаем инженера (не писателя), который, разгуливая по несуществующим квартирам, смотрит в несуществующие окна и... видит свой город. А мы, писатели, видим только бесконечную тайгу, голубое небо и сверкающую на солнце рыжую голову крепко сбитого человека, который играет на белых плитках в «классики», прыгая по квадратам коридоров, спален, столовых, а оттуда — вниз, в длинные галереи с четко (в его воображении) расчерченными «классиками» столовых, кафе, магазинов, прачечных... В этой детской игре, как известно, самое трудное — не нарушая правил, вывести «биту» за последнюю черту. В «игре» Теста она еще далеко. Но я делаю ставку на Теста и его друзей — они должны выиграть: это те новые «рыжые», которые сочетают в

себе юношескую горячность Лазутиных с холодной мудростью «технаря» Панфилова. Это то чудо, когда утро вплотную подходит к вечеру и становится завтрашним днем.

Саша Бершштейн, Валерий Сергиевский, Анатолий Часов, Игорь Кругляк... Они переступили порог молодости и с разным запасом эмоций на этот счет идут к зрелости. Они больше не жгут романтических экстазов, как не ждет вдохновения профессиональный писатель, а садится за стол и пишет, забывая о том, что надо бы сначала вдохновиться... Это и есть подлинное творчество, когда его не извещивают витаминными инъекциями на «повышение тонуса». Они ненавидят трудность, не культивируют экзотичку неудовства и лишения. Они построили себе удобные дома, как могли уютней и красивей обставили свои квартиры, создали в каждой свой микроклимат. Они плотно зашторили окна, чтобы не проникла таежная, одуряющая тишина. Запустили пленки на магнитофонах, наполнили комнаты многоголосым эфиром на всех существующих языках, Они работают на краю земли, но принадлежат миру, и мир поэтому принадлежит им.

В пусковом комплексе на «Удачной» Валерий Сергиевский строит платину. Его главная беда — мерзлота. Его главная забота — сохранить ее. Это парадокс, который помог мне понять, в чем сила и жизнеспособность новых «рыжиков» (назовем их так — наденусь, они не обидятся). В естественности, в сохранении тех природных качеств, которыми наделила (или обделила) их природа. Да, мы не можем ждать от природы милостей. Но и обращаться с ней, со своей природой, следует милостиво. Люди из Надежного надежны как раз тем, что не убивают в себе себя. Они и на Север поехали, чтобы сохранить, удержать тот запас своей природной любви к созданию и созиданию, на которую давила сухость учреждения, замкнутость его пространства, точная планировка всех входов и выходов (где тоже нужно мужество — только другое). Одного природа создала для кабинетов, другого гонит на необжитые земли. Но только не потому, что там трудно или, наоборот, легко. И не для того, чтобы закружиться в романтическом угаре или вознестись на небеса в фанатическом бреду. А чтобы понять и оценить возможности своего «я», потому что именно там есть работа, которая его, как специалиста, интересует, а значит, именно там он сможет максимально реализовать это свое «я» и быть максимально полезным для дела. Сознательный выбор (а не взбитый, как крем, который опускается, стоит только перестать его взбивать) делает этих людей надежными и для себя и для общества — с низкой себестоимостью и высокой отдачей.

...Опущены шторы, дымятся чайник на электрической плите, шуршит магнитофонная пленка. Знакомый голос, подхваченный сегодняшними мальчишками и девочками, мягко, певзвойидно просит... Дать мудрому голову, трусливому дать коня, дать счастиному денег и не забыть про него...

Может, за этим и едут сюда, чтобы получить свое о. Такой ли это грех — получать свое по заслугам, таланту, по силам вложенным? Так ли уж это страшно — требовать свое, если оно по праву, по закону справедливости и к обоюдной (на пользу делу) выгоде? Удивляясь наглости врача, мы часто устуваем ему, замечая при том, что этот «свое возмет». Но берет-то он как раз не свое, а чужое. И кто-то другой, достойный, остался обделенным, чей-то подлинный талант недоразвитым, чья-то энер-

гия недоиспользованной, чьи-то знания нереализованными...

Там, где все только начинается, — там, как на белом листе бумаги, незапятнанное поле деятельности. И, кажется, что ты посеешь, то ты и пожнешь. Человеку необходима иллюзия белого листа.

Я никогда не забуду этот вечер на кухне гидротехника Саши Бершштейна, который «умеет считать». («У него государственный голова», — сказали нам потом в Якуталмазстрое.) Этот человек умеет связать вчерашнее с завтрашним, объединить все звенья одной цепи, чтобы потом замкнуть ее на дне сегодняшнем. Он умеет считать и свое и государственное. Он поехал в Надежный, чтобы отдать свое — щедро, с размахом богатого ума, с темпераментом творческой личности. Но и получить свое — опыт, профессионализм, рабочее место, которое ему обеспечит максимальную отдачу, людей, которые помогут не разбазарить, не пустить на ветер, а извлечь максимальную прибыль от щедрых вкладов личности в общее, государственное дело.

...Притиснутый к стене деревянный стол, обязательный для гостей турецкий кофе. Что-то похоже на встречу с «бывшими рыжиками» — те же бородачи, те же пластинки и магнитофонные записи, те же умные глаза, искренняя радость гостеприимных хозяев, которые очень много знают, что не мешают им с интересом слушать все, что им говорят. Они тоже успели кого-то потерять и кого-то не дожидаться. Они тоже знают другую жизнь, в которой есть расстояние и необходимость телефона. И можно опаздывать в театры, и не слушать известного скрипача, и не пойти на выставку или новый спектакль. Они все это знают, помнят и... откровению тоскуют по этой возможности пользоваться или не пользоваться дарами большого города. Но они здесь, в Надежном, в тесной близости и одновременно непримиримости соучастников одного дела.

Я завидовала их независимости от прошлого, когда не тасуют битые карты, а делают новые ставки, рискуя, но одновременно заранее просчитывая выигрыш. Они не мусолят старые раны и обиды. Не гонят мысли в словесных потоках, а время — в прострации мысли, которая вообще, которая ни о чем... Иной из нас много говорит о жизни. А они живут. Струет на неудачи прошлого. А их волнуют неудачи будущего. Ждет своего мгновения. А они от этого мгновения оттолкнулись, получив заряд на жизнь, прекрасную не своими трудностями, а своим трудом.

Поселок Надежный... Конечно, не случайно его так назвали. Не знаю, насколько надежна трубка, из которой здесь будут извлекать алмазы. Алмазы — не бескошечны. Но пока им сопутствуют маленькие драгоценные камни — пирропы, люди всегда определят, где их искать.





**Борис  
ФИЛИППОВ,**

заслуженный деятель  
искусств РСФСР

## СНОВА НА ЭСТРАДЕ...



Рисунок О. ВЕРЕПКОГО.

**С**ергей Русанов появился в труппе Московского мюзик-холла в начале 30-х годов. Разноплановость спектаклей этого театра, их жанровое многообразие способствовали тому, что молодой балетный артист начал понемногу овладевать и другими эстрадно-цирковыми специальностями: репетировал акробатические трюки, хождение по проволоке, жонглиж. Там же Русанов обрел талантливую партнершу Татьяну Леман, с которой работает на эстраде и в настоящее время.

Оба артиста многие годы были неразлучны, за исключением периода Великой Отечественной войны. Все военные годы Тата Леман берегла в своем шкафу артистический костюм своего партнера. Даже когда его считали пропавшим без вести, а многие говорили о его гибели на фронте, она верила в то, что Русанов вернется. В его отсутствие она сама работала в артистических бригадах, выезжавших на различные фронты.

— Мне говорили, что я «не в своем уме», что Русанова давно нет в живых,— рассказывала Леман,— а я, будучи с бригадой в 1942 году в блокадном Ленинграде, увидела в универсаме французские ма尼шки и купила для него несколько штук, потому что в Москве мы всегда мучились и не могли их достать: не было его размера. Я верила, что они нам еще пригодятся. Мои товарищи смеялись над моей «заслывистостью».

Номер Русанова и Леман построен на соединении нескольких жанров: танца, жонглирования, иллюзионных трюков. Все, что делают они на эстраде, отличается элегантностью, легкостью, чувством юмора.

Выступления артистов повсюду горячо встречались печатью, отмечавшей их высокий класс и виртуозное исполнительское мастерство.

«Они срывали аплодисменты, вызванные ловкостью и грацией движений»,— отмечала каирская газета.

«Они показали веселую, поразившую зрителей программу»,— вторила финская.

«Волшебник Сергей Русанов — самый забавный номер в программе. Он и его ассистентка восхитительно выполняют ряд технически остроумных трюков»,— восторгалась шведская газета.

Аналогичны отзывы печати Болгарии, Румынии, ГДР, Индии, Бирмы, Сомали, Уганды, Афганистана. Поистине международный успех!

**Э**то были трудные дни для Москвы. Враг яростно рвался к подступам столицы. В эти дни артист Сергей Русанов вступил в ряды народного ополчения.

— Однажды,— рассказывает Русанов,— в сентябрьский вечер нас посадили на грузовики. К ночи мы прибыли на передовую. Наступил момент, когда оружие искусства нужно было сменить на огнестрельное оружие. По прибытии мы узнали, что командир полка убит. Навстречу попадались группы красноармейцев, и пошел слух, что враг уже в Вязьме, а наша часть находится во вражеском тылу, отрезанная от своих.

Все смешалось, и никого из своих я найти уже не смог, сколько ни искал. Я присоединился к одной из групп. Нас было человек двадцать пять. Мы долго блуждали.

Наступил уже холодный, дождливый октябрь. Уставшие и голодные, расположившись на лесной опушке, мы поставили часовых и заснули мертвым сном. Вероятно, уснули и измученные часовые, по-

тому что разбудили нас окрики на немецком языке. Открыв глаза, я увидел, что мы окружены немецкими автоматчиками.

Так я попал в плен к фашистам. Кто поверит, что в том же моя вина! Даже застрелиться не было возможности, да и глупо так умереть. Одна мысль жила во мне: бежать, каким угодно способом бежать!

Нас присоединили к группе военнопленных, таких же неудачников, как и мы. Оцепили конвоем и собаками. Любая задержка в пути могла стоить жизни.

Сколько мы шли, не знаю. Долго... очень долго. Иногда для «передышки» нас сажали прямо в грязь, а если кто-либо поднимался, в него стреляли.

Когда мы дошли до какой-то станции, многих уже не было, они остались лежать на дороге, убитые фашистами.

Нас стали загонять в теплушки, набивали вагоны так, что невозможно было повернуться. Мокрые, голые, мы стояли не шевелясь.

Первый лагерь — местечко Глубокое, неподалеку от Минска. При погрузке шезелона опять стрельба и новые жертвы. Но вот мы за колочей проволокой. Кругом вышки с пулеметами.

Началось распределение: офицеров отдельно от солдат. Я был не пострижен. Сказать — солдат, не поверят, сказать — артист, не поймут. Решил присоединиться к медицинской части и назвался фельдшером. Если будут проверять, перевязку кое-как сделать сумею.

...Прошел год моего пребывания в плену. Меня ни на один день не оставалась мысль о побеге, хотя это означало явную смерть. Люди от отчаяния лезли под колочую проволоку, и их убивало электрическим током.

Однажды я узнал, что готовится групповой побег через канализационную трубу. Она была проложена из общей уборной, под землей, и выходила за чертой лагеря в озеро. Диаметр трубы позволял свободно пролезть человеку.

Стали по очереди спускаться. Когда очередь дошла до нас, мы услышали выстрелы, поднялась суматоха, с вышек застрочили пулеметы, к уборной бросились караульные с собаками, и не успевшие скрыться в трубе вынуждены были разбежаться.

Мы узнали потом, что первого вылезшего из трубы заметили караульные и пристрелили, но несколькими удалось все же бежать, а кое-кого задохнулось в трубе от газов.

Потом появилась какая-то, быть может, отделенная, но все-таки еще одна перспектива вырваться на свободу.

...Никто не знал, куда нас везут. Больше всего боялись угона в Германию, а попали в Киевильи, на территорию Эстонской ССР — на сланцевые разработки. Весь лагерь был разделен на две части — шахтерскую и разнорабочих. Моя «счасть» находилась вместе с разнорабочими, но нам разрешалось ходить в зону шахтеров. Там я познакомился с «Сашей», работавшим переводчиком благодаря знанию немецкого языка, и с «Васькой-сапожником». Кто они были на самом деле, я не знаю. С ними я договорился о побеге. «Саша» помог уже кое-кому выбраться на волю.

Обменяли у вольнонаемных рабочих экономленый хлеб на гражданскую одежду и припрятали ее под подошва обуви.

И наконец план побега, единственно возможный, но рискованный, созрел. Мы договорились с «Сашей-переводчиком», что встанем в строй военно-

пленных, идущих в ночную смену работать на шахте, и когда он будет по счету сдавать прибывших караульным, то нас не посчитает. А дальше мы сумеем выйти через проходную для вольнонаемных вместе со сменой, закончившей работу.

Увы, мы пришли на место слишком поздно. Предудающая смена кончилась и уже вышла с территории рудника.

Тогда возник новый план: выбраться на вагонетках со шлаком, который вывозили за пределы охраняемой зоны. Там было всего два конвоира, и то находившихся впереди — на дрезине, тянувшей состав вагонеток.

Побег удался.

...Наступило утро. Нас начала трясти нервная дрожь. Прислушивались к каждому шороху. Ни еды, ни курева у нас не было. Было лишь одно кресло. Набрали сухих листьев, свернули по сигарке, закурили и стали обсуждать, что делать дальше, куда идти.

Как отличить честного человека от полицая? За поимку партизан и беглецов немцы объявляли крупное вознаграждение.

Выйдя к рассвету на дорогу, проложенную в лесу, мы по указателям, прибывшим к деревьям, выяснили, что путь ведет на Мустлу. Значит, мы шли в нужном направлении. Чувство свободы немного притупило нашу бдительность. Есть нам хотелось смертельно, и мы стали подумывать, как раздобыть еду. До сих пор мы старались обходить стороной хутора и лесные сторожки.

Голод преодолел страх, и мы решили зайти в одинокий хуторок, расположенный на окраине леса, но напоролись на полицаяев.

...И вновь мы под конвоем. Нас привели в дом, где, по-видимому, находился штаб местных полицаяев, немцев здесь не было. Кто-то сказал:

— Пар-ти-санки!

И тут же мы получили несколько ударов по лицу. Я пытался объяснить, что мы не партизаны, а случай, но отстали от шезелона пленных, к хозяину хутора забрели в чаянии получить какую-либо работу. В ответ нас бросили в подвал, а на следующий день с конвоирами отправили к Тарту. Охранники, вооруженные пистолетами, ехали сравнительно медленно на велосипедах, а мы должны были бежать впереди. Ноги были в крови, мучила жажда. Изредка разрешалась передышка, вызванная тем, что мы падали от усталости.

В Тарту нас провели в немецкую комендатуру. Снова вопрос: «Партизаны? Парашютисты?» Под конвоем немецких солдат нас отвели в тюрьму и рассадили в одиночные камеры.

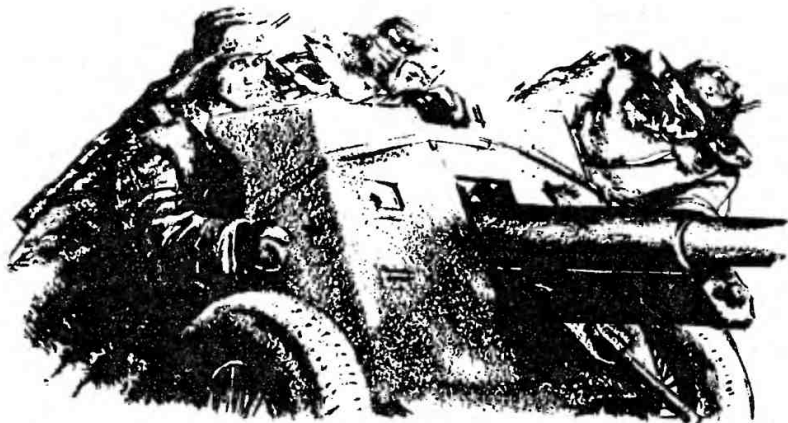
Прошла, вероятно, неделя, когда за мной пришли тюремщики, выволокли меня, ударили несколько раз и приказали раздеться догола. Я подумал, что готовится расстрел. Но меня повели опять тюремными коридорами, дали бачок с водой, приказали помыться, швырнули мне одежду и, к моему удивлению, отвели в общую камеру, где сидели наши, тоже бежавшие из разных лагерей.

Там же я обнаружил и своего напарника по неудачному бегству из плена — «Ваську-сапожника».

А затем мы попали в новый лагерь в Тарту, на территории местной синагоги.

Мы жили втроем: я, «Васька-сапожник» и еще один парень, имя которого, к сожалению, выпало из моей памяти.

Я предложил им совместный побег в декабре 1943 года. Сначала они согласились, но потом испугались суровой зимы. Зимой трудно идти, сложнее с ночлегом, с добытием пищи.



Случайно я узнал, что в побег собирается моряк Андрей из Ленинграда, и мы договорились с ним, хотя и были в разных командах. Он дал мне адрес, где будет ждать меня два дня, и ушел 28 декабря, а я вслед за ним, 30 декабря, почти накануне Нового, 1944 года.

Команде, в которой я работал, был известен день и час моего ухода. Под шинель я заранее надел гражданскую одежду и запасся одной папиросой.

Мы работали на железнодорожной станции и договорились, что как только начнем оттаивать вагон, команда постарается прикрыть меня, заморочить голову газульным, а я сброшу военную шинель и, уже как штатский, постараюсь выскочить на платформу и присоединиться к большой группе местного населения, мобилизованной для работ на станции.

Вся операция прошла молниеносно. Пригодился опыт актера-иллюзиониста. Шинель сброшена, папироса в зубах, и я верчусь среди гражданских.

Но это лишь первый этап. Теперь надо было пройти незнакомый мне городок, найти улицу и дом, где мы условились встретиться с Андреем.

И вот как будто тот самый, заветный домишко за деревянным забором, те самые три высоких сосны в палисаднике...

Хозяйка оказалась русской учительницей, многие годы прожившей в Эстонии. Андрей торопит уходить. Оставляю хозяйке свой московский адрес. Может быть, когда-нибудь встретимся после войны. А если погибну, пусть сообщит семье об этой мимолетной встрече и о том, что я пытался неоднократно бежать из плена.

Я никогда не забуду этой смелой женщины, которая, рискуя собой, помогла нам в тяжелую минуту жизни. Я не знал ее фамилии и имени, да и адреса толком не знал, а нашел тогда ее дом, как слепой, «на ощупь». Мои попытки найти ее после войны не привели ни к чему. Дальнейшая ее судьба мне неизвестна.

Окраинными улочками мы выбрались за город и взяли курс на Псков. Шли больше лесами.

...По линии бывшей эстонско-советской границы протянулась колючая проволока, местами прорванная. На большом расстоянии друг от друга стояли пулеметные вышки, но был ли на них кто-либо? Метрах в трехстах от нас виднелась русская деревня, со стороны которой двигался немецкий патруль.

Мы притаились за поваленной сосной, пока немцы не скрылись с глаз.

В доме, куда мы вошли, сначала испугались невздомых пришельцев. Не провокаторы ли мы, не пришли ли разведать о партизанах в семьях воинов Советской Армии? Но, когда мы рассказали о своих мытарствах, нам поверили. Предупредили, что в город идти нельзя, посоветовали направиться к деревне Пристань, в восьми километрах от Пскова. Там немцев нет, и туда наведываются партизаны.

Два дня мы шли до указанной нам деревни. Шли окольными путями, преимущественно через леса. К счастью, природа самилостивилась над нами. Ночью путь освещала луна, да и мороз был не слишком лютой. И все же я чувствовал сильное недомогание.

В деревню Пристань мы добрались ночью. Дальше идти я не мог, не было сил, чувствовал, что теряю сознание.

Помню только, что Андрей затащил меня в нетопленную деревенскую баню, уложил на скамью. Пришел он вскоре с какой-то женщиной. Я лежал на сеновале, а в избу к тете Палаше, которая ухаживала за мной, как за родным сыном.

И вот случилось то, чего мы ждали каждый день. Ночью пришел вражеский патруль. Я лежал на сеновале, а в котором, к счастью, не было сена. Свернулся калачиком, прижавшись к половицам, прикрыв себя какими-то старыми мешками. Сено хранилось в сарае, и немцы, обыскав избу, ринулись туда, освещая серый электрическими фонариками и проверяя штывками, не прячется ли кто-нибудь здесь. Потому один из них добрался по приставной лесенке и заглянул на сеновал. Мимо меня скользнул луч

фонарика. Очевидно, именно отсутствие сена привело немца к мысли, что здесь никого нет, и он спустился обратно...

Однажды тетя Палаша привела ко мне двух партизан. Я просил забрать меня в отряд, но они сказали, что имеют особое задание и не смогут меня взять с собой, в особенности учитывая, что я ослабел после болезни.

— Вот подкормит тебя хозяйка, тогда и придеши! — И они дали мне направление, куда идти и к кому обращаться.

Надобность в этом скоро миновала. Наши войска наступали на Псков. Оставаться в деревне дальше было нельзя, и я переехал на жительство в ближайший лес, тем более что наступили относительно теплые дни.

Тетя Палаша и здесь меня не оставила и приносила мне сюда еду.

Приближались звуки канонады. Наши были уже совсем близко.

Я сердечно попросился со своей спасительницей и перешел линию фронта. В тот же день я оказался среди своих. Пройдя проверку, я был зачислен в истребительный противотанковый гвардейский полк, где и прослужил до окончания войны.

Мог ли я забыть тетю Палашу — Пелагею Калинину, вновь подарившую мне жизнь?

Мы переписывались с ней, а однажды, будучи на гастролях в Пскове с К. И. Шульженко, я решил навестить деревню Пристань, которая действительно явилась для меня пристанью в разгаре Великой Отечественной войны. Деревню нельзя было узнать. В ней уцелели лишь два дома, остальные сгорели. От сестры тети Палашы я узнал, что она умерла, а дочь ее Катя живет в Пскове. Я нашел ее, и она проводила меня к могиле тети Палашы. Я возложил на могилу цветы и низко поклонился праху этой светлой, душевной и бесстрашной русской женщины, которой обязан тем, что живу и здравствую по сию пору.

Вечером ее дочь Катя вместе со своей семьей пришла на наш концерт в Пскове. Она с удивлением смотрела на артиста в элегантном фраке и лаковых туфлях. В нем трудно было узнать оборванного беглеца из фашистского плена, беглеца, которого тетя Палаша выводила и поставила на ноги, рискуя собственной жизнью.

**П**ридя после всех мытарств в гвардейскую воинскую часть, Русанов стал подлинной «душой солдатского общества». Конечно, он не был похож на полюбившегося всем знаменитого Теркина с его народными шутками и прибаутками. Если Теркин увлекал своей способностью рассказывать, то Русанов обладал артистическим умением показывать, да еще с таким видом, как будто бы сам удивляется, что ему все так удается. Он по-своему, своими средствами доказывал, что

Жить без пиши можно сутки,  
Можно больше, но порой  
На войне одной минутки  
Не прожить без прибаутки,  
Шутки самой немудрой.

Зимой 1944 года Всесоюзное радио передало в адрес Русанова текст письма, подписанного его товарищами — мастерами эстрады:

«Дорогой Сережа! Искренне и сердечно поздравляем тебя с правительственной наградой. Нам радостно и приятно, что наш товарищ и друг, талантливый артист Сергей Русанов оказался и прекрасным бойцом.

Мы всегда восхищались твоим упорством в творчестве. Твоя любовь к своей профессии всегда служила хорошим примером.

Добивай, Сережа, фашистских дикарей. Недалек день, и мы снова увидим тебя на советской эстраде, и ты снова будешь доставлять своим искусством удовольствие тысячам зрителей.

Крепко обнимаем тебя. Твои друзья и товарищи: Леонид Утесов, Илья Кобцов, Николай Смирнов-Сокольский, Есей Дарский, Лев Миров, Лидия Русланова.

Поводом для телеграммы друзей Русанова послужило награждение его медалью «За отвагу».

Истребительный противотанковый полк, в котором он служил, отражал контратаку немецких танков, пытавшихся остановить наступление наших войск в Прибалтике.

Наши артиллеристы выкатили пушки из засады и били в упор, прямой наводкой, по движущимся немецким танкам, открывшим огонь. Несмотря на серьезные потери, враг не прекратил контрнаступления, и в рядах истребительного полка были немалые потери. Сержант Русанов осуществлял связь передовой со штабом. В один из моментов, когда он докладывал по телефону о появлении новых фашистских машин, разрывом вражеского снаряда был уничтожен находившийся рядом оружейный расчет. Из семи артиллеристов уцелели лишь двое. Тогда Русанов присоединился к ним, и они втроем стали вести огонь из орудия. Атака была отбита.

Вскоре артист был вновь награжден — медалью «За боевые заслуги».

**П**осле войны Сергей Русанов и Татьяна Леман снова на эстраде... Сбылось пророчество их друзей и товарищей по искусству. Снова они радуют зрителей своим оригинальным номером, легкостью и грацией, изяществом исполнения сложнейших трюков. Пригодились Русанову и фразные манюшки, предусмотрительно приобретенные его заботливой партнершей в блокадном Ленинграде...



**Я + Я = СЕМЬЯ**

# И ВСЕ-ТАКИ ЭТО НУЖНО!

(Продолжаем начатый разговор)

**В** прошлом году («Юность» № 7) под рубрикой «Я + Я — СЕМЬЯ» мы опубликовали статью профессора П. Б. Посвянского «О вещах, которые необходимо знать молодым супругам» и репортаж «Беседы о странностях любви». В связи с поднятыми вопросами редакция получила много писем. Большинство читателей считает, что «Юность» своевременно заговорила о вопросах полового просвещения и воспитания, о необходимости сексологических знаний у молодых людей, вступающих в брак.

Наши молодые читатели в один голос просят продолжать публикации на эту тему. «Наконец-то лед тронулся!» — восклицает читательница В. из Саратова. Получили мы письма и от людей пожилых. «Я человек немолодой, — пишет нам читатель А. из поселка Червь, Тульской области. — У меня трое взрослых детей — две дочери и сын, причем старшая дочь только что вышла замуж. Отцу, разумеется, нелегко беседовать с дочерью на сексуальные темы, с сыном, пожалуй, проще. А лучше всего — создание глубоко научной специальной литературы, необходимой юношам, девушкам, молодым супругам».

Однако некоторых родителей публикация в «Юности» разгневала. Вот строки из их писем:

«От лица ряда родителей и учителей протестую против публикации таких статей» (читательница С. из Тюмени).

«Выпала на свою беду журнал для дочери (ей 14 лет) и вот дежурую у почтового ящика, чтобы перебрать его раньше нее» (читательница П. из Куйбышева),

«Если моя 16-летняя дочь, закончив школу, сексологически не будет подкована, радоваться я буду, а не скорбеть, как и большинство матерей» (читательница М. из Нижнего Тагила).

«Настоящая любовь не имеет ничего общего с сексом и вполне может обойтись без него» (читатель Г. из Москвы).

Мы показали эти и другие письма профессору П. Б. Посвянскому с просьбой прокомментировать их.

**П. Б. ПОСВЯНСКИЙ.** В чем-то я могу понять этих родителей. Их шокирует разговор на «щекотливую» тему на страницах массового журнала. Я хочу их успокоить — мы не собираемся поворачивать разговор в сторону специально медицинских вопросов. Многие нас так и боялись. Студентка П. из Ташкента пишет: «Я жду от рубрики «Я + Я — СЕМЬЯ» материалов социального плана, психологического». Именно этот аспект интересует и нас. В моей медицинской практике я всегда, прежде чем приступить к лечению, стараюсь получить как можно больше сведений о воспитании пациента, его культурном уровне, духовном мире... Порой в этих беседах я и находил причину неврозов моего пациента. Я, например, убеждался, что люди, получившие слишком аскетическое воспитание, родители которых в свое время упорно отраждали своего ребенка от разговоров на «щекотливую» тему и даже наказывали их за «неприличные» вопросы, эти люди испытывали впослед-

ствии наибольшую трудность в семейной жизни. Родители должны быть готовы к разговору со своими детьми на любые темы. Конечно, уровень разговора должен соответствовать возрасту ребенка, характеру его вопросов. Но уклоняться от вопросов — значит положить начало отчуждению ребенка от родителей, породить его недоверие к ним. Если читательница из Куйбышева находится в доверительных отношениях со своей четырнадцатилетней дочерью, она не будет бояться, что дочь, прочтя в журнале «Юность» статью об интимных отношениях молодых супругов, задаст матери несколько вопросов. Мне даже кажется, что мать в какой-то степени должна быть заинтересована в этих вопросах, потому что готовится дочь к будущим семейной жизни — святая материнская обязанность.

Любовь — чувство многомерное, в нем скрещиваются психологические, социальные и духовные моменты. Половые отношения — естественная составная часть любви. И если мы это зачеркиваем, не хотим об этом говорить, мы переходим на позиции ханжества. Другая крайность — цинизм. Этого и бояться наши разгневанные корреспонденты. Однако надо уметь отличать цинизм от научных знаний.

Сейчас все больше появляется книг и брошюр на темы полового воспитания. Но в этом потоке просветительской литературы случаются и курьезы. Недавно мне прислали изданную в Перми брошюру В. Т. Селезневу «Красота и здоровье девушки». Это лекция доктора медицинских наук по вопросам пола для школьников старших классов и учащихся средних специальных заведений. В этой брошюре все свалено в кучу — непосредственно после стихов Эдуарда Асадова следует глава «О венерических болезнях», цитаты из Горького, ссылки на чеховских «Трех сестер» перемежаются со сведениями о строении и функциях половых органов. А что стоят такие перлы: «Жизненный опыт говорит, что если вы учитесь, то в брак удобнее (!) вступать на последнем курсе института или техникума, по это не обязательно (!)», «Каждая из вас уже сейчас может стать матерью, но кто в этом заинтересован?», «Помните, дорогие девушки, что все мужчины уважают неподающих». Иначе как предмет для пародии эту брошюру воспринимать трудно.

Разговор на трудную тему должны вести не только люди, знающие предмет, но и умеющие тонко и тактично его изложить. Можно сказать, что это дело больше педагогическое, чем медицинское.

При институте общих проблем воспитания Академии педагогических наук СССР уже несколько лет существует лаборатория проблем полового воспитания. Наш корреспондент посетил эту лабораторию, где продолжил беседу на «щекотливую» тему.

**ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК А. А. БОГДАНОВИЧ.** Проблемы полового воспитания школьников в наше время очень обострились. Великий русский ученый И. И. Мечник-

ков писал, что «чувственность и влюбчивость появляются задолго до половой и общей зрелости организма», то есть до социальной зрелости, когда молодой человек еще не может критически оценить свои поступки и отдавать отчет в своих действиях. Эта дисгармония сейчас усугубилась вследствие общей акселерации. Мы не можем не считать, что наши ребята развиваются физически рано, и мы, в свою очередь, раньше должны начинать их подготовку к взрослой жизни, а не стараться ускользнуть от трудных вопросов.

Наша лаборатория проводит регулярное анкетирование школьников. И вот выяснились парадоксальные вещи. Например, 70% девочек впервые узнали о тайнах своего физического созревания и процессах, которые при этом происходят в их организме, не от матери, а от подруг, знакомых. Это, если хотеть, противостоит. Кто, как не мать, должна подготовить свою дочку к взрослой жизни?

Интересно этот факт сравнить со статистикой, которую мы получили на примере одного ПТУ. Учащимся был задан вопрос: «Где вы первый раз выпили вино? Выяснилось, что 82% молодых людей впервые выпили дома — на семейных торжествах, по поводу премии отца, первой зарплаты брата, сдачи экзаменов в вечерней школе или в институте... Тут, как видите, родители взяли на себя труд приобщить свое чадо к взрослой жизни.

**СОТРУДНИЦА ЛАБОРАТОРИИ КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК Н. И. ВОЛОДИНА.** Атмосфера в семье зависит в основном от матери, — от ее нравственного облика, духовного мира. Моя тема, над которой я работаю в последнее время, так и называется «Материнское поле». Уже на примере родителей происходит первое знакомство детей со взрослой семейной жизнью.

У матери, естественно, устанавливается контакт с дочерью, у отца — с сыном. В возникновении этих связей опять же главная роль принадлежит матери. Мы считаем, что половое воспитание детей надо начинать с просвещения родителей. Наша лаборатория тесно связана с московской школой № 628. Вместе с педагогами мы проводим родительские собрания. Выясняется, что уровень осведомленности родителей в вопросах пола очень низкий. Но потребность получить знания — большая. Родители понимают, что эти знания помогут им найти контакт с детьми.

**СОТРУДНИЦА ЛАБОРАТОРИИ КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК А. С. МЕЛИКСЕТИЯН.** В школе я регулярно беседую со старшеклассниками об этике взаимоотношений юношей и девушек. Перед тем как начать свои беседы, я попросил их ответить на мою анкету, чтобы выяснить, что они знают и что они хотят узнать. Тема любви — это, конечно, самая горячая тема для 8—10 классов. Но я подметил интересную закономерность. Восемьклассники безговорочно верят в любовь, в 9 классе, судя по анкетам, появляются сомневающиеся, в 10-м же вера в любовь резко падает. Среди записок, которые старшеклассники посылают мне после бесед, попадаются уже такие: «Вы много говорите о счастье. А что такое горе?», «Что такое ревность?», «Можно ли прожить без любви?», «Что такое одиночество?». Ребята взрослеют. Порой одиночество, трудность контактов с одноклассниками, замкнутость — следствие тревог, возникших при половом созревании, когда мальчики и девочки остаются наедине со своим бунтующим организмом и никто не может им объяснить, что с ними происходит и как меняется их жизнь.

**А. А. БОГДАНОВИЧ.** Бывает, что культурный уровень родителей слишком низок, и тогда подростку должна помочь школа. Мы проводим регулярные семинары с учителями, разрабатываем методические

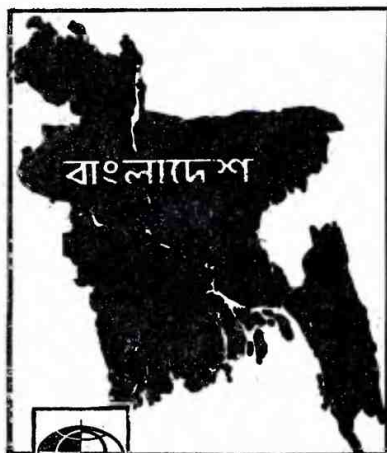
указания для них. Некоторые школы Одессы, Естоны уже ввели в свои программы уроки, посвященные семейным отношениям и вопросам гигиены пола — 30—36 часов в месяц. Сейчас Министерство просвещения СССР рассматривает наше предложение сделать этот предмет обязательным для всех школ.

В этой программе половое воспитание не отделяется от общей системы нравственного формирования личности. Мы раскрываем глаза подросткам на тайны их созревания, готовим их к взрослой жизни. Составной частью программы является тема «Физиология и психология возраста в период полового созревания». Эти занятия проводятся раздельно с мальчиками и девочками. Подросток обычно думает, что все происходящее с ним в период полового созревания не происходит больше ни с кем, он замыкается в себе, у него может появиться комплекс неполноценности. Занятия по этике взаимоотношений мальчиков и девочек мы проводим, собирая их в одну группу. На этих занятиях идет разговор о том, что мальчик должен уважать девочку, относиться к ней галантно, по-рыцарски, и в то же время объясняем девочкам, за какие качества они должны уважать мальчиков. Конечно, говоря научным языком, намечаем шкалу, по которой будет происходить нравственная самооценка и взаимная оценка подростков. Это должно помочь молодым людям общаться между собой и снять напряжение между ними.

**ЗАВУЧ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ № 628 А. М. ЕМЕЛЬЯНОВ.** Вы знаете, когда к нам в школу пришли товарищи из лаборатории и начали свои беседы с учениками, мы, открыто говоря, отнеслись к этому настороженно. Не испортят ли они нам ребят?.. Но прошло время, и я заметил, что атмосфера в школе достаточно улучшилась. Ребята стали какими-то более открытыми, общительными, девочки перестали шуткаться по углам, мальчики повзрослели, стали более предупредительно и даже как-то по-рыцарски относятся к девочкам.

**А. С. МЕЛИКСЕТИЯН.** Раньше я работал в школе преподавателем черчения. Школа была трудная, учителя долго там не задерживались. Часто в конце урока я стал беседовать с классом об отношениях юношей и девушек, о дружбе, о любви... Вы себе не представляете, как в классе повисла дисциплина и успеваемость. Ребята старались быстрее выполнять все мои задания, чтобы выкроить как можно больше времени для жгучих вопросов. Область любви у нас мало исследована. Достаточно сказать, что на сегодня существуют самые различные толкования таких понятий, как «девичья честь», «мужское достоинство», «женственность», «нравственность»... А уж для подростков все это темный лес. Однажды в анкете я задавал такой вопрос: «Что такое мораль? Один восьмиклассник ответил: «Мораль — это вывод из басни».

**А. А. БОГДАНОВИЧ.** Область полового воспитания — часть общего нравственного воспитания. Интересные проблемы исследуют в нашей лаборатории кандидаты педагогических наук В. И. Гладких, наши сотрудницы И. В. Демина и Н. З. Ксенофонтова. Я думаю, общими усилиями мы поможем родителям и учителям, чтобы их разговор с детьми на «щекотливую» тему стал бы для них не таким трудным, как сейчас.



Ю. ЗЕРЧАНИНОВ,  
Н. ЗЛОТНИКОВ

# ТАРАТАРИ

Шестнадцать  
дней в Бангладеш

**Д**ля первого знакомства со страной приглашаю тебя, читатель, в жаркий полдень бенгальской зимы на старый Мирпур-мост, который перекинут при въезде в столицу республики Дакку над Бури Гангом (мы говорим: матушка Волга, а бенгальцы: старина Ганг).

Пропуская встречный поток коров, машин, буйволов, запряженных в повозки, велорикси и бэби-тэкси (моторикси), наша «тайота» стоит в очереди на мост, уткнувшись в небольшой «ландровер», в котором красуются кокетливые монашки с поясками Красного Креста.

А мимо нас два флегматичных буйвола неторопливо катят крестьянскую повозку на огромных колесах. Старик, сидящий в повозке, сладко жуёт бетель и даже не оборачивается на истеричные гудки ползущего сзади «форда», а лишь, обнажая в улыбке свои красные от бетеля зубы и раскинув руки, пред-

лагает каждому убедиться, что нет у него палки, он бы рад подстегнуть этих ленивых буйволов, да шечем.

Тогда велорикша, который, в свою очередь, называет «форду», решаетеся на обгон. Чудом проскакивая между нашей «тайотой» и «фордом», он яростно крутит босыми ногами педали. На этом парне лишь рваная майка да юбка, но зато как томны красавицы, которыми щедро расписана его коляска, как лиловые тигры, которые скалятся на этих томных красавиц! Велорикша едва не врывается в скорбного человека, который безудержно рыдает, опустившись на колени прямо среди дороги, но тот успевает ловко скануть в сторону и теперь зло провожает лиловые тигров совершенно сухими глазами. Но как вдохновенно он плакал только что профессиональным плачем нищего!

— Айс-крим! Айс-крим! — закричали Канкан и Лабани, девочки Шамсуззамана Хана.

Стремясь, чтобы наша поездка в город Майменсингх походила на непринужденное семейное путешествие, шеф культурного отдела Бенгальской академии, по приглашению которой мы приехали в страну, Шамсуззаман Хан уговорил свою жену Хелену взять обеих девочек и отправиться вместе с нами. И действительно, если бы не девочки, мы бы не завернули, наверно, в Национальный парк, где увидели, наконец, живого бенгальского тигра. И пусть это был лишь тигренок, и пусть он сидел в клетке — не в зоопарке все же, а на поляне парка! — но, согласитесь, обидно приехать в Бангладеш (Бангла — Бенгалия, деш — страна) и видеть бенгальского тигра лишь на коляске велорикши. Вместе с Канкан и Лабани мы тихо полюбовались тигренком Ульфом, потом девочки немного подразнили двух макак, и мы поехали дальше. А сейчас девочки увидели продавца мороженого...

Но стоило нам купить мороженое, как у машины возник мальчик с глиняным кувшином, предлагая купить воды, чтобы запить мороженое, а затем другой мальчик, жонглируя зеленым кокосовым орехом, стал одновременно показывать, как он срубил сейчас тяжелым ножом верхушку ореха, чтобы нам было чем запить воду...

Долгое ожидание въезда на мост было окутано красной лессовой пылью. Ее вздымали коровы, которых справа от нас по крутой насыпи крестьяне гнали ближе к мосту. Ее вздымали огромные грузовики и переполненные автобусы — люди сидели даже на крышах этих автобусов, — которые слева от нас тяжело сползали по разбитой колее к парной переправе, ибо шаткий деревянный Мирпур-мост не для больших машин.

Рядом со старым мостом сейчас строится новый — широкий и вообще самый что ни на есть современный мост. Мы, конечно, учли символичность этого факта, приглашая тебя, читатель, на Мирпур-мост для первого знакомства со страной. Однако первое знакомство будет неполным, если не сказать, как с Мирпур-моста (а мы, наконец, въехали на него) смотрит Бури Ганг.

А он смотрится великой дорогой. Дороги этой страны — ее реки. А главные реки — Брахмапутра и Ганг. И плывут по Гангу под разноцветными парусами большие суда и изысканных форм лодки, плывут приземистые гребные суда и дома-лодки, на которых женщины доят кор и варят рис. Мы варут оштанги себя суетными туристами, которые долго кружились по различным улочкам и переулкам незнакому города, но так и не въехали на главный проспект.

**СПРАВКА.** В народной республике Бангладеш живет около 75 миллионов человек — это одна из самых густонаселенных стран земного шара. В 1947 году, после раздела Британской Индии на Индию и Пакистан, Восточная Бенгалия (нынешняя Бангладеш), в которой преобладает мусульманское население, вошла в состав Пакистана и стала именоваться провинцией Восточный Пакистан. По уровню экономического развития эта провинция значительно отставала от Западного Пакистана. Но военный режим, установившийся в Пакистане, всячески стремился сохранить это неравенство. Даже бенгальский язык долго не уравнивался с урду — государственным языком Западного Пакистана. В 1952 году, в разгар борьбы за признание бенгали вторым государственным языком, полиция расстреляла в Дакке студенческую демонстрацию. С середины шестидесятых годов движением за автономию Восточного Пакистана уверенно руководит партия Народная лига, возглавляемая Муджибуром Рахманом. Первые в истории страны всеобщие выборы 1970 года заканчиваются убедительной победой Народной лиги (большой успеха на выборах добивается и западно-пакистанская Народная партия, возглавляемая Зульфикаром Али Бхутто). Дальнейшие события развиваются так. Президент Пакистана Яхья Хан откладывает сессию Национальной ассамблеи. Муджибур Рахман призывает восточнобенгальцев начать кампанию гражданского неповиновения. Вечером 25 марта 1971 года Муджибура Рахмана арестовывают, а ночью войска уже ведут широкие карательные операции против восточнобенгальского населения. Патриоты, отвечая сопротивлением, начинают вооруженную борьбу за освобождение страны.

В апреле было объявлено о формировании Временного правительства Бангладеш. В сентябре при инициативе была создан Консультативный совет из представителей основных партий, участвующих в борьбе. В этот совет вошли и представители Коммунистической партии Бангладеш. Были сформированы отряды «мукти бахин» — партизанские отряды борцов за свободу. К ноябрю под контролем Временного правительства уже находилась четвертая часть восточнобенгальской территории. Декабрьский индо-пакистанский военный конфликт ускорил освобождение страны — было создано объединенное командование вооруженных сил Индии и Бангладеш. 16 декабря освобожденные войска вступили в Дакку — теперь столицу республики Бангладеш.

«Народ Бангладеш никогда не забудет о помощи Советского Союза, оказанной в трудный для нашей страны час», — эти слова принадлежат премьер-министру республики Бангладеш шейху Муджибуру Рахману. Вспомним, как уже 2 апреля 1971 года Пресседетель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный обратился к президенту Пакистана с призывом «прекратить кровопролитие, репрессии против населения в Восточном Пакистане... Вспомним, как наша страна отправляла медикаменты и продовольствие в лагерь восточнопакистанских беженцев, созданные на территории Индии в Западной Бенгалии. Вспомним, наконец, как твердая позиция Советского Союза сорвала всякого рода попытки США и Китая помочь военному режиму Пакистана расправиться с национально-освободительным движением народа Бангладеш. И, как известно, этот режим в конце концов пал, и к власти в Пакистане пришло демократическое правительство, возглавляемое лидером Народной партии Зульфикаром Али Бхутто, и сейчас республика Пакистан уже официально признала республику Бангладеш.

А наша страна по-прежнему продолжает оказывать помощь народу Бангладеш. Наши геологи ищут

в стране нефть и газ, наши рыбаки налаживают в Бенгальском заливе морской промысел, наши вертолетчики выполняют сложнейшие задания на внутренних трассах страны...

С весны 1972 года в порту Читтагонга (на рейде этого крупнейшего порта страны были затоплены десятки судов, а подходы к порту были заминированы) работает советская Экспедиция особого назначения. 2 апреля 1972 года на десятом причале читтагонгского порта, к которому пришвартовался флагман наших спасателей ПМ-40 («Плавучая мастерская-40»), состоялся митинг встречи, а 5 мая в заминированный нашими тралячками порт уже вошел танкер «Прекрасный Гонконг». Затем началась погрузка затопленных судов, которыми были заблокированы многие причалы.

Мы побывали в Бангладеш в начале этого года — представляли «Юность» в писательской делегации, которой руководил председатель правления Союза писателей Литвы Альфонсас Беляускас. К этому времени советские моряки подняли в Читтагонгском порту уже пятнадцать судов.

У входа в порт нам достаточно было сказать, что мы русские, как ворота незамедлительно распахнулись. Слово «русский» в Читтагонге сейчас — как пароль.

Читтагонг стоит в устье реки Карнапхуа, при ее впадении в Бенгальский залив. Вода здесь густо насыщена илом — тяжелой, грязно-желтого цвета вода. В этой воде живут зеленые змеи и слепые дельфины. Здеишние дельфины были когда-то зрячими — но за чем глаза там, где ничего не видно? Наши водолазы специально тренировались, чтобы научиться работать на ощупь. А ил? Из сухогруза «Сурма» водоизмещением в 14 тысяч тонн пришлось выбрать — сначала разбить окаменевший ил, затем размыть его, а уж потом откачать — 25 тысяч тонн ила! А после этого надо было заделать триста пробойн...

Мы увидели читтагонгский порт в лучшее время года — в сухой и умеренно жаркий день здеишей зимы. А в сезон дождей, как рассказывали водолазы, лучше спуститься на темное дно, чем сидеть в шлюпке. Но и в лучшее время года темнеет в устье Карнапхуа настолько сильное, что сбивает водолаза с ног — можно работать только на «стоп-воде», то есть между приливом и отливом, когда течение спадает. Здесь два отлива и два прилива, — причем в прилив вода поднимается на пять метров. И рабочего времени, этой «стоп-воды», набирается в общей сложности не более трех с половиной часов в сутки.

Мы стояли у десятого причала и слушали начальника экспедиции контр-адмирала Сергея Петровича Зуенко, который поначалу был несколько обижен, что мы отбедаем не у него, а в местном отделении Общества Дружбы Бангладеш — СССР, но быстро смягчился и теперь рассказывал: «Все говорил, что здесь понтоны нельзя использовать, а мы взяли и подняли понтонами судно водоизмещением в тысячу двести тонн...»

Рядом с внушительным, громким, широким в жестах Зуенко стоял маленький сдержанный Абул Хейр Маннан — портовый чиновник, ведающий связями с нашими спасателями. Маннан, который не мог позволить себе и в жаркий день появиться в порту без галстука, с тихим восхищением смотрел на Зуенко, который выглядел контр-адмиралом даже в рубашке с лихо закатанными рукавами и в шортах.

Маннан рассказал нам, как однажды, в воскресный день, когда он сопровождал контр-адмирала Зуенко в поездке на озеро Каптай, тот спросил его, как называется какой-то цветок. Маннан стал говорить,





На своей фотографии, подаренной «Юности», Мужрибур Рахман написал: «С наилучшими пожеланиями советской молодежи». (Вверху слева).



На остальных снимках, сделанных Ю. Зерчаниновым, вы видите: советского водолаза Анатолия Ермоленко в порту Читтагонга, внучку поэта Назрула Ислама красавицу Мишти, продавцов фруктов на улице Денки.



что это очень красивый цветок... «Ты мне скажи, как он называется?» — повторил Зуенко. Маннану пришлось признаться, что он не знает, как называется этот цветок. А когда они проезжали мимо рисовых полей, контр-адмирал вдруг спросил: «А сколько рису можно собрать вон с того клочка земли?» Маннан совсем растерялся и сказал, что он знает все, что относится к морю и к порту... «Это я тоже знаю», — сказал Зуенко. Поведан нам эту историю, Абуа Хейр Маннан заключил: «У ваших моряков я учусь работать, и работать не только ради своего счастья, а чтобы все люди были счастливы, чтобы никто на земле не плакал. И этот удивительный человек, который командует вашими моряками, даже учит меня знать, как называется каждый цветок моей Бенгалии...»

Тут, читатель, мы хотим признаться тебе, что один из нас иногда порывался быть неустовым репортером и все увидеть собственными глазами, во всем поучаствовать. В ночной Дакке он искал встречи с шакалом. (Ночами по улицам Дакки крались шакалы, их пронзительный вой обрывался с первым порывным криком, и шакалы исчезали бесследно до следующей ночи.) И однажды на узкой улочке старой Дакки, высветив фарами какую-то обезлужу собаку, он закричал: «Любитесь! Старый шакал!» Однако его порывы оживляли нашу поездку. Мы надеемся, что они оживят и наш рассказ. И в порту Читтагонга, где мы провели два недолгих часа, он не захотел ограничиваться лишь разговорами. А дело в том, что пока мы беседовали у Десятого причала с контр-адмиралом Зуенко, началась «стоп-вода», и над портом повис неровный свистящий звук...

Но слово — нашему неустовому репортеру: — Я не сразу понял, что это транслируется многократно усиленное тяжелое дыхание водолаза, а когда понял, то по шатким мосткам поспешил на плавучий край, «разружающий» затопившую «Бетти». Мне разрешили поговорить немного через посредство водолазно-телефонной станции с матросом Евгением Самойленко, который спустился на «Бетти». Я спросил: «Как дела?» Самойленко ответил: «Темно. Видимости ни грамма». Я хотел сфотографировать Самойленку, когда он будет выходить из воды, но зевнул этот момент и выходящий из воды сфотографировал другого водолаза — старшего матроса Анатолия Ермоленко. Рядом работавшие такелажники весело комментировали мою съемку: «Что водолаз? А кто конец ему подает? Такелажник!»

Уже в VI веке Читтагонг вел крупную морскую торговлю. А в XVIII веке, когда город был захвачен английскими колонизаторами, он считался одним из богатейших портовых городов Южной Азии. Но англичане главным портом Бенгалии, да и всей Британской Индии, сделали Калькутту, и Читтагонг заглох. Кстати сказать, так заглохла при англичанах и Дакка, которая в начале XVIII века была великим торговым городом, славившаяся производством тончайших тканей; любопытно, что, если население Лондона в начале позапрошлого века было равно шестидесяти тысячам человек, то в Дакке жило девятьсот тысяч! И только после ухода англичан и Дакка и Читтагонг, как главный город и главный порт провинции Восточный Пакистан, начинают оживать. А сегодня читтагонгский порт — морские ворота республики Бангладеш. У его причалов, путь к которым теперь открыт, мы видели суда под флагами многих стран мира.

**СПРАВКА.** Бенгальцы живут сегодня как в Бангладеш, так и в Западной Бенгалии (главный город — Калькутта), входящей в состав Индии. Но чтобы познать культуру, и в частности поэзию Бангладеш, надо оглянуться от государственных и ре-

лигиозных границ. Еще Рабиндранат Тагор писал: «Дух твой, Бенгалия, сердце Бенгалии, сестры и братья всюду в Бенгалии да будут едины, да будут едины, да будут едины...»

Истоки современной бенгальской поэзии уходят в древнеиндийскую культуру. И поэты Бенгалии долгое время писали, естественно, на санскрите, но уже в десятом веке, когда бенгали, как и некоторые другие новоиндийские языки, обретает самостоятельное существование, были созданы стихи, свободные от влияния санскрита.

В этой короткой справке мы совсем не претендуем на то, чтобы рассказать о големом и сложном пути развития бенгальской поэзии, но хотим напомнить, что именно Бенгалия дала миру Рабиндраната Тагора (1861—1941 гг.), ставшего в один ряд с величайшими поэтами всех времен и народов.

Как известно, песня Тагора «Дать народу» стала национальным гимном Индии, а другая его песня — «Моя золотая Бенгалия» — национальным гимном Бангладеш.

Мудрый мистер Камал, эссеист и критик, муж известной поэтессы Суфин Камал, говорил нам, что душа бенгальца — вещь мягкая, можно сказать, зеленая, но она окрашена и поэтическим восприятием мира: в деревнях, где многие не умеют ни читать, ни писать, дельными ночами может даваться поэтическое состояние — кобита.

Всеобщим поклонением окружен в Дакке знаменитый поэт Казим Назрула Ислам, хотя тяжелая болезнь уже давно лишила его возможности писать стихи. На воротах дома Назрула Ислама, на 28-й улице района Джамидан, висит надпись: «К поэту можно прийти в субботу с 9 до 11 и с 14 до 18 часов и в воскресенье с 9 до 11 и с 16 до 18 часов».

Однажды воскресным утром друзья из Бенгальской академии тихо ввели нас в дом старого поэта, и Альфонсас Беллускас, которого предупредили, что поэт не любит, когда к нему приходят в очках, близоруку шурился и никак не мог рассмотреть Назрула Ислама, а тот сидел на диване в белом праздничном одеянии, и вначале казалось, что он невнимательно нас рассматривает, но потом мы поняли, что он напряженно смотрит на нас совершенно отсутствующим взглядом. Вот уже более тридцати лет, как Назрула не написал ни одной строки. А сейчас он, к сожалению, даже не сознает себя тем человеком, который гордо заявлял когда-то: «Ни перед кем не преклоню колени, даже перед богом, а только перед самим собой». Эти слова Назрула Ислама начертаны поперек желтого бенгальского тигра на картине — подарок армии Бангладеш, — который стоит при входе в комнату. И люди идут в этот дом чередой, чтобы увидеть того человека. Кому дано, тот видит...

Безмолвный Назрула сразу преобразился, едва жена его старшего сына протянула ему сначала книгу, потом какую-то газету. Он стал жадно вглядываться в очертания букв, слов, губы его беззвучно шевелились. А наш Тоухидур Рахман (финансник Бенгальской академии, который с невероятным рвением организовывал нашу поездку, но машина, на которой он приезжал, почему-то ломалась, а однажды у здания аэропорта, вскинув руки, он бежал нам навстречу и вдруг провалился в люк...) опустил на пол и заигра на фисгармонии «Назрула гит» («Песню Назрула»). Внучки поэта, Мишти и Кильхель, две совсем юные красавицы — у каждой в левой ноздре было продето тонкое золотое кольцо, — запели ломкими голосами эту и плавную и вдруг резкую песню. А затем запел сам Тоухидур, то искусно слетая голос с требующими звуками фисгармонии, то возымая голос над музыкой и обжая самые сокровенные слова

поста. В тот же день Тоухидур, на которого мы смотрели теперь совсем иными глазами, признался, что он уже выступал по телевидению, что и отец его профессиональный певец и сам он хотел бы только петь.

А Назрул под фисгармонию Тоухидура продолжал беззвучно шевелить губами...

Мы спросили Мишти, о чем эта песня, которую она пела с сестрой, и она прочитала такую строфу: «Индусы и мусульмане — братья, индусы — глаза, мусульмане — сердце...»

А когда мы спросили старого человека, которого зовут Купта и который тридцать лет назад пришел в дом Назрула Ислама, чтобы быть слугой уже беспомощного поэта, так вот, когда мы спросили этого человека, кто для него Назрул, он ответил, что пришел в дом Назрула, узнав, что тот написал такие слова: «Весь мир — это одна нация».

Назрул родился в 1899 году в Западной Бенгалии в бедной мусульманской семье. Назрулу пришлось бросить школу и работать в деревенской пекарне. В одиннадцать лет он вступил в труппу бродячих певцов. Как и Тагор, он был одарен не только поэтически, но и музыкально и впоследствии сочинял музыку для своих стихов.

В двадцатые годы Назрул обособывается в Калькутте, переводит на бенгали «Интернационал». Пишет революционную песню «Красный флаг», публикует циклы стихов «Равенство» и «Пролетариат». А свою первую книгу называет «Огненная лира». В центре книги — его знаменитая поэма «Бунтарь». Назрул демократизировал язык бенгальской литературы, ввел новых героев: рыбаков, крестьян. Он искал новые формы стиха и в своих очерках мировой литературы с восхищением писал о Маяковском.

Он мечтал о новом обществе и всем своим поведением бросал вызов окружающему ханжеству, лицемерию, предрассудкам. Огромный скандал вызвала его женитьба — мусульманин пошел взять в жены индуску. Он отпустил длинные волосы, кутил, волочился за красотками. Он писал очень много стихов, работал в театре, на радио, в газетах и получал немалые гонорары, но все деньги распылял, тратил вместе с друзьями. В 1926 году Назрул, как независимый, баллотировался в парламент. Когда арестованный за свою общественную деятельность Назрул объявил в тюрьме голодовку, Тагор прислал ему телеграмму, посвятив ему свою книгу «Весна».

С песнями Назрула Ислама шли в бой отряды «мухти бахнин». Особенно популярна в стране сейчас его песня: «Чод, чод, чод!» («Вперед, вперед, вперед!»)

Мы бывали в доме поэтессы Суфия Камал. Эта маленькая хрупкая женщина широко известна и своей общественной деятельностью. Она президент Общества Бангладеш — СССР. Свою последнюю книгу Суфия Камал назвала «Где могилы моих детей». Там есть такие строки: «Настало время жить — пришел конец страданию. И новый день настал, как образ созданный... И птица вьет гнездо без страха и тревоги...»

Встречались с Шамсуром Рахманом — одним из самых ярких бенгальских поэтов молодого поколения. Как и Суфия Камал, он уже переводился на русский язык. Шамсур Рахман шипит: «...я поэт, новых времен гашатай, в сердце моем пробегает проворная лань... в мозгу горящие думы Тагора по-новому оживают, — их обжигало под яростным солнцем жизни, и сколько надежд-лебедей в синеве моего сознания реют и вьются, мердая крыльями звездами!»

Расскажем немного подробнее о 29-летнем поэте Матиуре Рахмане, стихи которого не переводились на русский язык (в нашей стране его стихи переводят-

лись на казахский язык). Его программное стихотворение «Я заявляю о себе» начинается так: «Сегодня я заявляю о моем существовании. Перед всем миром я занесу кулак, Сердце — кровотокающая рана. С яростью урагана я швырну в самое небо горсть кровавых цветков. Небо и ветер говорят на своем языке. Призрачный трепет пробегает по листьям горячих деревьев. Мои глаза — расплавленная сталь. Кровь обжигает мой жила...»

В семидесятом году в Дакке была официально разрешена новая газета — «Экота» («Единство»), главным редактором которой стал выпускник Даккского университета Матиур Рахман, молодой человек из вполне приличной, по мнению властей, семьи. Было известно, правда, что он активно участвует в работе оппозиционного Союза студентов, но власти не знали, что уже с шестнадцати лет Матиур принял участие в подпольном коммунистическом движении, руководил партийной ячейкой в университете, да и в руководстве Союза студентов представлял партийно коммунистов. Надо было иметь незаурядную выдержку, быть невероятно изобретательным чисто профессионально, чтобы успешно руководить этой газетой. 25 марта 1971 года, в 12 часов ночи, главный редактор подписал номер, который еще успели набрать и отпечатать, но продать его не удалось — «Экота» была закрыта. Матиур Рахман уходит в подполье. В Дакку он возвращается с отрядом «мухти бахнин» и вновь редактирует «Экту» — теперь уже официальный орган Коммунистической партии Бангладеш. Статьи, с которыми Матиур Рахман сам выступает в «Экоте», имеют широкий резонанс в стране.

При нас вышел номер газеты, в котором Матиур Рахман уничтожающе анализирует идеиную несостоятельность различного рода группировок, действующих в стране как легально, так и нелегально под маоистскими лозунгами. «А одна из этих так называемых «подпольных компартий» в дни освободительной борьбы воевала и против пакистанских войск и против «мухти бахнин!» — говорил он нам. Ряды Коммунистической партии Бангладеш растут, и скоро самым молодой член ЦК партии Матиур Рахман будет главным редактором не еженедельной, как ныне, а ежедневной газеты «Экота».

Вот как заканчивает Матиур Рахман стихотворение, которое мы уже цитировали: «Пусть штык мне проколет сердце — ничто меня не оставит... Пусть факелами глаза мои выгорят. Не страшусь слепоты непроглядной. Ничто меня не остановит. Солнце, дай мне твою жгучесть, сердце мое укрепит».

**С П Р А В К А.** Как уже говорилось, 25 марта 1971 года по распоряжению военных властей, правивших тогда Пакистаном, Муджибур Рахман был арестован. Помните многолюдные митинги, которые проходили в тот год в нашей стране? Советская общественность требовала освобождения из западнопакистанской тюрьмы руководителя национально-освободительной борьбы народа Бангладеш. Когда к власти в Пакистане пришел Зулфикар Али Бхутто, Муджибур Рахман был освобожден и 10 января 1972 года возвратился в Дакку.

Премьер-министр республики Бангладеш, с юношеских лет избравший путь политической борьбы за свободу своего народа, провел в тюрьмах более десяти лет. Еще в конце сороковых годов, будучи студентом юридического факультета Даккского университета, он участвует в создании боевой молодежной организации — Восточнопакистанской студенческой лиги. Муджибур Рахман — один из создателей партии Народная лига, а с 1966 года он возглавляет партию.

Сейчас, когда в стране начинаются широкие социальные и экономические преобразования, правящая партия Народная лига выступает в коалиции с Коммунистической партией Бангладеш.

Шейх Муджибур Рахман необычайно популярен в стране. Его называют и отцом нации и братом Бенгалии — Воингобадху. Нам рассказывали немало историй про Муджибур Рахмана, в которых он выглядит не столько отцом, сколько типичным сыном своего народа. Вот одна из этих историй. Бенгалец высоко чтит учителя — будь то университетский профессор или обычный школьный учитель. Так вот, встретившись недавно со своим школьным учителем, Муджибур Рахман низко поклонился, протянул ему свою палку и сказал: «Вы научили меня читать и писать, и если я сейчас делаю что-нибудь не так, поучите меня, как и прежде. Учитель будто бы взял палку, но сказал: «Ты все делаешь правильно».

Мы публикуем фотографию Муджибура Рахмана с его автографом, историю которого расскажет наш неустойчивый репортер:

— В то утро я встречался с известным журналистом и общественным деятелем Кхандакаром Ильясом, который вместе с Муджибуром Рахманом участвовал еще в студенческом движении. В своей последней книге «Муджибизм» Ильяс рассказывает о борцах за свободу — от Спартака до Муджибура Рахмана. Ильяс угощал меня и Олега — московского студента, изучающего бенгальский язык и сейчас проходящего практику в Дакке, — бананами, сладким шандашем, традиционным чаем с молоком. Мы беседовали, попивая чай, как вдруг Ильяс сказал, что приготовил мне сюрприз, что Муджибур Рахман может сейчас принять меня. Олег воскликнул растеряно: «Но я не думал, что буду переводить такой разговор. Я не так одет — я в джинсах...» «Мы должны быть в резиденции шейха через пятнадцать минут», — сказал Ильяс. Олег заметался: «Как я расскажу в Москве, что упустил такую возможность встретиться с Муджибуром Рахманом?» Олег позвонил второму секретарю нашего посольства Александру Першину, и тот сообщил, что через пятнадцать минут придет в резиденцию шейха и будет сам переводчиком. «Но я тоже поеду», — сказал мне Олег, — мало ли что...»

Безукоризненно элегантный Першин уже встречал нас у ворот резиденции. Олег умоляюще посмотрел на него, но Першин сказал весело: «Потом заедем ко мне, я переоденусь и отправимся в Оксейн. А ты, я думаю, переодеться не будешь?». Олег молча шел с нами до галереи, опоясывающей особняк, где заинтересовался каким-то цветком, а мы тем временем вошли в приемную премьер-министра. Секретарь записал мою фамилию в английской транскрипции и исчез за таинственной дверью, рядом с которой висел портрет Рабиндраната Тагора.

Я увидел Муджибура Рахмана через двадцать минут. За эти двадцать минут в кабинете премьер-министра состоялось экстренное заседание, на котором обсуждались возможные меры правительства в связи с новыми открытыми угрозами со стороны лидеров оппозиционной Национальной социалистической партии. (Я была на пресс-конференции в штаб-квартире этой партии, «имел счастье» лицезреть на стене туговатое-божественный лик Мао и слушал, как Абду Раб — в недавнем прошлом лидер Студенческой лиги, руководимой партией Муджибура Рахмана, а ныне самая скандальная, пожалуй, в политической жизни страны личность — демagogически угрожал правительству «гневом народа».) А за эти двадцать минут, пока в кабинете премьер-министра шло экстренное заседание, на лужайке перед residen-

цией собрался делегат городской конференции партии Народная лига, ожидая, когда Муджибур Рахман выйдет к ним. И когда он к ним вышел в белом национальном костюме и его закидали цветами, а он стал ловить эти цветы и кидать их обратно, тут я его и увидел.

Секретарь Муджибура Рахмана говорил нам, что произошли события, которые заставляют отменить сегодня даже те встречи, которые были намечены заранее, но тем не менее он не сомневается, что в ближайшие дни... Я поблагодарил его за внимание, сказал, что на следующий день улетаю в Москву. «В таком случае», — сказал секретарь, — я вам вышлю в Москву фотографию шейха, на которой он будет рад написать несколько слов, обращенных к советской молодежи. Я еще раз поблагодарил любезного секретаря, и мы раскланялись.

А Олегу судьба улыбнулась. Когда шейх после встречи со своими сподвижниками возвращался галерей к себе в кабинет, он наткнулся на одиноко стоящего Олега, и они поговорили немного. Разговор, правда, свелся к тому, что Олег развеял Муджибура Рахмана, чистосердечно выложил от неожиданности, что вот на свою беду он надел утром джинсы... «Но ты хоть удивил Муджибура блистательным знанием бенгальского языка?» — спрашивал я Олега. «В том-то и дело, что он обратился ко мне по-английски», — рассказывал Олег возбужденно, — и я тоже заговорил по-английски».

А в «Юность» вскоре прибыл концерт из Дакки. Муджибур Рахман написал по-английски на своей фотографии: «С наилучшими пожеланиями советской молодежи».

**СПРАВКА.** «Таратар» — хоговое наречие (образа действия) в бенгальском языке. Означает: быстро, поспешно. Морфологически выраженной сравнительной степени не имеет, однако в разговорной речи в зависимости от контекста может означать: давай, поспеши, быстрее.

Атташе советского генерального консульства в Читтагонге Геннадий Ковтун, с которым за три неполных дня, пока он был нашим гидом и переводчиком, мы удивительно подружился, помог нам надого запомнить это бенгальское наречие.

— Таратар, — внушал Гена шоферу, который в шесть утра мчал нас по горной дороге в сторону бирманской границы. — Таратар!

Невысокие горы плавно переходили в долины, отливавшие пронзительной желтизной горничных посадов. За поворотом дороги вдруг возникла бритоголовая буддийский монах в оранжевом балахоне (пламена, населяющие этот горный район страны, исповедуют буддизм «большой колесницы»). А когда мы проезжали мимо маленького придорожного базарчика, один из нас увидел старика с бамбуковыми дудочками...

Гена остановил машину, а с машины, которая шла вслед за нашей, уже выпрыгивали солдаты с карабинами и брали под наблюдение базарчик. (Количество оружия, которое с дней войны не сдало властям, не поддается учету, а в горах, как нам рассказывали, укрыты вооруженные банды, поэтому нас и сопровождали карabinieri.) Тихий старик человек из племена чакма улыбался светлой улыбочкой и усаждал наш слух игрой на своих дудочках. А карabinieri непозмутимо покуривали, своим видом давая понять нам, что они держат под наблюдением не только этот базарчик, но и весь окрестный ландшафт.

Мы побывали в этот день в маленьком городке Рангамати и познакомился с девушкой-чакмой по

именц Мунита. Она была хороша собой и держалась смущенно. Она показала нам, как люди ее племен работают на ручном ткацком станке. Ее семья живет в легком бамбуковом домике, где стоит лишь большой толчан. Очаг во дворе, земляной, через него прыгали козляки.

Под вечер, спустившись почти к Читтагонгу и вновь, по другой дороге, поднявшись в горы, мы приехали на бамбуковую фабрику. Энергичный директор фабрики сказал, что покажет нам весь процесс превращения бамбука в бумагу; хотя цехов много, фабрика работает и на экспорт, но он уверен, что нам будет интересно увидеть весь процесс.

— Таратар! — воскликнул директор, и мы побежали по цехам, где хрустел перемалываемый бамбук, ритмично стучали станки, формируя бамбуковую массу...

Этот день (поздно вечером мы успели еще осмотреть ГЭС на реке Карнапхули) был, пожалуй, самым длинным и плотным днем за всю поездку. Мы рассказали о нем, опустив многие впечатления, знакомства — нам пора заканчивать свой рассказ, и мы уже подстегиваем себя: «Таратар!» В ритме, заданном этим скачущим словом, позволим себе привести под конец еще несколько беглых наблюдений.

Рыбный рынок в ночном Читтагонге. Пробираемся при свете свечей между деревянных ларей, где лежат большие рыбы, и корзины с крабами. Лоханы с мелкой рыбой. А красноперые, килограммов на пять каждая, рыбы лежат прямо на брезенте, растеленном на земле. Переворачивает на спину, лежат большие черепахи. В другом ряду продавцы черепах окружен толпой, которая наблюдает злую драку двух черепах. Одна хватает другую за шею, та прикладывает голову в пащирь, но победительница, вцепившись зубами в край пащиря, тянет его к себе...

Самолет из Читтагонга в Дакку задержался на час, и жена Гены Ковтуна Наташа, которая тоже ездила с нами в горы, сказала, что мы успеем еще увидеть озеро гигантских черепах. Гена было усомнился, но Наташа сказала: «Те черепахи, которые дрались на базаре, — это не черепахи». «Таратар!» — бесстрастно сказал Гена шоферу. И мы вновь поехали по горбатым улицам Читтагонга, заклеенным плакатами с изображениями ананасов, зонтиков, велосипедов, слонов, напоминавших о недавних муниципальных выборах. (Каждый кандидат в депутаты, учитывая неграмотность большинства избирателей, придумывал себе символ, под которым и призывает ставить на выборах крестик.)

Мы вышли из машины у большого квадратного водоема. Он был взят в бетонное обрамление и тесно окружен деревьями. Это и было знаменитое озеро священных черепах. На берегу у бетонной лестницы, ступени которой уходят прямо в воду, работала киоск: продавалась говяжья печень для черепах. Но у нас был хлеб, и, спустившись по ступеням, мы стали бросать его в воду. Никого, никаких черепах. Гена поспрашивал на часы. Вдур солнце, которое все это время лежало на краю горизонта, быстро ушло вниз. И в тот же миг появились черепахи. Огромные, не менее полуметра в диаметре, черепахи пащирь к пащирю толпились перед нами. Они всплыли так же незаметно и стремительно, как спустились тропические сумерки Читтагонга. Это был какой-то безмолвный вселенский митинг черепах. Мы накалывали хлеб на тонкие палочки и подавали им. Черепахи поднимали крепкие, мощные — в полтора раза толще человеческой руки — шею, широко развалили розовые огромные рты. Одна черепаха выбралась на нижнюю ступеньку лестницы, и кто-то из нас поставил ногу на ее пащирь, но про-

давец говяжьей печени закричал, что черепахи священные и к ним нельзя прикасаться!..

Рано утром на окраине города Майменсингха мы наблюдали, как спелат на базар продавцы фруктов и глиняной утвари. Ананасы, папай и глиняные горшки были уложены в корзины, которые они несли на длинных гибких коромыслах. Другие несли корзины на голове. Оседлавные коромысла при каждом шаге выбрасывали вперед всю ногу, от бедра до ступни; они напоминали спортивных ходоков, которые вот-вот сорвутся на бег. Те же, у кого коромысла возвышались над головой, плавали, как лебеди.

Мы возвращались из Майменсингха в Дакку в день всеобщей ловли рыбы. Люди десятками, сотнями входили в мелкие озера, которые питают рисовые поля, и гнали рыбу к одному из берегов, где ее просто вычерпывали.

Дакка — сплетение средневековых улиц, редких особняков в английском стиле, немногих и невзрачных современных кварталов и целых кварталов улетающих лачуг и барачков. И над всем этим возвышается одно из величайших творений современной архитектуры — Капитолий Луи Кана. Создавая эти пронзенные светом краснотные диланды и арки, архитектор вспоминал знаменитые римские бани Каракаллы.

Мы были в Дакке и в те дни, когда город праздновал Ид эль Бакр — мусульманский праздник разговления. Согласно преданию, ширина тропинки, по которой душа пойдет в рай, зависит от размеров животного, приносимого в жертву. Коров и бычков люди везли по городу, обвязав за шею; коз — на привязи, по шесть, по восемь сразу; один конец бечевки привязан к рогу, другой — в руке погонщика; ягнят несли на руках. Животные, назначенные к закланию, были украшены ритуальными рисунками, гирляндами цветов, венками. Наконец наступило утро, когда жертвы были принесены, и многие люди впервые за долгие месяцы вспомнили вкус мяса. А вечером прямо на улице сохли горы шкур.

Поздно вечером мы попали на удивительный концерт. Музыканты несли и играли прямо под открытым небом. Изредка они подходили к костру, чтобы согреться. Всем распорядился бородастый человек в набдеренной повязке, которого музыканты почти всегда называли учителем. Он подошел поочередно к каждому из нас, коснулся рукой сначала наших ног, потом своего лба. Это — высшее бенгальское приветствие. По знаку учителя нам подали стулья; каждому из нас он надел на шею веночек. У костра грелись еще четверо обнаженных мужчин, ушаных ценами. При каждом движении цепи гремели и как бы вторили бесконечной песне. Люди бросали деньги музыкантам прямо на землю, а если кто-нибудь давал деньги в руки учителю, он бросал их себе под ноги, будто испытывал, прикоснувшись к деньгам, безразличность.

И, наконец, последнее знакомство последнего вечера в Дакке. Мы провели этот вечер в детском клубе, где девятилетний Ритон подарил нам свою картину «Лодки на реке».

— Ты будешь художником? — спросил мы.

— Я хочу быть художником, — сказал серьезно девятилетний мальчик. — Но у меня есть несколько инженерных идей, которые надо осуществить. Тогда все дети в нашей стране будут жить хорошо, и будет всегда весело. И взрослые будут жить хорошо. Но для этого мне надо стать инженером.



Виктор ЖАРОВ,  
Виктор ШИКАН

# С АРИФМОМЕТРОМ СРЕДИ ВОЛН

Рисунки Н. ОФФЕНГЕЙДЕНА.

## МОЖНО ЛИ ВЫЧЕРПАТЬ ОКЕАН!

**В**озьмите 1 миллиард 400 миллионов кубических километров дистиллированной воды, всыпьте в нее 48 квадратных тонн солей металлов таблицы Менделеева, поседите в полученном растворе 200 тысяч видов рыб и млекопитающих и для полноты картины расселите на две тысячи видов высших водорослей. У вас получится...

...все, что угодно, но только не океан. Потому что океан — отнюдь не грандиозная сумма компонентов, а сложная динамическая система, пребывающая в постоянном развитии. Закономерности внутреннего взаимодействия всех его составляющих не позволяют даже мысленно вырвать один кадр из бесконечной ленты минеральной и органической эволюции. Процессы, протекающие в живом и минеральном мире океана, высокочувствительны. Посудите: растительного планктона в Мировом океане около двух миллиардов тонн, а ежегодный его прирост — 550 миллиардов тонн. За 37 тысяч лет — геологический миг — реки вносят в океан количество пресной воды, равное ему по объему, и тем не менее он остается одинаково соленым, по крайней мере в течение последних 2—2,5 миллиарда лет. Более того, неизменным сохраняется состав солей, что позволяло В. И. Вернадскому назвать его мировой константой, характерной постоинной планеты.

Химия, изучившая к нынешнему дню миллионы реакций, в растерянности останавливается перед головокружительным многообразием превращений в морских водах. Сейсмические, оптические, акустические явления, энергетика, формирование донных отложений в океане связаны в тугую узел, и границы наук, изучающих эти явления отдельно, размываются с выходом в море. Огромный объем океанических вод, изучаемость, теплоемкость, идеальная способность растворить химические соединения сделали океан своеобразной, весьма стабильной экологической системой, в которой понятия жизни и среды едва ли не тождественны. Во всяком случае,

солевой состав океанской воды, по-видимому, регулируется живыми организмами.

Получив океан «готовым», человечество на каждом этапе осваивало его сообразно с тем, насколько понимало его сложность. На первых порах в нем усматривали лишь дорогу — необозримую и опасную, на которую выходили с оглядкой на спасительные берега. Вслед за первооткрывателями новых земель и купцами на эту дорогу вышли грабители и воины, перенесшие в водные просторы земные распри; но всех их опережал рыболов, которому поначалу не нужна была и лодка. Кормиться у моря было очень просто: забросил снасть — вытащил улов. Больше снастей — больше добычи.

По-видимому, человек с удочкой сложил первые слова самой неправдоподобной из легенд, когда-либо создававшихся людьми, — легенды о неисчерпаемости океана. Продолжали ее ученые. Первые океанологи, физики, биологи, гидрологи, геологи, выходя на морские просторы с бескорыстной жадью познания, единодушно восклицали: несть числа богатствам! Океан окрестили голубой целиной — еще и сейчас выходят книжки с такими названиями; еще и сейчас не умолкли патетические голоса прогнозистов, указующих в сторону волн: отсюда мы будем кормиться в грядущие века. Да что там кормиться! Добывать железо и марганец, уран и золото. Все из океана. И ничего в океан.

Всего лишь десять лет назад известный советский океанолог В. Г. Богоров писал, что океан даст людям практически неограниченные химические, минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Другой видный ученый, Л. А. Зенкевич, тоже говорил о неисчерпаемых запасах морского органического сырья. «Можно ли оставить их втуне?» — спрашивал он. Казалось, пройдут столетия, прежде чем мы перестанем краснеть из-за своей нераспорядительности.

Но прошло время, и в море вышел первый экономист, поставивший эти радужные прогнозы под сомнение. Им двигала не только извечная лобознательность. Дело в том, что из бескрайних голубых просторов донеслись на берег сигналы SOS, никем из мореплавателей, собственно, не посланные. Миф

о неисчерпаемости непутовых кладовых не то чтобы рухнул, а как-то незаметно рассосался. Он таил по мере того, как росли масштабы океанического промысла. Сейчас они уже сопоставимы с теми темпами, которыми океан способен восстанавливать свои ресурсы. Но ведь возник разговор о ресурсах (по определению Д. А. Арманда и И. П. Герасимова, это те средства существования, которые люди черпают непосредственно из природы), пришлось вспомнить, что они еще недостаточно учтены на суше, — нет полного представления о размерах земельных угодий, лесных массивов, залежей полезных ископаемых. Что же касается океана, то изучение его ресурсов только начато, добыча же некоторых из них ведется полным ходом. Ситуация подобна той, которая, как не без основания считают ученые, породила нынешнюю Сахару: бездумное хозяйствование земледельцев привело к развитию эрозии, которая и дошла до логического конца.



Чтобы подобные пустыни не образовались в Мировом океане, и потребовалось вмешательство экономиста. Он должен провести инвентаризацию и взять на учет все богатства Мирового океана. Речь идет не о простой бухгалтерии, не об арифметическом подведении баланса морских ресурсов. Экономика океана призвана объединить в единый комплекс все многочисленные отрасли хозяйства, занятые эксплуатацией океана или оказывающие на него прямое и косвенное воздействие.

## ВРЕМЯ БРАТЬ И ВРЕМЯ ОТДАВАТЬ

**В** море пришел экономист — выражение отнюдь не фигуральное. Группа экономистов из Одесского отделения Института экономики Академии наук УССР, о которой мы хотим рассказать, действительно выходит в море на исследовательских судах. Отдел проблем экономики моря и Мирового океана, входящий в состав этого института, — едва ли не самое молодое научное подразделение: он существует немногим более двух лет. Что же касается новой отрасли экономики, которую развивают доктор экономических наук М. Т. Мелешикин, кандидат физико-математических наук Д. М. Толмазин, кандидат географических наук М. Ш. Розенгурт и другие сотрудники отдела, то ее возраст не превышает двух-трех лет.

Как и во всякой новой отрасли, перед исследователями открылась бездна неразработанных проблем, начиная с критериев оценки рентабельности всевозможных технических проектов, связанных с охраной среды в замкнутых водоемах, и кончая глобальными проблемами природопользования и теоретическими вопросами экономики Мирового океана. Но-

виза требует от исследователей смелых решений, которые порой могут показаться и парадоксальными. Одна из таких идей — сформулированный ими принцип стабильности в освоении океана.

Да, океан действительно можно назвать неисчерпаемым, хотя на самом деле он исчерпаем. Парадокс походит на тот, который сложился в современной космологии: мы одновременно считаем Вселенную конечной и бесконечной, ибо приняли модель бесконечно расширяющегося мира.

Согласно принципу стабильности, океан остается неистощимым лишь на определенной стадии, которую в Институте экономики АН УССР назвали безубыточной или безущербной. Это самый продолжительный период, начатый еще неандертальцами и заканчивающийся в наши дни. Традиционный подход к океану — разведать и добыть — на такой стадии правомерен, ибо огромные восстанавливающие возможности среды полностью перекрывают ущерб, наносимый потребительским отношением к ресурсам. В это время невольно создается иллюзия, что, сколько бы мы ни эксплуатировали океан, нет необходимости заботиться о нем, вкладывать дополнительные средства на восстановление его ресурсов.

До поры до времени такой скатертью-самобранкой представлялось людям и сельское хозяйство. Древние земледельцы и скотоводы могли безвозмездно пользоваться дарами земли, ибо не в состоянии были подорвать ее плодородие. Но когда человек стал, по выражению академика Вернадского, могучей геологической силой, ему пришлось на собственном горьком опыте убедиться, что безубыточной стадии природопользования неминуемо приходит конец. И если не вкладывать дополнительных средств на восстановление истощенных ресурсов, земля перестает быть для него матерью-кормилицей.

В сельском хозяйстве безубыточная стадия длилась до тех пор, пока земледельцы имели возможность оставлять истощенное поле и переходить на другое место, сжигая леса. Закончилась она в момент, когда рука хлебороба бросила в обесцеленную почву первую горсть удобрений. И сейчас уже каждому ясно, что в растущий колос пшеницы вложена, помимо труда земледельца, деятельность больших заводов по производству минеральных и органических удобрений, по выпуску специальной техники для их внесения в почву, включая самолеты, работы по закладке лесозащитных полос и т. д.

Но все это на суше. Может быть, освоение океана будет идти по-иному? Может, прав Байрон, который писал: «Следами разрушения отмечен человека путь, но власть его кончается на берегу»? Нет, экономист опровергает поэта: освоение планеты развивается по единым фундаментальным законам экономики. И в отличие от поэта подкрепляет свои рассуждения точными расчетами. Мы не будем приводить здесь громоздкие выкладки, попробуем лишь изложить математическую прозу обычным языком.

Сколько бы ни были разнообразны способы эксплуатации человеком природы, суть их всегда одна — трансформация вещества и энергии. Процесс этот поддается количественному учету. Чтобы получить один миллион жизненно важных для нас калорий, надо, например, выловить 10—15 центнеров рыбы или же вырастить 2,8 головы (читатель простит нас за дробление животных — этого требует бессердечная статистика) крупного рогатого скота. Причем животновод затрачивает на это 56 человеко-дней рабочего времени, а рыбаклов — всего лишь 15. Стало быть, один и тот же миллион калорий рентабельнее добыть в море, нежели на суше. Биологическая продукция океанов и морей обходится примерно на 30 процентов дешевле сельскохозяйственной.

Правда, это при условии, что мы ни копейки не затрачиваем на воспроизводство морских стад. А ведь в животноводстве мы считаем такие затраты естественными. И всегда их учитываем. Как же тогда оценивать рентабельность морского хозяйства?

В самом общем смысле рассуждения таковы. Уже сейчас доходная статья рыбной промышленности в мировом масштабе составляет 35 миллиардов рублей. Стоимостью ежегодного естественного прироста биологической продукции Мирового океана — 50 миллиардов рублей. Доходы от вылова достигнут этой величины через 10 лет. Именно тогда и наступит конец первой, безубыточной стадии.

Продолжительность первой стадии для каждой отрасли определяется отдельно. Значительно позже, чем в рыбном промысле, она закончится для речного гидротехнического строительства, также тесно связанного с морем. Широкий его размах приводит к уменьшению стока рек, а значит, и к увеличению солености морей, к изменению их гидрологического режима. Что касается, например, Черного моря, то в институте подсчитали: гидротехническое строительство на реках не скажется пагубно еще в течение 100 лет. Срок достаточно велик; однако это не значит, что можно целый век не беспокоиться о благополучии бассейна. Он, этот срок, выведен именно для того, чтобы правильно рассчитать стратегию защиты моря, разумно распределить во времени средства, необходимые для создания системы охранительных мероприятий. О том, каковы именно эти мероприятия, речь пойдет ниже.

## ЭКОНОМИСТ ВОЗРАЖАЕТ БИОЛОГУ

**П**ервые предостережения о конце безубыточной стадии в океаническом промысле появились еще накануне первой мировой войны. Именно тогда статистики вдруг обнаружили, что мировой улов камбалы стал заметно падать. Объяснить это было нетрудно: взрослому рыбу вылавливали быстрее, чем успевала подрасти молодь. Во время войны, когда рыбаки почти не появлялись в океане, камбала расплодилась. В 1919 году запасы ее достигли довоенных. Но уже в 30-е годы трюмы рыболовных судов опять опустели. В период второй мировой войны цикл повторился: запасы рыбы возросли, а после войны снова стали снижаться, на этот раз в еще больших масштабах.

Ситуация, до прозрачности ясная, тем не менее не была по-настоящему осмыслена, ибо экономисты прошли мимо нее. А с их точки зрения вопрос стоял бы конкретно: до какого предела допустимо однократно, без мысли о будущем, развитие рыболовства? Собственно, у них уже давно заготовлен и ответ, который не раз приходилось давать в других областях производственной деятельности. Расчеты длительности безубыточной стадии лежат в основе всех современных отраслей хозяйства, эксплуатирующих природные богатства. А теперь эти расчеты уже должны касаться и морского промысла.

Первое, что делает экономист, — оценивает, сколько долго может продолжаться производство в условиях, когда ресурсы сырья не восстанавливаются. Скажем, оценки показывают, что данная отрасль в таких условиях продержится сто лет. Чтобы она могла существовать дальше, мы должны до окончания этого срока вернуть природе использованные ресурсы. Иначе говоря, создать такую среду, в которой определенные природные процессы благоприятствовали бы восстановлению этих ресурсов. Для каждой конкретной

отрасли хозяйства продолжительность безубыточной стадии оценивается отдельно. Так же надо подходить и к использованию океанических богатств.

Критический предел рыбного промысла хорошо известен. Наибольшая величина ежегодного вылова рыбы и морских млекопитающих составляет 80—100 миллионов тонн — это и есть размеры естественного прироста биологической продукции океана. Сегодня мировая добыча достигла 69 миллионов тонн, причем отдельные виды рыбы, например, сельдь, треска, камбала, пикша, морской окунь, подвергаются постоянному перелову. Так мы подходим к началу следующей, убыточной стадии промысла, когда без дополнительных вложений происходит разбазаривание основных фондов. Применительно, скажем, к металлообрабатывающей промышленности это означало бы продажу токарных станков, работающих в цехе, вместо изделий, которые на них изготавливаются.

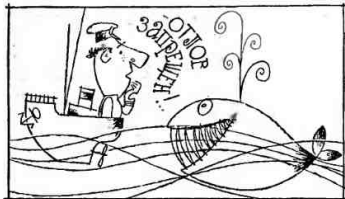
## ВСПАХАТЬ МОРЕ!

**С** давних пор человек занимается рыболовством. Развившись в индустрию, рыбный промысел дает ныне 70 процентов всех доходов от морей и океанов. По прогнозам, эта отрасль сохранит свое лидерство до 2000 года. На этой стадии доход от ее продукции будет составлять 70 миллиардов рублей. Второе место займет морская нефтедобывающая промышленность, которая будет давать 40 миллиардов рублей дохода, и третье — судостроение — 25—30 миллиардов рублей.

Морские экономисты подвергают эти прогнозы критике. Дело не только в том, что в таких расчетах немало противоречий, а величины, указываемые отдельными учеными и институтами, подчас сильно разнятся. (Например, у специалистов нет единого мнения относительно того, насколько можно еще увеличить мировой улов рыбы; одни считают, что не более чем на 1 процент, другие — до 75 процентов.) Главная беда в том, что уже составленные прогнозы исходят лишь из современных темпов развития тех или иных отраслей океанического промысла, рассматривают их отдельно и, по существу, ориентируются на неисчерпаемость океанских ресурсов. А ведь на убыточной стадии океан уже не способен самостоятельно восстанавливать свой биологический потенциал.

Очевидно, даже продуманная система охранительных мероприятий не поможет делу. За последние тридцать лет дипломаты не раз обсуждали вопрос о запрещении рыболовства в отдельных районах, подорванных массовым промыслом многих стран. Не так давно международным договором резко ограничен промысел китов, полностью запрещено вылавливать отдельные породы рыб. Биологи уверены, что подобные мероприятия помогут сохранить исчезающие виды и дождаться того времени, когда их можно будет снова считать промысловыми. Но с точки зрения экономиста это лишь вынужденный ход, равносильный, скажем, остановке завода или консервации деловой отрасли промышленности. Приостановить рыбный промысел мы, по существу, не имеем права, ибо демографические прогнозы свидетельствуют, что к 2000 году население земного шара возрастет настолько, что океан к этому времени должен будет давать в полтора раза больше продукции, нежели мы ее получаем сейчас. Подняться на такой уровень невозможно без развития аквакультуры — морского хозяйства.





Аквакультуру можно развивать по-разному. Скажем, создавать рыбобитомники, где в оранжерейных условиях выращивали бы мальков и выпускали их в океан. Или удобрять отдельные акватории минеральными веществами.

Какому же из вариантов, исходящих из разных областей — биологии, химии, энергетике, — отдать предпочтение? Решать должен экономист.

Должен... Но пока не рпеает, ибо еще не выработаны единые научные критерии экономического подхода к океану. Наука лишь напугивает длинный конец того рычага, который способен перевернуть мир. Но сама тоска по рычагу — явление симптоматичное. История науки подсказывает, что в таких ситуациях, когда накопился высокий потенциал знаний, нужно ждать больших сдвигов: пора фактособираательства кончилась.

Критерием для экономистов должна стать стоимость природных ресурсов в естественном состоянии и затраты на их воспроизводство. Но здесь-то и начинаются главные трудности.

## СКОЛЬКО СТОИТ ГЕКТАР МОРЯ!

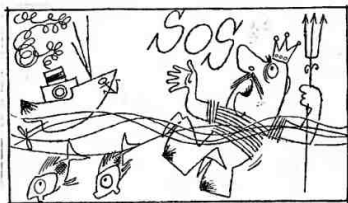
**И**менно экономисту дано определить тот неуловимый, быть может, для других специалистов момент, когда заканчивается благополучная стадия и начинается та, на которой благосостояние общества зависит от его научной мудрости. И экономист делает это, исходя из прогнозов, разрабатываемых естественными науками — физикой, химией, геологией моря.

Сейчас едва ли не в каждой статье, посвященной освоению океана, намечаются перспективные добычи металлов из морской воды. Приводятся ошеломляющие цифры, характеризующие океан как источник металлургического сырья: подсчитано, что золота в морской воде растворено до 8 миллионов тонн, никеля — 80 миллионов тонн, серебра — 164 миллиона тонн, молибдена — 800 миллионов тонн, йода — 80 миллиардов тонн. Сами по себе величины заманчивые; однако неясно, насколько рентабельной окажется «перешлапка» морской воды. Обычный экономист произведет нужные расчеты, сопоставив издержки производства и стоимость полученной продукции, даст рекомендацию — быть или не быть — и на этом свою функцию закончит. Совсем иначе подходит к вопросу экономист-океанолог. Для него океан — это прежде всего среда обитания, которую характеризуют долгие и многоступенчатые циклы взаимодействия. Изымая из морской воды соли металлов, мы лишаем животных и растительный мир микроэлементов, без которых невозможно его существование. Известна поразительная жадность некоторых организмов к ванадию — он выполняет у них ту жизненную роль, которую у других животных

играет железо. Извлекая ванадий из воды — значит обрекать эти организмы на вымирание; факт прискорбный, и не только из соображений природолюбия. Разрушается пищевая цепь, и всаед за этими организмами гибнут и те, которые ими питаются. Изменяется качество среды, а это трагедия уже на уровне человечества.

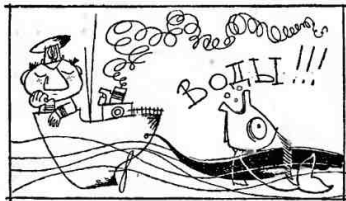
Все опутанные воздействия на океан могут привести к последствиям, которые трудно предсказать. Нефтяная пленка, затрудняющая обмен океана с атмосферой, изменяет газовый состав морской воды. Если крупные организмы реагируют на это не сразу, то на бактериальном уровне, где смена поколений стремительна, ответ приходит немедленно. Следует иметь в виду и то, что микроорганизмы включены не только в пищевую, но и в химическую цепь. Начинаясь с недостаточного пока научному контролю процесс необратимых изменений, и лишь балансовая ведомость рыбпромыслового предприятия, а может быть, и того же будущего химико-металлургического завода по добыче металлов из воды, отметит неожиданное снижение уловов, производительности.

Сколько стоит гектар моря? На суше цена земли определяется возможностью выращивать на ней полезные растения, строить жилье и промышленные сооружения, эксплуатировать недра. Поэтому, помимо абсолютной оценки, она имеет и относительную цену. Гектар земли в Азербайджане заведомо дороже гектара под Архангельском, ибо на первом произрастают цитрусовые, а на втором — не более чем брусника. На цену влияет различие в качестве земли. Океан тоже поддается районированию по биологической продуктивности и физико-химическим показателям, однако из такого сопоставления можно делать лишь ориентировочные оценки в пределах самого океана. Мы не можем определить цену морских ресурсов на корню, как это делают применительно к суше, но вот что интересно: не имея представления о том, во сколько оценить ускользающие от измерения богатства моря, мы тем не менее можем вполне определенно подсчитать наносимый ему ущерб, иначе говоря, проследить изменения среды под действием тех или иных факторов. Скажем, за-



вод, постоянно сплавляющий стоки в замкнутый водоём, наносит ему ущерб, который можно вычислить по снижению уловов рыбы, несмотря на то, что для нас этот сток сам по себе может быть и безвреден. Влияние стока сказывается через длинную пищевую цепь, начиная с изменения микроэлементного состава воды, которое отражается на микробном населении, затем на фито- и зоопланктоне и так далее. Экономист вычисляет в рублях затраты, необходимые для того, чтобы восстановить первоначальное качество среды.

Вот за этот показатель и ухватились одесские ученые: ведь он может стать и критерием для оценки самой стоимости ресурсов.



Для океана это понятие приобретает особое значение: здесь больше, чем на суше, оправдан и необходим экономико-экологический подход. С этой точки зрения все природные ресурсы делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые, причем первая группа, в свою очередь, подразделяется на возобновимые и невозобновимые. Нефть, добываемая со дна океана, — ресурс исчерпаемый и невозобновимый; рыба — исчерпаемый (как стало ясно на исходе безубыточной стадии) и возобновимый (пока еще не ясно, каким именно образом); энергия океанских течений, приливов и прибой — неисчерпаемый.

Как ни странно, с исчерпаемыми ресурсами дело обстоит проще. Нефть будет добываться, пока она есть; тем не менее и эта отрасль, особенно морская нефтедобыча, уже перешагнула рубеж безубыточности: сам процесс подъема нефти с морского дна и ее транспортировка влияют на среду.

Гораздо сложнее с возобновимыми, скажем, биологическими ресурсами. Здесь ошибка, особенно в сторону занижения, угрожает экологической драмой: эконом на охране природы, мы превращаем возобновимые богатства в невозобновимые. Нынешние кризисные явления в морском промысле — это результат экономических просчетов в недавнем прошлом.

К сожалению, ученые пока не могут предложить методы обоснованной оценки стоимости природных ресурсов океана. Эта задача под силу лишь большому коллективу океанологов, биологов, геофизиков, экономистов. Но уже теперь можно сказать, что описанные выше принципы могут лечь в основу разработки такой методологии.

Даже людям, далеким от строгости бухгалтерских балансов, уже ясно, что океан, как и поле, требует капиталовложений. Определять их размеры количественно — это, разумеется, лишь часть дела. Вложить средства можно по-разному, и каждый из вариантов будет иметь различную степень рентабельности; более того, в отдаленной перспективе затраты могут привести и к потерям. Так может обернуться, например, добыча металлов из морской воды, если будет превышена допустимая норма изъятия микроэлементов, прямо влияющая на биологическую продуктивность морей. Или еще один пример, кстати, тоже из Одессы: недавно под дном Черного моря были разведаны запасы нефти. Но вопрос об их разработке оказался сложнее, чем думалось: ведь едва ли не все побережье этого бассейна опоясано ожерельем курортов, представляющих собой главную здравницу страны; к тому же неизбежное загрязнение замкнутого моря вредно скажется на флоре и фауне. Остается выбирать меньшее из зол, и не исключено, что экономический подсчет покажет: лучше отказаться от разработки нефтегазовых месторождений, несмотря на то, что с узкой точки зрения промысловков они, безусловно, перспективны.

До сих пор к использованию природных ресурсов подходили просто: если это рентабельно, их надо

добывать. Интересы будущего человеческой цивилизации требуют отказаться от такого чисто утилитарного подхода. Планируя создание новых промышленных центров, шахт, карьеров, скважин, спедианств должны учитывать экологические факторы, чтобы промышленные объекты не нарушали равновесия в природе и как можно меньше загрязняли среду обитания.

Исходя из всех этих соображений, морские экономисты и сформулировали принцип комплексности. Этот подход не нов в экономике, но применительно к океану и морям имеет свои особенности. Он предполагает экономически обоснованное размещение не только чисто морских, но и континентальных отраслей с необходимыми капиталовложениями на охрану и воспроизводство морских ресурсов. В глобальном масштабе этот принцип поставлен пока лишь теоретически; что же касается замкнутых морей, которые могут служить своеобразной моделью Мирового океана, то здесь наука уже способна дать конкретные рекомендации.

## ЕСТЬ ПРОЕКТЫ...

**В** последнее время много пишут о проблеме регулирования речного стока, в результате чего в моря поступает все меньше пресной воды. Соленость морей растет, а содержание биогенных веществ, приносимых реками, падает. Морская жизнь обедняется, постепенно исчезают традиционные объекты лова. Особенно остро эта проблема стоит в отношении Азовского бассейна. На позапрошлом году совещании по комплексному использованию Азовья были подведены итоги двадцатилетних исследований. Цифры оказались тревожащими: приток речной воды уменьшился на 8 кубических километров, соленость азовских вод возросла на полтора грамма на литр. Казалось бы, не так уж много, — а биологическая продуктивность бассейна снизилась в 4–5 раз. Основная часть речной воды используется на орошение полей, но лишь 10 процентов ее получают растения, остальное теряется в мелкоразливных системах.

На первый взгляд между мелиорацией и морским промыслом рыбы нет прямой связи; если же подойти к делу с позиций комплексности, то ясно, что сети азовских рыбаков станут полнее, если усовершенствовать оросительные каналы, скажем, в Доубассе. Их можно забетонировать и выложить дно полимерной пленкой, — тогда потери воды сведутся к минимуму. Но в любом случае, как считают в Одесском отделении Института экономики АН УССР, нельзя черпать из рек более 50 процентов от среднего уровня их стока.

Это, естественно, не исключает создания морских гидротехнических устройств, которые предотвратили бы засоление Азовского моря. Проекты таких устройств уже созданы. Непосвященного они поражают своей грандиозностью, кардинальным вмешательством в большие природные комплексы. Например, предлагается пересобрать в Азовское море воды Дуная. Однако этот проект наталкивается на трудности, в том числе и международно-правового порядка.

В последние годы широко обсуждается схема, предложенная институтом «Гидропроект»; она уже одобрена Госпланом СССР. Основной схемой является сооружение в Керченском проливе плотины и судочного шлюза: плотина полностью отделит Азовское море от Черного, из которого туда поступает более соленая вода. Для рыбы, идущей через пролив

на азовские нерестилища, будут оставлены открытыми, здесь же ее собираются дозировать отлавливать, для чего даже не понадобится иметь рыболовные флоты.

Пересечь пуповину между двумя морями, представляющую единую систему,— это, наверное, тоже грандиозно. Но учтены ли в этом проекте все отдаленные последствия? Вот здесь-то полезно поразмыслить. Плодом таких размышлений одесских экономистов явились замечания к проекту, которыми, по-видимому, трудно пренебречь. Прежде всего шлюзование существенно нарушит основной принцип судоходства — бесперывное движение (вот расчеты: сейчас ежедневно через пролив проходит 10 судов, а вскоре их станет чуть ли не вдвое больше; ежегодный убыток от простоя судов на шлюзах составит около 14 миллионов рублей).

Как ни странно, еще теснее, чем большим судам, будет рыбе. Рыбоходы и рыбоподъемники на крупнейших гидротехнических комплексах в СССР и за рубежом себя не оправдывают: морская рыба просто не идет в искусственные отверстия в теле плотины. А между тем рыба ходит из моря в море, отыскивая теплые шельфы не ради прогулки, а ее цель — нерест и откорм («любовь и голод...»). Шлюзованная же дамба, которая предельно ограничит водообмен между морями, скажется на экологической системе Керченского пролива и восточной шельфовой (самой промысловой) части Черного моря. Сюда перестанет поступать опресненная азовская вода, богатая органическими веществами. По этой же причине соленость в прилегающих к проливу черноморских водах увеличится на 2—3 процента; со временем этот процесс распространится на акваторию, равную по площади Азовскому морю, ради опреснения которого, собственно, и ломаются копыя. К тому же, построив глухую дамбу, мы можем чересчур преуспеть в опреснении, и воды Азовья зацветут, как цветут сейчас водохранилища на реках. До сих пор этот процесс ослаблялся поступлением соленой черноморской воды.

Для компенсации возможных нарушений могут понадобиться немалые затраты.

Что же предлагается взамен? Не строить глухую дамбу, а лишь сузить Керченский пролив с 4 километров до 500 метров. На первый взгляд это кажется полумерой, такой нерешительной сдержанностью. Но дело в том, что моря представляют собой сложную систему, и крупномасштабные воздействия, которые предполагают предыдущими проектами, чреваты непредвиденными и необратимыми нарушениями природных балансов. Кредо экономистов-экологов — минимальное, осторожное вмешательство в жизнь биосферы. Видимо, это ближе к мудрости, чем безоглядная решительность. Стесненный водообмен — так именуется основная идея, положенная в основу одесских предложений, и на нее выдано пионерское авторское свидетельство.

Технические аспекты этой идеи разработали сотрудники ВНИИ транспортного строительства и Одесского инженерно-строительного института. Представьте себе дамбу, в теле которой оставлен полукilометровый проход: над дамбой пролегал эстакада, верхний пояс которой образует транспортную артерию. Через 500-метровый фарватер — это, по существу, большой рыбоход и «судоход» — переброшен мост, по которому осуществляется двухпутное железнодорожное и четырехрядное автомобильное движение. Крым и Кавказ соединены; Черное и Азовское моря не изолированы. Ни судоходство, ни миграция рыб не претерпевают при этом существенных изменений. Что же касается водообмена, то пропускающая способность отверстия рассчитана на

ту максимальную величину безвозвратного отъема речного стока, которую мы уже упоминали, — 50 процентов. Предусматривается и строительство очистных сооружений, перерабатывающих промышленные стоки.

Таким образом, проект решает проблему Азовского моря комплексно, учитывая перспективу промышленного развития всего Южного экономического района.

Эту экономико-экологическую проблему разрабатывают специалисты, пришедшие из других областей знания. С одной стороны, это естественно. На современном этапе изучения морей и океанов положение, когда каждый занимается «своим делом», ограничиваясь узкими рамками специальности, уже не удовлетворяет потребностей науки. Океан — весьма специфическая среда, и понять взаимосвязанность процессов, в нем протекающих, можно лишь при комплексном, многогранном его изучении. И если до сих пор проблемы океана исследовали отдельно физики, геологи, океанологи, химики, биологи, то сейчас такой узкоспециальный подход тормозит его изучение.

Новая наука — экологическая экономика, или, если угодно, экономическая экология — уже родилась, а специалистов такого профиля пока нет. Как их заполучить? Можно затеять заведомо долгую перени-



ску с вузами и Министерством высшего и среднего специального образования о том, что необходимо открыть новые факультеты.

Более скорым кажется другое: привлечь к этим вопросам внимание молодежи — и той, которая еще учится, и недавних выпускников смежных профессий. Наверное, их заинтересует, что есть такая новая область знаний, в которой существует живительный вакуум. И столь же живительная возможность ответить на запрос времени, — соединить эрудицию природоведа с социальной дальновидностью экономиста. Это задача столь же трудная, сколь и благодарная. Здесь есть что ломать: и грани между науками и некоторые пренебрежения к прозе рубля.

А почему, собственно, к прозе? Неужели в счете и учете не найдется места для поэзии?

Об экономике говорят, что эта наука не для молодых, что она требует продолжительного стажирования, большого жизненного опыта. Утверждают даже, что блестящие импровизации в экономике, как правило, бесплодны и что поэтому многие не успевают почувствовать красоту научного поиска. Что ж, пусть говорят. Может быть, в этой предвзятости мнения молодой человек найдет еще один стимул. Может, в нем заговорит такая азартная соревновательность: а дай-ка я докажу, что это не так!



## ГОВОРите, ПОЖАЛУЙСТА!

Фото А. КАРЗАНОВА.



**Е**ще недавно, набирая 08, я не испытывала каких-либо особых эмоций. Теперь, слыша стремительный ответ телефонистки, я каждый раз вспоминаю своих новых знакомых и ясно вижу все, что происходит на другом конце провода: большой зал, длинные ряды телефонисток с микрофонами и наушниками.

Вот одна из них принимает сигнал, поворачивает ключ и записывает мой заказ на специальной карточке. В следующее мгновение эта карточка по пневмопочте спускается на этаж ниже. Легкий щелчок — и карточка, вылетая из отверстия, оказывается на рабочем месте той телефонистки, которой предстоит связать двух людей, разделенных большим расстоянием. За таким-то пультом на Центральной имени 50-летия ВЛКСМ междугородной телефонной станции Москвы и работает лучшая телефонистка страны Татьяна Махина — победительница первого Всесоюзного конкурса молодых телеграфистов, телефонистов и почтовых работников.

Во время работы отвлекать Таню — значит, оставить без телефонной связи два города: Москву и Орджоникидзе. С любезного разрешения бригадира и заместителя начальника станции я беру наушник и тихо усаживаюсь сзади

Тани. Она, как и все ее коллеги, сидит на высоком стуле перед цитом с десятками маленьких круглых отверстий — гнездами соединительных линий. Щелчок — и на ее рабочем месте появляется карточка с заказом: на нем номера телефонов в Москве и Орджоникидзе. Таня набирает на диске нужный номер сначала в Москве. В наушнике сухой короткий звук — это включается штекер в гнездо, затем поворот ключа на столе.

Движения девушки стремительны, легки и спокойны, в них легко уловим определенный ритм.

— Алло, ваш номер...? Орджоникидзе заказывали? Сейчас будете говорить. Говорите, пожалуйста.

И снова: диск — штекер — ключ, щелчок в наушнике...

— Алло, Орджоникидзе? Мансовый комбинат? Вас вызывает Москва. Говорите, пожалуйста.

А из отверстия пневмопочты, как из рога изобилия, вылетают и вылетают карточки с заказами. И снова: диск — штекер — ключ...

— Ваш номер...? Вас Орджоникидзе вызывает. Говорите, пожалуйста.

Я вижу руки Тани и ее прямую спину. Она сидит не напряженно, нет, но удивительно сосредоточенно, не оглянется, не пошевелится, только руки в непрерывном движении.

Разговаривать с Таней очень приятно, она застенчива, но отвечает на вопросы охотно и просто-душно.

— Мне 26 лет, на этой станции я работаю 10 лет. Ой, правда, в августе могу юбилей справлять. Пришла я сюда сразу после ПТУ. — А как вы стали телефонисткой?

— Моя подруга работала здесь и много мне рассказывала. Я тогда все тряслась, что меня не возьмут, не поправлюсь.

— Ну, теперь-то знаете, что нравиться?

— Даже смешно: столько лет работала тихо, знала меня только в бригаде, а теперь все здороваются.

Таня совсем по-детски рассмеялась. Трудно представить, что у нее уже двое детей: пятилетний Игорь и трехлетняя Оля.

— Вы, как и все, работаете в четыре смены?

— Да, с детьми мне мама помогает. Я могла бы и в две смены работать, но так удобнее: после ночи почти двое суток свободна. Да и в ночь работа очень спокойная, служебных разговоров не бывает, говорят родственники да влюбленные.

— Таня, а вы по-разному относитесь к абонентам?

— Нет. Я всех люблю, со всеми говорю спокойно. Конечно, приятно, когда с тобой вежливо

и не раздражены. Я вот хотела бы всем объяснить: иногда люди будто не верят в нашу добросовестность. Если мы не даем разговор, некоторые кричат: не может быть, чтобы не отвечал номер! И это обидно: ведь каждому помочь хочется, даже расстраиваешься, если номер не отвечает. Да и потом у нас работа сделанная: все учитывается — и использование каналов и количество разговоров.

— И зарабатываете вы достаточно?

— А у нас опытные телефонистки до двухсот рублей в месяц получают.

— Труден ли был конкурс?

— Да. Каждая участница была не старше 28 лет, со стажем работы не меньше 5 лет. В финале участвовало 30 телефонисток. Все сильные работницы: из

Благовещенска, с Украины.. Соревновались три дня. Нас записывали на магнитофонную ленту, потом жюри нас прослушивало. Это было на всех этапах конкурса, иногда нас записывали с помощью закрытого контроля, так что мы об этом и не знали. Во время конкурса учитывалась и скорость в работе, и использование каналов связи, и количество разговоров, и культура обслуживания. В последние дни мне пришлось работать с незнакомой прежде аппаратурой. Во время теоретической части конкурса нам задавали вопросы, связанные не только с правилами нашей работы, но самые разные. Чаще всего нас спрашивали о городах, которые мы обслуживаем.

— А вы были в Орданкиндзе?

— Нет еще. Жаль, конечно.

Когда я работала на сухумском направлении, то девушки-телефонистки меня пригласили в гости. Очень интересная была поездка, море посмотрела.

— Скажите, Тая, вы не пытались сосчитать, сколько вам приходится, ну, допустим, за час рабочего времени делать движений?

— Ой, что вы, это невозможно: очень много. Но я так привыкла, кажется, что и не устаю, и потом, вот честное слово, мне кажется, что нет ничего интереснее нашей работы: слышишь разные голоса, представляешь себе людей, часто помочь им можешь. И потом, не знаю, как это сказать, приятно ловкость, что ли, свою чувствовать.

Г. ВЕШКИНА

## МАСКИ ВЛАДИМИРА ВЕЙДЕ



**В** Нижнетагильском драматическом театре, где я заведу литературной частью, работает молодой актер Владимир Вейде. Его очень любят дети, которым особенно нравится его Иванушка в «Сказке о Василисе Прекрасной». Но Володя известен в нашем городе и своими масками, которые уже шесть лет он вырезает из дерева.

Образ ему часто подсказывает само дерево: так, пористая, размытая дождями основная кора естественно превратилась в усы и бороду «Мудреца», а кольца дерева — в морщины его лица. Для большей выразительности Володя привлекает и дополнительный материал, например, волосы своего «Рыжего хана» он сделал из медной проволоки, а ханский головной убор — из пробки. Сделаны из пробки и глаза «Лешки» — смешного старикашки, который, кажется, только что выглянул из дупла.

Мне очень нравится этот «Лешка». А вам?

Л. ПЕСЕЦКАЯ



**Тереза  
Дурова:  
«Слониха Лайма  
очень  
грациозна»**

Фото Л. НИСНЕВИЧА.

**О**ни обе Терезы. Тереза Дурова, заслуженная артистка РСФСР, внучка основателя цирковой династии знаменитого Анатолия Леонидовича Дурова, вот уже почти тридцать лет выводящая «дуровских зверей» на арену,— Тереза-мама. И Тереза Дурова, пока без титулов, правнучка Анатолия Леонидовича,— Тереза-дочь, чей дебют состоялся недавно на ленинградском манеже.

Семь лет назад тринадцатого декабря тринадцатилетняя Тереза вышла в освещенный огнями тринадцатиметровый круг сочинского манежа. (Эта цифра — вопреки вечным суевериям! — считается счастливой в семье. Почему? «Бог его знает! — пожимает плечами Тереза-мама.— Наверно, потому, что самые счастливые события у нас происходили именно по тринадцатым числам... Совпадение, случайность? А если нет? Тринадцать — цирковое число. Диаметр арены — всегда тринадцать метров... А вообще-то у нас даже номер квартиры — тринадцать!»)

Семь лет подряд маленькая Тереза (ей уже двадцать, но ее по-прежнему называют Терезой-маленькой...) выходила на манеж вместе с отцом и Терезой-мамой. В минувшем году отец Терезы — Гавриил Наджаров — скоропостижно скончался. Это произошло перед началом ленинградских гастролей...

**ТЕРЕЗА-МАМА:** «Сразу после смерти мужа меня положили в больницу: инфаркт. А гастроли надо начинать. И Тэтка (так она зовет дочь.— Б. З.) вышла в номер одна. И репетировала одна. И одна вытянула аттракцион, да еще как вытянула!»

Отец был для нее целым миром. Веселый, остроумный, неистощимый выдумщик, природенный дрессировщик... Она сидела на его репетициях, стараясь не пропустить ни слова, ни движения.

**ТЕРЕЗА-ДОЧЬ:** «Дрессировщиком надо родиться. Конечно, талантливым... Отец был Мастером. Он все чувствовал: как нужно идти, как повернуть корпус, когда зафиксировать трюк. Я потом пробовала работать по-своему, скажем, чуть-чуть в другом темпе,— звери меньше слушаются. Вспоминала, как делал отец,— и все получалось».

Тереза по-прежнему выходит ежевечерне на манеж, и слоненок Монри — главный «герой» ее номера — кланяется зрителям, опускается на колени, садится на барьер, делает стойку на передней лапе. По-прежнему так. И все же именно ленинградские гастроли Дуровых следует считать настоящим дебютом Терезы-маленькой: здесь она приняла дело отца — всю репетиционную работу, всю дрессуру.

В аттракционе Дуровых два слона. Монри — постарше, а Лайма — совсем юная слониха. Пока она только выносит на арену корзину с сахаром, весело перебирает ногами-гумбами, бежит за кулисы с трогательной «словесной грацией».

**ТЕРЕЗА-ДОЧЬ:** «Зря смеетесь: Лайма очень грациозна. Мы сейчас репетируем с ней старинное танго. У нее будет галстук-бабочка, а на лапах — белые крахмальные манжеты с запонками. Она станет моим кавалером в танце. Вы знаете, я долго не могла подобрать для Лаймы мелодию танго. Смотрю, как она двигается, считаю: ага, вот это должно подойти. Ставлю пластинку — Лайма в такт не попадает. Я уже отчаялась: то пробую, это пробую — никак! Наконец нашла старое танго «Брызги шампанского», поставила, и... Лайма пошла. Легко, грациозно».

И все-таки «грациозна» — слишком громкое слово. Лайма действительно чувствует ритм музыки, неторопливо кружится по красному ковру арены, но Тереза неравнодушна к слонам и, мне кажется, превеличивает танцевальные способности Лаймы.

**ТЕРЕЗА-ДОЧЬ:** «Слоны — мои самые любимые животные. Кажется, если бы Лайма была маленькой-маленькой, ну, как наши собаки, я бы ее на руках носила. Вы ей в глаза посмотрите. В них все: и ум, и хитришка какая-то, и улыбка. Да-да, улыбка: я знаю, когда Моври или Лайма улыбаются...»

Она знает и другое — главную заповедь дрессировщика: уметь опередить желание животного...

**ТЕРЕЗА-МАМА:** «У нас была в практике смешной случай, когда мы оказались на поводу у животного. Слоны очень редко ложатся. А на репетиции нагрузка огромная, ноги у них устают, и мы с мужем всегда радовались, если наша слониха неожиданно дождалась отдохнуть. Как-то перед репетицией заходим в конюшню, а она лежит. Муж говорит: «Пусть отдыхает. Перенесем репетицию». Через несколько дней — та же история. Опять переносим репетицию: жалко животное. А она почувствовала нашу жалость — и только надо начинать репетицию, а она уже ложится, глаза закрывает: мол, не трогайте меня, я так редко отдыхаю. Еле отучалась...»

**ТЕРЕЗА-ДОЧЬ:** «Слоны — необычайно ласковые животные. И любят ласку. И реагируют на нее. Я не понимаю дрессуру с палкой, хотя многие дрессировщики считают, что бить действительно, чем угораздит. И бьют. И номера у них неплохие, эффективные. Но когда я знаю, чем достигнут этот эффект, мне уже такой номер смотреть не хочется. Иной раз выйдешь из себя, шлепнешь зверя, а потом жалеешь: зачем? Они очень тонко чувствуют, какой человек перед ними: добрый или злой. Они вообще настроены дрессировщика прекрасно чувствуют. Выглядят на манекс вильям — работать будут чертэ как. Хорошее у тебя настроение — прекрасно работают...»

У Терезы-маленькой всегда хорошее настроение. Она вылетает на арену с коротким шамбриером-хлыстиком в руках, на высокой пирочке чуть держится серебряный «дуровский» колпачок, и улыбка, улыбка, не деланная — для публики, а искренняя — от радости, от внутреннего веселья. Носится по манежу, и легкая бархатная накладка развевается за спиной, и объективу фотоаппарата очень трудно хоть на секунду поймать ее спокойной.

**ТЕРЕЗА-МАМА:** «У Тэтти есть ужасный недостаток: она совершенно не фиксирует трюки. Замерт не мгновение и — опять пошла...»

Только недостаток ли это? Ее характер сильнее вечных цирковых традиций: сделала трюк, раскланялась — вправо, влево, амфитеатру, балкону. Цирковые артисты часто «не видят» публику: не отвлекаются от номера, и чапа амфитеатра представляется им этаким экранчиком kaleidoskopa со множеством расплывчатых цветных стеклышек. Тереза видит каждого человека, замечает про себя: ах, какая симпатичная девочка сидит в третьем ряду, и этот юноша — во втором, и та пара — муж с женой? — тоже во втором. И ей бы работать «на них», но — нет: не успеваешь, несет ее какой-то веселый бес по ковру. Раскованна она и рискованна.

**ТЕРЕЗА-ДОЧЬ:** «Риск? Ну, какой там риск... Минимальный. Если животное испугается чего-нибудь, пархнет в сторону, ударит, но — нечаянно. Так бывает, конечно, но мне пока везло...»

Она суверенно стучит по дереву: пусть и дальше везет. А было: пони наступил на ногу, разбил кость — так это пустяки, ну, больно немножко, стерпела, довела номер до конца. И улыбалась и так же летела по манежу и только за кулисами оперлась на большую ногу, охнула: мамочки, какая боль!

**ТЕРЕЗА-ДОЧЬ:** «Это у меня от мамы: не замечать боли, когда ты на арене, — идет номер, и публика

ждет новых трюков, и ей вовсе не хочется, чтобы дрессировщика уносили на руках. У мамы был, например, такой трюк: она лежала на ковре, а слониха — тогда еще у нас Катрин жила — перешагивала через нее. Страшно сложный номер, потому что слоны вообще не умеют переходить через препятствия, они его просто сносят. Вот тут был риск: Катрин — олить-таки нечаянно! — могла промахнуться, оступиться. И однажды она пронесла заднюю ногу, задев мамин костюм. Даже папа — он же рядом был — ничего не заметил, а я и подавно, а потом мама пришла за кулисы, сказала сквозь зубы: «Больно...» — и за живот. А у нее там все содрвано было...»

Сейчас они смеются, вспоминают наперебой мамин «несчастья»: и как ей верблюду ногу расшиб, и она не смогла сама уйти с арены; и как заяц-барabanчик ударил ее задними лапами в солнечное сплетение, послал в глубокий кокаут; и как слома ла она руку перед выходом на манеж, и выступала со сломанной рукой, а у служебного входа ждала «Скорая помощь». А потом Тереза-маленькая становится серьезной и говорит, что ей очень хочется повторить мамин трюк: когда слон перешагивает через дрессировщика.

**ТЕРЕЗА-МАМА:** «Честно говоря, я бы не хотела, чтобы дочь ренетривала этот трюк: опасно все-таки. Но это же Тереза — ее не переубедишь. Упрямый характер, в отца...»

Еще девочкой Тереза перепробовала все жанры циркового искусства: и с жонглерами работала, и с партнерными акробатами, и на батуте. Мечтала взлететь над сеткой, поймать сильные руки ловителя, встать с ним рядом на тесной площадке над ареной. Но об этом только мечтала: боялась высоты.

**ТЕРЕЗА-ДОЧЬ:** «Это просто стыд какой-то — страх высоты. Все воздушники надо мной смеялись: трусишка! И тогда я на спор залезла под купол шанито по металлической опоре. Залезла-то быстро — занялась, — а слезала, наверно, час. Зато потом от страха даже следа не осталось...»

«Упрямый характер», — так сказала Тереза-мама. Пожалуй, нет: упорный характер. И, конечно же, она повторит трюк мамы и придумает новые, может быть, даже еще сложней...

**ТЕРЕЗА-МАМА:** «И повторит и придумает — если будет звери».

Вот вам проблема, о которой не знает зритель, идущий в цирк «на Дуровых», — Дуровым не хватает зверей. Не хватает слонов, обезьян, пони, даже собак. Заявка на новых зверей пишется в Союзосцирке уже несколько лет, а две Терезы выходят на манеж с полуослепшим верблюдом, с пони, который дебютировала в номере вместе с Терезой-старшей еще в 1947 году, с зеброй, которую мучает вполне человеческая болезнь — астма. «Дайте зверей!» — просит Тереза Васильевна. «Вы у нас не один...» — отвечает ей.

Не один? Что ж, это верно: появилось немало дрессировщиков — и тоже талантливых. Но Дуровы — это начало русского цирка. Это — марка советского цирка. Это — его традиции и его гордость!

**ТЕРЕЗА-МАМА:** «Жонглер в конце концов купит себе реквизит в посудном магазине. Эквилибрист приспособит в номер подручный материал: стол или стулья. А что делать дрессировщику без зверей? На Птичьем рынке в Москве не купишь слова или верблюда...»

Хочется верить, что звери будут. Тогда — как принято писать в газетных передовых — старики «уйдут на заслуженный отдых», а две Терезы введут в номер юных животных.

Беседу вел Борис ЗЕРНОВ



А. БОЙКО

# ДЕНЬ В КЯАРИКУ РАВЕН НЕДЕЛЕ...



**В**первые я приехал в Кяарику в 1967 году. Вышел во тьму. Мела поземка. На горе раскачивался одинокий фонарь. Послышался голоса. В неровном свете фонаря мелькнула голая фигура. Что за наваждение? Протер очки. Только ветер мел снег. Может, у меня жар? Уезжая из дома, я чувствовал лому.

Двинулся дальше. Тропинка. Дым, ползущий по темной крыше. И не один — пятеро голых парней промчались мимо, и пар окутывал их здоровенные плечи. Ух, отлегло! Я слышал, как они булькнулись в невидимую воду.

А через минуту меня обнаружили и, как я ни отнекивался, втолкнули в парилку. Я отошел. Размяк. На правах почетного гостя был выведен под руки и усажив у камна. Перед носом — кружка сока и жареные сардельки прямо с огня. Хорош!

Финская баня да еще несколько деревянных домиков. Общезитие на двести человек, где койки друг над другом словно в корабельной каюте. Большой зал, где танцуют. Спортивный манеж. Стадион. Озеро. Все это Кяарику — спортивная база Тартуского государственного университета, построенная руками студентов.

---

На снимке: герои Мюнхенской олимпиады — десятиборцы Николай Авилов (слева) и Леонид Литвиненко.

Фото Р. МАКСИМОВА.

Фред Оттович Куду — заслуженный тренер СССР, доцент. Поскольку он светлый штег, его седина незаметна. Всегда ослепительно элегантен. До войны — известный легкоатлет, во время войны — разведчик в Эстонском корпусе, потом — декан факультета физвоспитания Тартуского университета. Говорит на шести языках, но больше старается слушать. В недавнем прошлом — чемпион Эстонии по бальным танцам. Несмотря на строгость в одежде, шапку или шляпу носит набекрень, словно хочет сказать: «Да не пугаетесь, не такой уж я чопорный». Куду — это Кяарику, а Кяарику — Куду.

Долгие годы вся легкая атлетика укладывалась для меня в окружность беговой дорожки. Бег от восьмисот метров и до десяти километров — больше старался ничего не замечать. Крепко засела в памяти та непосильная самоотдача на тренировках, которую кроме тебя самого никто не оценит. И лишь работая старшим тренером сборной молодежной команды страны по легкой атлетике, я впервые стал заматриваться на десятиборцев.

А теперь я окопчательно понял, что основа легкой атлетики — десятиборье. И склоняюсь публично перед Куду и перед его Кяарику.

Что такое десятиборье, или по-гречески декатлон? Бег на 100 метров — это начальный тон, заданный на два дня.

Прыжок в длину — продолжение спринта, как бы отзыв угасающей скорости.

Толкание ядра. Здесь можно настичуть тех быстрых и прыгучих, которые успели вырваться вперед.



Прыжок в высоту — вид, не требующий комментариев. После всего, что прошло, особого желания лететь вверх нет.

Бег на 400 метров — последнее испытание первого дня.

Затем наступает ночь. Этому предшествует детальное сопоставление шансов — шуршат страницы таблиц. Утром все тело болит.

Бег на 110 метров с барьерами — испытание в скорости, ловкости и координации движения. Тот самый порог, после которого многих можно недооценивать.

Метание диска — ограниченный круг, ограниченный вес снаряда, ограниченное поле для броска. И в этих случаях надо показать все, на что ты способен.

Прыжок с шестом — цирковой номер на протяжении трех часов.

Метание копья — состязание во зренье. Уже нет той силы в запястьях мешах спортсменов. Они сумрачно выбирают снаряд «по руке», с тоской поглядывая на беговую дорожку.

Бег на 1500 метров. Десятиборцы ложатся на траву, словно хотят почерпнуть силы от матушки-земли. С видом обреченных они выходят на эту последнюю схватку. То, что возможно здесь, невозможно нигде. До сих пор, вспоминая бег Лени Литвиненко, специалисты разводят руками. В Мюнхене он установил на этой дистанции лучшее достижение среди десятиборцев и с восьмого места сразу передвинулся на второе.

Утро в Клярику. Столовая наполняется шумом студенческих голосов. Один стол накрыт отдельно. Огромные миски с непоморозованным гарниром дымятся посередине. Вокруг стола перемещаются здоровенные парни. В 8 часов 45 минут появляется Куду. Садится во главе стола и обращается к парням:

— Прощу садиться.

Когда Куду встает, за ним поднимаются и остальные. Он собирает тарелки, и за ним это делают все. Вы скажете: «Спектакль!» Ответу: «Да, предметный спектакль воспитания!»

В спорте я давно. И мне приходится видеть, как ученики неторопливо едят, а их седовласые тренеры терпеливо и даже заискивающе ожидают, пока их питомцы насытятся. А те встанут и пойдут мямо, в лучшем случае небрежно кивнув: «В пять на стадионе», — ни секунды не сомневаясь, что тренер будет на 15 минут раньше, а если что, то и подождет.

А однажды я был свидетелем того, как чемпион страны швырнул через весь стол тарелку и заорал, что не будет есть эту баладу. И его не наказали, ему прощало многое...

Мы часто повторяем: «Спорт воспитывает». Да, да, да! Но, вкладывая в это понятие развитие физических и моральных качеств, гарантирующих победу, мы во имя этой победы порой прощаем то, что открыто противоречит обычной морали.

Помню, как в автобус, в котором ехали бегуны на контрольные соревнования, попросилась женщина с ребенком. Парень из первого ряда встал, уступая место. А тренер сборной так гаркнул на него, что он тотчас сел снова. Женщину кое-как усадили. Мы ехали дальше, и каждый думал о разном. Тренер — о том, что в глазах спортсмена он остался заботливой нянькой, спортсмен — что в конечном счете все правильно, поскольку ему надо хорошо бежать. А я подумал, что, прозядая так в Клярику, под этим тренером разверзлась бы земля...

На лестницах зала в Клярику на двух языках, русском и эстонском, висят объявления: «В Клярику не курить». И рисунок — мрачный поросенок раскуривает

сигарету, сидя на могиле с крестом. Перед входом в зал объявление о месте обуви. И опять же рисунок: огромные заляпанные ботфорты перечеркнуты красной линией и рядом сыплющие домашние туфли с помпонами! В зале чистота, пол блестит. Гармония трех цветов: желтый кирпич, темно-вишневое дерево и черный металл.

Десятиборцы уже размялись. Мы сидим на низенькой скамеечке, и Куду неожиданно спрашивает:

— Помните, мы спорили об одном парне, этаким «гадом утенке». Вы тогда спросили: «А что это он делает здесь?» Я ответил: «Заполняет место». Тогда действительно оставалось место на сборе, и тренер Уук прислал мне в Клярику этого худенького мальчишку. Так вот — это был Тоомас Суурвалли!

Я, конечно, не мог даже подумать тогда, что этот мальчик так вырастет и наберет сумму 8 018 очков, что в прошедшем году был девятым результатом в мире. Спасибо тебе, Тоомас Суурвалли! Уже в какой раз ты подтвердил истину: «Галант — это труд». И ты смог стать таким, попав в группу десятиборцев и в условия Клярику.

Обед. Все уже едят. Группа тренера Куду кого-то ждет. Но кого? Куду уехал читать лекцию в Тарту. Ровно в 14.15 появляется врач команды Тоомас Сави. Он ровесник присутствующих, тоже из десятиборцев. Но сейчас он старший по званию. Мы наконец садимся.

После обеда вторая тренировка. Куду еще в городе. Ребята один. Час. Второй. Третий...

Современный тренер не фельдфебель на плацу, четко отщелкивающий команды, — это время прошло. Торжествует осмысленная идея личного труда.

А вечером — финская баня. С обязательным посещением проруби. Эту баню «инспектировал» президент Финляндии Урхо Калева Кекконен.

В 1946 году Куду привез на чемпионат СССР Хейно Липпа. Это молчаливый гигант тринадцатидесяти лет, который свое имя в таблице всеозонных рекордов и завоевал одиннадцать медалей чемпионата страны в толкании ядра, метании диска и в десятиборье.

Следующий успех тренера Куду — Рейно Аун. Два года Куду боролся с уличными замашками Ауна, пытаясь приучить его к дисциплине. Аун в другой республике нашел более благодетелей, которые обещали жизнь повольготней. Но ему не разрешили переход, и пришлось Ауну, повинно склонив голову, явиться к Куду... К тому времени Аун уже был отчислен из университета, и Куду предложил ему поработать в Клярику на строительстве спального корпуса, занимаясь в свободное время спортом. Деваться некуда. Прехал Аун в Клярику. Вокруг лес. Вместо тепло го манежа — метровые сугробы. Аун прыгал в снегу и бегал по обледенелой дороге. Метал деревянные чурки. После года, проведенного в Клярику, он увеличил сумму в десятиборье на 700 очков. И по праву поехал на Олимпиаду в Токкио, где не добрал до золотой медали лишь сорока пяти очков...

Тем временем Куду стал старшим тренером сборной команды страны и начал собирать в Клярику всех десятиборцев вместе с их тренерами.

Далеко не все восхищались этим поведением. Куду выслушал много упреков в «хуторских началах», но с молчаливым упорством тапид всех по-прежнему в Клярику. Ну, конечно, это не Сочи и не Ялта. И тем более не Москва. Фильмы после ужина — единственное развлечение для молодых парней. Но при чем здесь развлечения? Неужели студенту, приехавшему на сбор в Клярику, нечем заполнить вечер? Оттенировался — иди в комнату, листай анатомию, сопрат, историю средних веков... И фильмы здесь

старые. Это действительно плохо. А может, лучше отдохнуть от кино? Я бы погрешил против истины, утверждая, что серьезные занятия спортом оставляют сегодня время для широкого всестороннего развития. Это трудно. И об этом надо сказать честно. Потому что успех в сегодняшнем спорте во многом зависит от того, сколько времени отдают спорту, на каком месте в жизни стоит для тебя спорт. А вот когда ты простишься со спортом, у тебя впереди целая жизнь. И спорт уже сформировал твой характер, научил работать. И научил каждый раз начинать все сначала.

Прошло много времени, пока идеи, заложенные в Кяаарику, дали ростки. Пожалуй, сейчас нет страны, десятиборцы которой могли бы соревноваться на равных с тремя, пятью, десятью, сотней советских десятиборцев. Олимпийское признание нашей школой десятиборья — золотая медаль Авиллова и серебряная — Литвиненко. И, хотя первый вырос в Одессе, а второй — в Киеве, Кяаарику для них — второй дом. И основа их физического превосходства и морального преимущества заложена здесь. Как и у многих десятиборцев сборной команды страны.

Много лет в команде десятиборцев уже нет ни одного ЧП. Спортсмены знают принципы отбора команды и знают, что они никогда не нарушаются. Если в тренерском совете расхождения и на два места, допустим, есть четыре претендента — выбирают сами ребята. Однажды спросил Литвиненко: «Можешь поехать за границу?» И он честно ответил: «Могу, если устроит 7 600 очков; если мало — не могу. Травма». С ним согласились. Но, когда заявленный вместо него спортсмен заболел, поехал все-таки Литвиненко. И набрал ровно 7 600 очков. И может, за эту непоказную честность ребята выбрали его капитаном команды десятиборцев.

А Куду уже думает о будущем: где тот неизвестный десятиборец, который объединит в себе неистощимое желание Сурвиллы тренироваться и удивительную одаренность Авиллова? Тренер внимательно присматривается, например, к десятиборцу Володе Матвееву. Спрашивают: откуда такой, со всеми здоровается первый? Как откуда? Из Тамбова. А где учится? В Тартуском университете? На физкультурнику? Нет, почему же — на математика. Недавно сдали сессию — все на «отлично». Уже пообещали со студенческой жизнью, в самый раз подумать о десятиборье. Данные? Неплохие. Рост 193, размер обуви 48, результат в прыжках — 745 сантиметров. А главное, побывав здесь, отклонил предложения многих вузов страны и решил приехать в Тарту и Кяаарику, чтобы стать математиком и десятиборцем.

Если ехать в Кяаарику от Москвы, — это 15 часов на поезде до Тарту и затем час на машине. Вроде недалеко, но весной, например, не особенно туда тянет. В апреле приятней поехать в Сочи. Да, Кяаарику надо обжить. Впитать в себя его соки. Возвратившись из Мюнхена олимпийским чемпионом, Авиллов сказал: «День в Кяаарику равен неделе в любом городе».

Сидели мы как-то на берегу озера. Вечерело. Изредка плескалась рыба. И кто-то из ребят сказал: «В городе мы часто раздражаемся. Любое столкновение в автобусе, и ты готов нарваться на скандал. А вернешься из Кяаарику — нервы, словно канаты. Тебе наступят на ногу, а ты спокойно спрашиваешь: «Извините, вам не надоело стоять?»

Уезжая недавно из Тарту, я купил на вокзале небольшую книжечку Х. Мяги «Отпя — Кяаарику» и не удивился, встретив следующие строки: «Берега озера Кяаарику приковали его вниманье, и с тех пор он стал патриотом Кяаарику, неустанным его строи-

телем и организатором. И если бы Ф. Куду не сделала больше ничего другого, его имя вошло бы в историю эстонского спорта за то, что он сделал для Кяаарику».

Два полных рабочих дня по восемь — десять часов идут соревнования десятиборцев. Тренеры как-то подсчитали, что за это время их воспитанники 57 раз снимают и надевают тренировочный костюм, 25 раз меняют спортивную обувь... А вся сумма времени, в течение которого десятиборец ведет борьбу, равна лишь... восьми минутам. Пять — бег на 1 500 метров, одна — на 400 метров, все остальное — секунды.

Десятиборье дается два дня. Два полных рабочих дня. И между бесконечными передеваниями, переключками надо не растерять желание быть первым. Соревнуясь в десяти видах, каждый может победить, если выиграет в большинстве видов.

Когда Коля Авиллов, готовясь к Олимпиаде в Мюнхене, здесь, в Кяаарику, выигрывал все, за что ни брался, будь то виды десятиборья, пинг-понг, рыбная ловля, кегельбаг или бильярд. Куду сказал: «Это и есть преобладающая уверенность, с которой можно идти в бой».

И вот снова и снова снимается тренировочный костюм, отяжелевший от пота. Заостряются скулы. Острый кадык ходит под запрокинутой головой, и теплая вода из бутылки раз от разу кажется все противней. Кто-то лежит, закутавшись, чтобы не растерять тепло. Кто-то судорожно листает таблицу очков, прикидывая свои шансы. Кто-то перематывает обмотку на шесте или копье. А кто на скорую руку лает оторванную подошву...

Прекрасно братство десятиборцев! Они появляются на стадионе, когда еще никого нет, а финишируют, когда все давно разошлось. Бегут они на своей последней дистанции в темноте вечернего стадиона. Ребята все как на подбор — как говорится, элита нации.

В двухдневной борьбе каждый может быть то первым, то последним. Пусть на мгновение, пусть в чем-то, но ты опередил того, кто оказался в итоге сильнее тебя. Да, на исходе второго дня он победил, но был момент, когда ты оглянулся на финише, а ему оставалось прожевать полкруга.

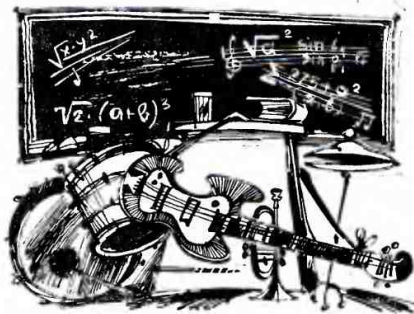
Я не думаю, что найдется человек, который бы достиг недостижимой вершины, установив мировые рекорды в каждом из десяти видов десятиборья. Стрелки, допустим, выйви 600 из 600 возможных, уже пришли к пределу. Так давайте порадуемся за те виды спорта, пределы которых еще не видны. Завида участь десятиборцев — вечно сокращать ускользающее расстояние между рекордом мира и десятиборье и суммой десяти рекордов мира.

Растет у меня сын — толстенький интеллект уал в очках, бабушкина гордость. Уже подошло время определять его в спорт. И, не спрашивая моего мнения, родственники порешили: фигурное катание или плавание. Я молчу, потому что твердо знаю: мой сын будет десятиборцем.



Василий ТРЕСКОВ

# НОВЫЙ МЕТОД



Рисунки  
О. БОЯНА,

**Д**о лекции по высшей математике оставалось полтора часа, но все места были заняты еще со вчерашнего дня. Студенты, которым не хватило места, кланялись у вахтера свободный стульчик, словно лишний билетик на Таганку.

Наконец в аудиторию с диким свистом и гиканьем ворвался преподаватель в сопровождении университетского бит-ансамбля.

Все были в потертых джинсах, спортивных майках, но при галстуках «бабочка». Профессор выделялся ярким париком и двумя яркими заплатками на джинсах. Вместо конспекта он сжимал в руках бубен. Профессор ударил в бубен, подпрыгнул и непроизвольно взвизгнул. Его длинноволосые телохранители вскинули гитары и делили первый аккорд.

Лекция началась.

Студенты, боясь пропустить хоть одно слово, хоть один звук, старательно записывали лекцию на портативные магнитофоны, отбивая текст ногами. Профессор неистовствовал. Иногда он бросался к доске и, ритмично стуча мелом, пояснял слова своих песен математическими выкладками.

— В модерне старик работает! — восхищенно кричали студенты и активно усваивали материал.

Успех нового изобретения превзошел все ожидания. Кое-что о бинарных уравнениях профессора заставили исполнить на «бис». Из аудитории солиста вынесли на руках.

Новый метод быстро распространился на весь институт. В библиотеке, оборудованной под бар, продавалось фирменное пиво «Зачет» по сниженной цене для студентов. Здесь можно было прослушать любую запись лекций. Сам декан, одетый по последней моде, еще не вошедшей в ширпотреб, разливал пиво и угощал всех воблой, провальной в университетских лабораториях. На декане были холщовая рубашечка и брючки, подпоясанные наборным ремешком, замшевые лапы на босу ногу. Вокруг него всегда топился народ.

Проблема посещаемости была решена.

Но время шло, и то, что недавно было в новинку, стало навязчивым для студентов скуку. Уже во время исполнения той или иной лекции стали замечать спящих студентов. Ко всему привыкаешь,

даже к шуму... Посещаемость снова пошла на спад. Тогда руководство решительно повисило шумовой уровень. Обычные барабаны были заменены реактивными ударными установками с выхлопным эффектом, после которого в институте попилился все стекла. Но студенты продолжали спать, благо что их храп тонул в невообразимом грохоте. Надо было что-то предпринимать.

Ученый совет заседал всю ночь. А утром, когда пестрая толпа студентов авалилась в аудиторию, на кафедру вошел сухойкий лысый старичок в строгом черном костюме. Еле слышно он прошептал:

— Значит, так-с... Я у вас буду читать высшую математику... Мда-а-а... Предупреждаю, мне редко кто сдает без третьего захода.

И забубнил бесконечные формулы.

Студенты опешили. Такого они давно не слышали и не видели. То, что происходило у доски, было ново, а поэтому интересно.

— В модерне старик работает! — воскликнул самый длинноволосый студент и принялся лихо читать конспектированную лекцию. За ним застрочили и остальные. Те, кто успел прикорнуть до начала лекции, проснулись от оглушающей тишины и быстро включились в работу. Дисциплина и поголовная посещаемость были восстановлены.

Надолго ли?..

Нальчик.

## МИНИ-ЮМ

**ХУДОЖНИК:** «Дайте мне копию, и я вам сделаю тысячи оригиналов!»

**Научись я смеяться над своими недостатками — не было бы человека веселее меня.**

М. ГЕНИН

**Поэты делятся на две категории: одни берут у Пегаса крылья, чтобы взлететь, другие — копыта, чтобы лаянуть.**

Мих. ДАВЫДОВСКИЙ

# Велосипедный Бум

Рисунок Ашота БАЯНДУРА.

**Я** потренировался звончком, и вахтер, криво усмехнувшись, чуть приоткрыл ворота. Я проскочил в образовавшуюся щелочку, пронесся по двору и остановился под навесом для автомашин.

И тут я заметил нашего директора. Он вылез из «Волги» и внимательно наблюдал за мной. Я поздоровался с ним, прислонил велосипед к стене и принялся расправлять правую штанину.

— Что это значит?! — услышал я над собой голос директора.

Я выпрямился и, смело посмотрев в глаза директору, ответил: — Велосипед.

— Вижу, — поморщился директор. — Но вы что, на нем приехали на работу?!

— Да, — подтвердил я. — С прошлой недели езжу...

— Так. — Директор на секунду растерялся, но тут же взял себя в руки. — Есть велосипед на одном колесе, — ехидно сказал он. — Видели, наверное, в цирке... Почему бы вам не ездить на таком?

— На таком я не могу, — сухо сказал я.

— Жаль, — сказал директор. — Интересное было бы зрелище. А что за табличку вы там повесили вместо номера?

— «Я не загрязняю воздух!» — гордо объявил я.

— Это как понять?

— Вот ваша «Волга» загрязняет окружающую среду, — решил уколоть его я, — а велосипед — нет!

— И для кого вы это повесили? — продолжал интересоваться директор.

— Для всех, — сказал я. — Пусть все знают!

— Что я загрязняю воздух? — насторожился директор.

— Нет, — успокоил его я. — Что я не загрязняю воздуха.

— Ладно, не загрязняйте, — согласился директор. — А вы подумали о своем авторитете? Вы же старший инженер. Представляю, что говорят сотрудники!

— Что они могут говорить? — Что вы ездите на велосипеде!

— А я действительно езжу на нем, — пожал я плечами.

— Да, но это смешно! — радостно сказал директор.

— Это вам смешно! — не выдержал я. — А всему миру не смешно! Весь мир переживает сейчас бум!

— Какой еще бум? — насторожился директор.

— Велосипедный! Люди земного шара бросают свои автомобили и переаживаются на велосипеде! Двухколесный друг помогает человеку вернуть здоровье, силу, бодрость, украденные автомобили! США, Великобритания, Япония, Швеция уже...

В этот момент прозвенел звонок, и я замолчал, всем своим видом показывая, что готов уйти и приступить к работе...

— Я вам разрешаю поподумать, — сказал директор и, подумав, спросил: — Значит, японцы тоже катаются на велосипедах?

— Да, — сказал я. — Они инициаторы бума!

— Уважаю я японцев, — сказал директор. — Толковый народ! — Он вздохнул и уже дружелюбно посмотрел на мой велосипед. — А ведь я в молодости здорово ездил на нем, — признался вдруг он.

— А я только научился, — сказал я. — Как узнал про бум, так сразу и начал учиться.

— Я и задом наперед могу похвастаться директор. — И без руля.

— А на одном колесе? — не удержался и спросил я.

— Об этом я мечтал, — признался директор. — Не было у меня такого велосипеда... Я смог бы, честное слово! Эх, где моя молодость!

Вдруг директор засучил штанину, вывел из-под навеса мой велосипед и, разбежавшись, довольно легко сел на него... Сделал по двору круг и позвенел звончком.

— Ну как?! — спросил он, проносясь мимо меня.

— Отлично! — чистосердечно похвалил я.



— Это еще что! — крикнул мне директор — Але-го! — И, лихо повернувшись на сиденье, поехал задом наперед.  
— Здорово! — Я зааплодировал.

— Могу и стоя на сиденье! — загорелся директор, но я остановил его и показал на окна, где уже торчали наши сотрудники.

— М-да, — сказал директор, останавливаясь возле меня. — Все же рабочее время... Дурной пример подаю... Отличная штука! — приставил он велосипед к стене. — Сразу помолодел лет на тридцать! Слушай, одолжи мне его на день — я в главк на совещание поеду...

— Не могу, — развел я руками. — Мне на завод нужно ехать...

— Поедешь завтра! Разве к спеху?

— А как же! Опытный образец сегодня испытываем...

Директор задумался.

— Слушай, поезжай на моей машине, а? — заглянул он мне в глаза.

— А что толку в машине! — недовольно сказал я.

— «Волга» все же... Ну, пожалуйста, — просил меня директор. — Не в службу, а в дружбу... — Так и быть! — махнула я рукой. — Только по дружбе...

— Ну спасибо! — обрадовался директор. — Я в долгу не останусь!

В конце дня, когда я приехал с завода, велосипеда моего во дворе не было. А под навесом для машин стояла какая-то «Чайка».

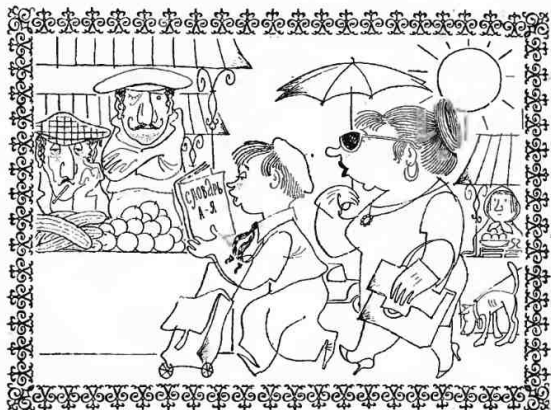
Почувствовав недоброе, я пошел к директору и без стука влетел к нему в кабинет.

— Где мой велосипед?! — закричал я в порога.

— Видишь, какое дело... — смущенно заговорил директор. — Начальник главка забрал... Как сел, так не могли остановить его... Истосковался... А ты на его машине пока как-нибудь, а? «Чайка» все же...

И вот уже неделю езжу я на «Чайке». На работу, с работы... И в перерыв меня домой возят обедать на машине. И жену на рынок, и дитяшек в школу и из школы... Неплохо, в общем. Только машина воздух загрязняет, вот беда!

г. Валу.



М. ВОЛЬФСОН

## За опытом

Светлана Андреевна вышла на звонок и всплеснула руками.

— Здравствуйте! Вовочка, встречай гостей!

Из комнаты выбежал сын Вова и увидел свою классную руководительницу Татьяну Алексеевну.

— Я к вам по делу!

— Раздавайтесь, Татьяна Алексеевна. Проходите. Вовочка, поставь, пожалуйста, чай.

Когда попили чай и Вову выпроводили из комнаты, учительница обратилась к родителям:

— Видите ли, в чем дело... Вова — один из лучших учеников школы. Необходимо ваш метод воспитания сына распространить среди других родителей. Я решила, что на ближайшем родительском собрании вы подробно поделитесь вашим методом.

Отец и мать переглянулись.

— Вроде никаких необыкновенных методов у нас нет, — пожал плечами родитель.

— Но сам по себе Вова не мог стать таким, — настойчиво сказала учительница. — У меня есть, знаете, ученик Воиново возраста, так он даже курит... Ремень же тут не поможет!

— Что вы, ремнем! — испуганно воскликнула Светлана Андреевна, точно собиравшись ее бить ремнем.

— Родители воспитывают детей собственным примером! — изрек отец.

— Но у мальчика, который курит, насколько мне известно, родители вполне приличные люди.

— Я своего Вовочку беру на базар и там с ним, как с равным, советуясь, что покупать. Знаете, это воспитывает в нем уважение к деньгам, бережливость.

— А я его водил к себе на завод. Показывал, где работаю. Это тоже... так сказать... пробуждает...

— Это, конечно, правильно. — Татьяна Алексеевна строго посмотрела на родителей. — Но, например, мальчик, который балуется табаком, тоже видит, что его родители — уважаемые люди, однако... Ну, хорошо, а какие книги он читает?

— Книжки! — переспросил родитель. — О, книги он читает разные. Но, если честно, Татьяна Алексеевна, Вовка ужасно любит читать словари, справочники, календари.

— Понятно, — задумчиво сказала гостья и поднялась. — И все же, я думаю, встречу мы обязательно организуем. Подготовьте, пожалуйста.

Придя домой, учительница позвала сына и хмуро сказала:

— Все. Завтра же ты пойдешь со мной на базар. А ну-ка, дыхни. Опять курил?! Мучитель мой. Хоть бы сел какой-нибудь словарь почитал...

Рига.

# В НОМЕРЕ

## ПРОЗА

Анатолий МАКАРОВ. Человек с аккордеоном.  
Повесть . . . . .

Сергей ДОВЛАТОВ. Интервью. Рассказ . . . . .

Олег ЗАГОРУЯКО. Дай плть, пацан! Три рас-  
сказа . . . . .

## ПОЭЗИЯ

Станислав КУНЯЕВ. «На пустынных просторах  
Сибири...». Март. «Заснуть и проснуться  
другим...». «В расцвете сил, разгаре лет...». «Синие  
звезды меж черных ветвей...». Из  
дневника 50-х годов . . . . .

Морис ПОЦХИШВИЛИ. «Кануло, и след про-  
стыл...». Воспоминание о друге-солдате. Те-  
перь и потом. Перевел с грузинско-  
го Я. Гольцман . . . . .

Вадим КОВДА. «Над лужей пар колеблется,  
струится...». «Я люблю не за то, что луч-  
шая...». Прекрасный птах. Воспоминание о  
любви . . . . .

Юрий КАРЯКИН. Лицей, который не кон-  
чается... . . . . .

Павел БУНИН. Гений добра . . . . .

Е. ТУРБИН. Без междометий и местоимений  
или историко-литературная новелла о том,  
как поэт Пушкин внял голосу хирурга Ферша

Валерий ГЕЯДЕКО. Сибирский характер . . . . .

Юрий РОМАНЕНКО, Аркадий ВАКСБЕРГ. Поче-  
му мы это терпим?... . . . . .

Алла ГЕРБЕР. После старта . . . . .

Борис ФИЛИППОВ. Снова на эстраде... . . . .

И все-таки это нужно! (Я + Я = Семья) . . . . .

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ, Н. ЗЛОТНИКОВ. Таратары.  
Шестнадцать дней в Бангладеш

Виктор ЖАРОВ, Виктор ШИКАН. С арифмомст-  
ром среди волн . . . . .

Г. ВЕШКИНА. Говорите, пожалуйста! . . . . .

Л. ПЕСЕЦКАЯ. Маски Владимира Войде . . . . .

Тереза ДУРОВА: «Слониха Лайма очень гра-  
циозна» . . . . .

А. БОЯКО. День в Кларину равен неделе... . . . .

Евгений ТРЕСКОВ. Новый метод . . . . .

Мини-юм . . . . .

Анатолий ЭГРАМДЖАН. Велосипедный бум.

М. ВОЛЬФСОН. За опытом . . . . .

2 Главный редактор  
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

41 Редакционная коллегия:  
А. Г. АЛЕКСИН,  
67 В. И. АМЛИНСКИЙ,  
В. И. ВОРОНОВ  
(зам. главного редактора),  
В. Н. ГОРЯЕВ,  
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ  
38 (зам. главного редактора),  
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ  
(отв. секретарь),  
К. Ш. КУЛИЕВ,  
39 Г. А. МЕДЫНСКИЙ,  
В. Ф. ОГНЕВ,  
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,  
40 М. П. ПРИЛЕЖАЕВА

52

60 Художественный редактор  
Ю. А. Цишевский.

63 Технический редактор  
Л. К. Зябкина.

71

74 На 1—4-й стр. обложки  
рисунки В. ГОРЯЕВА.

76

83 На титульном листе  
гравюра В. ФАВОРСКОГО  
Пушкин — лириец.

87

89 Адрес редакции:  
101524, ГСП, Москва, К-6,  
Улица Горького, № 321  
96 Телефон редакции: 251-32-83.  
Рукописи  
не возвращаются.

Сдано в набор 27/II 1974 г.  
Подп. к печ. 13/IV 1974 г.  
А 00137.

104 Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Объем 12,18 усл. печ. л.  
17,62 учетно-изд. л.  
Тираж 2 600 000 экз.  
Изд. № 1215. Заказ № 2010.

109 Ордена Ленина  
и ордена Октябрьской  
Революции  
110 типография газеты «Правда»  
имени В. И. Ленина  
125865, Москва, А-47, ГСП,  
ул. «Правды», 24.

К 175-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
А. С. ПУШКИНА

ДНЕВНИК КРИТИКА

ПИСЬМО ИЮНЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

НАУКА И ТЕХНИКА

ЗАМЕТКИ  
И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ДЕБЮТЫ

СПОРТ

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ



«Моцарт и Сальери»

Из новых  
иллюстраций  
Павла Бунина  
к произведениям  
А. С. ПУШКИНА.



«Медный всадник»